ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+

2016

1

РОМАН
РУТ ПРАВЕР
ДЖАБВАЛЫ
“ЖАРА И ПЫЛЬ”

“ИЗ РАННИХ РАССКАЗОВ”
ГЕРМАНА ГЕССЕ

НЕЛЬСОН ОЛГРЕН
В РУБРИКЕ
“ПРОПУЩЕННЫЕ ИМЕНА”

Основан в 1955 году

ИМЕНА ЛАУРЕАТОВ НАШИХ ЕЖЕГОДНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ ЗА 2014 ГОД

Премия ***ИЛлюминатор***
присуждена
Наталье Малиновской
за книгу *Тема с вариациями*

Премия ***Инолит***
присуждена
Анастасии Старостиной
за перевод романа МАТЕЯ ВИШНЕКА *Господин К. на воле*

Премия ***Инолиттл***
присуждена
Антону Нестерову
за перевод
фрагментов поэмы У. Х. ОДЕНА
Зеркало и море. Комментарий к "Буре" Шекспира
и вступление к этому материалу

Премия **имени А. М. Зверева**
присуждена
Алексею Цветкову
за пять эссе в рубрику
В устье Гудзона с Алексеем Цветковым

Премия **имени С. К. Апта**
присуждена
Анастасии Строкиной
за перевод стихов
ЗИГФРИДА САССУНА, ПИА ТАФДРУП и
КАТТИ ФРЕДРИКСЕН

Почетный ***диплом критики зоИЛ***
присужден
Анатолию Егоршеву
за перевод книги ФРИДРИХА КЕЛЬНЕРА *Одураченные*

[1]
2016

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Рут Правер Джабвала *Жара и пыль.* Роман. Перевод с английского Елены Малышевой

130 Елена Алексиева *Мадам Мисима.* Монодрама. Перевод с болгарского Валентины Ярмилко

154 Мелкер Инге Гарай *Крыса и другие злые рассказы.* Перевод с шведского Катарины Мурадян

Из классики XX века

162 Герман Гессе *Из ранних рассказов.* Перевод с немецкого Вячеслава Куприянова

Из будущей книги

197 *Французский сонет XVI–XIX веков.* Перевод с французского Романа Дубровкина. Вступление Натальи Ванханен

Пропущенные имена

207 Нельсон Олгрен *Рассказы.* Перевод с английского Ольги Кулагиной

Писатель путешествует

231 Александр Стесин *Путем чая*

Истина вверх ногами

255 *Англо-американские афоризмы.* Перевод и составление Наталии Перовой

Письма из-за рубежа

259 Владислав Отрошенко *Моя Италия*

БиблиофИЛ

266 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

269 *Среди книг* с Ольгой Балла

278 *Среди книг* с Алексеем Курилко

Авторы номера

283

© “Иностранная литература”, 2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями “Вестник иностранной литературы”, “Литература мировой революции”, “Интернациональная литература”. С 1955 года — “Иностранная литература”.

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский

Е. Д. Кузнецова

Е. И. Леенсон

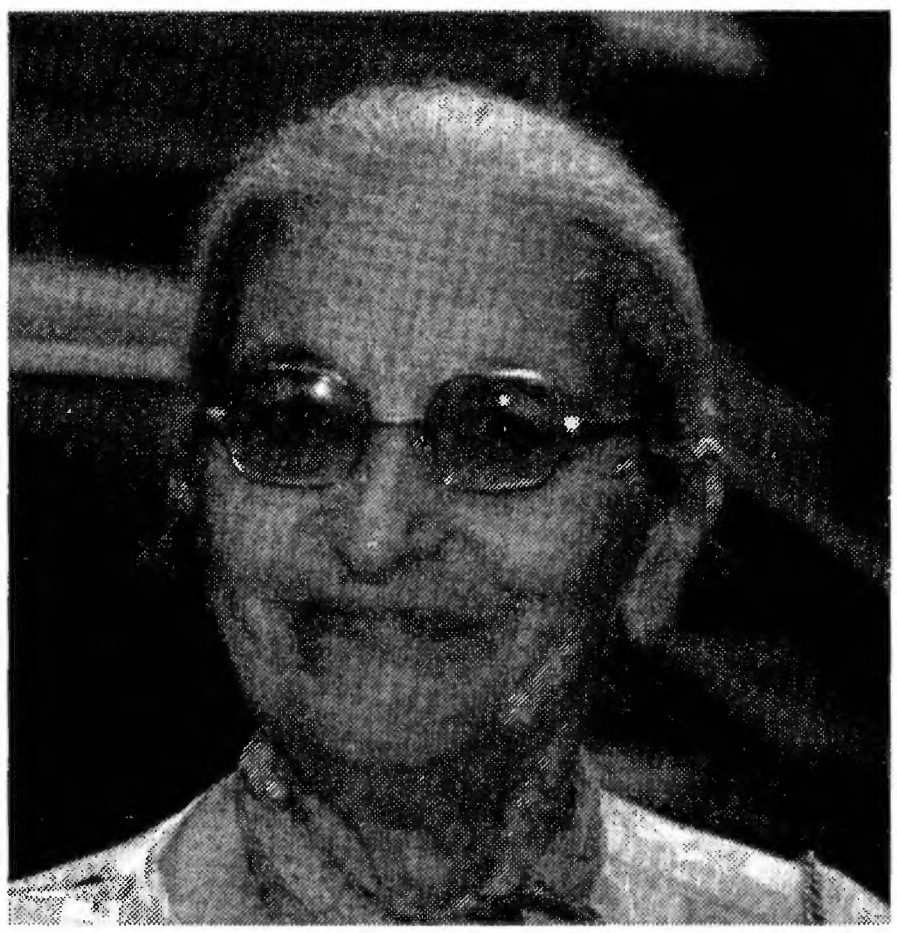
М. А. Липко

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Рут Правер Джабвала



Жара и пыль

Роман

Перевод с английского Елены Малышевой

ВСКОРЕ после того, как Оливия убежала с принцем Навабом[1], Бет Кроуфорд вернулась из Симлы. Это было в сентябре 1923-го. Бет нужно было ехать в Бомбей, встретить пароход, на котором прибывала ее сестра Тесси, чтобы провести холодный сезон с Кроуфордами. Они задумали для нее разные встречи и поездки, но бóльшую часть времени она проводила в Сатипуре, потому что там был Дуглас. Они вместе ездили верхом, играли в крокет и теннис, и Тесси изо всех сил старалась составить ему хорошую компанию. Не то чтобы у него было много свободного времени — он был очень занят в óкруге. На работе, подобно троянскому воину, он держался спокойно и сдержанно, поэтому его очень высоко ценили коллеги и индусы. Он был честным и справедливым. Тесси гостила и в этот холодный сезон, и в следующий, а затем отправилась на пароходе домой.

© 1975 by Ruth Prawer Jhabvala
© Елена Малышева. Перевод, 2016

1. Набóб или наваб *(англ.* nabob) — титул правителей некоторых провинций Восточной Индии в империи Великих Моголов. После падения империи титул набоба сохранили правители, которые подчинились британскому владычеству в качестве вассалов. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

Через год Дугласу полагался отпуск, и они снова встретились в Англии. К тому времени он оформил развод, и они стали готовиться к свадьбе. Тесси уехала к нему в Индию и, как и ее сестра Бет, вела там полноценную и счастливую жизнь. Через много лет она стала моей бабушкой, но к тому времени они все уже вернулись в Англию.

Дугласа я совсем не помню, он умер, когда мне было три года, но очень хорошо помню бабушку Тесси и тетушку Бет. Они были жизнерадостными женщинами с разумными и современными взглядами на жизнь, но, тем не менее, по словам моих родителей, многие годы их невозможно было заставить говорить об Оливии. Они избегали воспоминаний о ней, словно в них было нечто темное и ужасное. Поколение моих родителей не разделяло этих чувств, напротив, им очень хотелось узнать все, что можно, о первой жене деда, которая сбежала от мужа с индийским принцем. Только в старости, овдовев, эти дамы начали, наконец, говорить на запретную тему.

К тому же тогда они снова встретились с Гарри. До этого они лишь обменивались рождественскими открытками, и только после смерти Дугласа Гарри пришел навестить старушек. Он рассказал им об Оливии и ее сестре, Марсии, с которой познакомился вскоре после возвращения из Индии. Он продолжал видеться с Марсией до самой ее смерти (по его словам, она спилась). Она отдала ему все письма Оливии, и он показал их старым дамам. Так эти письма впервые попали ко мне, а сейчас я привезла их с собой в Индию.

К счастью, в первые месяцы своего пребывания здесь я вела дневник, поэтому у меня сохранились кое-какие записи о ранних впечатлениях. Попытайся я их сейчас восстановить, наверное, ничего бы не вышло. Они уже не те, да и я сама уже не та. Индия всегда меняет людей, и я не исключение. Но эта история, насколько я могу судить, не обо мне, а об Оливии.

Вот мои первые записи в дневнике.

2 февраля. Сегодня прибыли в Бомбей. Совсем не то, что я себе представляла. Я-то, конечно, всегда о пароходе думала, забыла, что будет совсем по-другому, если сюда лететь. Все мемуары и письма, что я читала, все картины, которые видела, можно забыть. Теперь все не так. Нужно поспать.

Проснулась посреди ночи. Пыталась нащупать часы, которые положила на крышку чемодана под кроватью, их там не было. Ну вот! Началось! С соседней кровати голос: “Вот они, милая, в следующий раз будьте осторожнее”. Половина первого. Я проспала около четырех часов. Я, конечно, пока

живу по английскому времени, так что должно быть еще семь вечера. Сна ни в одном глазу, сажусь в постели. Я нахожусь в женской спальне общежития Общества миссионеров — ОМ. Здесь семь коек, четыре у одной стены, три у другой. Все они заняты, и лежащие на них, похоже, спят. Но город снаружи все еще бодрствует и никак не угомонится. Даже музыка где-то играет. Уличные фонари освещают голые окна спальни, наполняя комнату призрачным светом, в котором спящие на кроватях похожи на готовые к погребению тела.

Но соседка и хранительница моих часов не спит и хочет поговорить.

— Вы, верно, только приехали, поэтому так неосмотрительны. Ну ничего, скоро научитесь, все учатся... С едой будьте осторожны поначалу, пейте только кипяченую воду и ни в коем случае не покупайте ничего с лотков... Потом иммунитет разовьется. Я теперь могу есть все что угодно, если захочу. Не то чтобы хотелось, терпеть не могу их пищу, в жизни бы к ней не притронулась. Здесь в ОМ вполне можно есть. Мисс Тайц следит за готовкой, тут хорошее рагу делают, иногда жаркое и заварной крем. Я всегда здесь останавливаюсь, когда езжу в Бомбей. Мисс Тайц я уже двадцать лет знаю. Она швейцарка, приехала с Христианскими сестрами, а последние десять лет управляет ОМ. Им с ней здорово повезло.

Возможно, из-за призрачного света моя соседка похожа на привидение, к тому же ее с ног до головы укутывает белая ночная рубашка. Волосы заплетены в одну уныло свисающую косицу. Она вся бумажно-белая, вот-вот испарится, как настоящий призрак. Она рассказывает, что уже тридцать лет в Индии и что, если Господь хочет, чтобы она умерла здесь, так оно и будет. С другой стороны, если Он захочет сначала привести ее домой, она и на это согласна. На все Его воля, тридцать лет она живет, исполняя Его волю. Голос ее, когда она произносит эти слова, уже совсем не напоминает голос призрака, он становится сильным — в нем звенит неколебимое чувство долга.

— У нас есть своя небольшая часовня в Хафарабаде. Городок растет, там есть текстильные фабрики, но чего уж точно нет, так это роста добродетели. Тридцать лет назад, я бы сказала, еще была надежда, но сегодня — никакой. Куда ни посмотри, везде та же история. Бóльшие заработки, значит, бóльше себялюбия, больше крепких напитков, больше кино. Женщины раньше носили простые хлопковые дхоти[1], а те-

1. Дхоти — легкие свободные штаны, затягивающиеся веревочкой на талии, или юбка-запашка, обычно — мужская.

перь им хочется, чтобы сверху все сверкало. А уж про то, что внутри, и говорить не приходится. Но чего ожидать от этих бедных людей, когда и наши прямиком идут в ад! Вы видели это место на той стороне улицы? Только посмотрите.

Я подхожу к окну и смотрю вниз. На улице светло, как днем, и не только из-за уличного освещения: на каждом лотке и бочке светится масляная лампа. Везде толпы людей, некоторые спят. Снаружи так тепло, что просто ложись и спи себе, и белья постельного не нужно. Вот несколько детей-калек, один мальчик отталкивается культей от земли; днем они, наверное, просят подаяния, но сейчас свободны от работы и беззаботны, даже веселы. Люди покупают еду у лоточников и прямо там едят, иные ищут выброшенное съестное в канавах.

Моя собеседница показывает на другое окно. Отсюда открывается вид на гостиницу "А". Об этом месте меня предупреждали перед приездом. Мне было сказано, что каким бы унылым и мрачным мне ни показалось общежитие ОМ, ни в коем случае не останавливаться в "А".

— Видите? — говорит она, не вставая с постели.

Я вижу. Здесь тоже было очень светло от фонарей и магазинов. Пешеходную дорожку перед "А" заполонили люди, но не индусы, а европейцы. Совершенные изгои с виду.

Она объяснила: по восемь-девять человек в комнате, а у некоторых и на это денег нет, спят прямо на улице. Друг у друга попрошайничают и друг у друга же воруют. Некоторые очень молоды, просто дети, для них, возможно, есть еще надежда, и, по воле Божией, они доберутся домой, пока не поздно. Но остальные-то, женщины и мужчины, они же здесь годами торчат, и с каждым годом им все хуже. Вы видите, в каком они состоянии. Все больны, некоторые при смерти. Кто это такие, откуда они? Однажды я жуткую картину видела. Парню, наверное, не больше тридцати, немец, может, или откуда-то из Скандинавии, очень светлый и высокий. Одежда вся изорвана, и кожа белая проглядывает. Длинные волосы, совершенно спутанные и свалявшиеся, а рядом — обезьянка. И обезьянка эта у него вшей искала. Я ему в лицо посмотрела, в глаза, ну просто душа в аду, скажу я вам. Я вообще в Индии ужасные вещи видела. Пережила индусско-мусульманское восстание, эпидемию оспы и голод; могу смело сказать, что я видела все, что только можно видеть на этом свете. И после поняла одно: нельзя выжить в Индии без Иисуса Христа. Если Он не с тобой каждый миг, днем и ночью, и ты Ему не молишься изо всех сил, если этого нет, то станешь, как тот бедняга с обезьянкой. Потому что, видишь ли, милая, ничто человеческое здесь не имеет значения. Ничто, сказала она, как сказал бы

индус или буддист: с презрением ко всему, что эта земная жизнь может предложить.

Она сидела в постели. И хотя она была тоненькой и белой, в ней ощущалась несгибаемость, ожесточенность. Призрак с характером. Я снова посмотрела на лежащие на улице тела, освещенные фонарями гостиницы "А". Должно быть, она права: эти люди и впрямь были словно души в аду.

16 февраля. Сатипур. Мне повезло — я уже нашла комнату. Я ею очень довольна. Чудесная, просторная, пустая и в ней много воздуха. Есть окно, у которого я иногда сижу и смотрю на базар. Она над магазином тканей, приходится карабкаться вверх по темной лестнице. Сдает ее правительственный чиновник по имени Индер Лал, который живет с женой, матерью и тремя детьми в убогих комнатушках, задвинутых в самый конец двора, за магазином. Двор вместе с магазином принадлежит кому-то другому. Все поделено и разделено, и я — еще один отсек. Но здесь, наверху, у меня простор и уединение, вот только удобства общие в дальнем конце двора, и к ним приставлена девочка-уборщица — тоже одна на всех.

Я думаю, мой домовладелец Индер Лал недоволен тем, как я устроилась у себя в комнате. Он все смотрит по сторонам в поисках мебели, но ее у меня нет. Сижу я на полу, а ночью расстилаю спальный мешок. Единственный предмет мебели, который я пока приобрела, — это крошечный письменный столик высотой с табурет, на котором я разложила свои бумаги, этот дневник, учебник хинди, словарь и письма Оливии. За такими же письменными столиками владельцы магазинов занимаются бухгалтерией. Индер Лал смотрит на мои голые стены. Наверное, он надеялся, что я повешу картинки и фотографии, но мне ничего такого не нужно — достаточно просто глянуть из окна на базар внизу. От этого вида мне уж точно не хотелось бы отвлекаться. Поэтому и занавесок у меня нет.

Индер Лал слишком вежлив, чтобы выразить вслух свое разочарование. Сказал только: "Вам здесь не очень-то удобно", — и быстро опустил глаза, словно испугался, что мне стало неловко. То же самое произошло, когда я впервые приехала со своим багажом. Я не нанимала носильщика, а взвалила свой сундучок и постель на плечи и втащила все наверх. И тогда тоже, невольно издав потрясенный возглас, он опустил глаза, не желая меня смущать.

Ему было бы легче, будь я как Оливия. Она была совсем другая, не такая, как я. Первое, что она сделала по приезде в свой дом (дом заместителя инспектора по налогам), — завалила его ковриками, картинами, цветами. Она писала Марсии:

"Мы начинаем приобретать цивилизованный вид". И еще позже: "Миссис Кроуфорд (жена налогового инспектора — сама мемсаиб) сегодня пришла проверить мое гнездышко. Не думаю, что у нее сложилось благоприятное впечатление обо мне и этом самом гнездышке, но она чрезвычайно тактична! Ей известно, как труден обычно первый год; и, если она хоть чем-нибудь может помочь и облегчить мое существование, мне следует помнить, что она всегда рядом. Я ее сдержанно поблагодарила. Честно говоря, присутствие миссис Кроуфорд — единственная моя здешняя трудность, все остальное даже слишком хорошо! Если бы я только могла ей это сказать".

Я уже видела дом, в котором жили Дуглас и Оливия. По счастливому совпадению, оказалось, что контора, где работает Индер Лал, находится прямо в бывшем британском жилом квартале, известном под названием Гражданские линии. Отдел сбыта и снабжения Индера Лала располагается в бывшем доме налогового инспектора (в 1923 году принадлежавшем мистеру Кроуфорду). В бунгало Дугласа и Оливии теперь приютились отделы водоснабжения и здравоохранения, а также почта. Оба эти дома разделены и разбиты на несколько частей, выполняющих самые разные функции. Только дом главного врача остался в неприкосновенности и, по идее, служит местом отдыха для путешествующих.

20 февраля. Сегодня утром я заглянула к двум женщинам семейства Индера Лала: к его жене Риту и его матери. Не знаю, застала ли я их врасплох или они всегда живут так, но дом их был совершенно не прибран. Конечно, комнатки тесные, и дети в том возрасте, когда от них сплошной беспорядок. Риту торопливо убрала со скамьи разбросанную одежду и игрушки. Я бы предпочла сесть на пол, как и хозяева, но поняла, что теперь должна придерживаться правил, которые, по их мнению, соответствуют моему статусу. Свекровь со знанием дела шикнула на невестку, что, как мне показалось, было приказанием принести мне прохладительный напиток. Риту метнулась из комнаты, словно обрадовалась разрешению уйти, оставив свекровь и меня вдвоем, чтобы мы — насколько возможно — составили впечатление друг о друге. Мы заулыбались, я попыталась прибегнуть к своему хинди, но без особого успеха (нужно больше заниматься!), затем обменялись многообещающими жестами и застряли. Все это время она вглядывалась в меня пронзительным, оценивающим взглядом, и я представила себе, как она, когда искала жену для сына, разглядывала девушек перед тем, как остановиться на Ри-

ту. Инстинктивно она подсчитывала и мои баллы, но, увы, нетрудно догадаться, каков был итог.

Я уже привыкла к тому, что в Индии тебя постоянно оценивают. Этим занимаются все и везде: на улице, в автобусах и в поездах, причем совершенно открыто — и женщины и мужчины, никто и не думает скрывать свое удивление, если вы его вызвали. Я полагаю, мы им кажемся странными: живем среди них, едим их пищу и часто носим индийскую одежду, потому как в ней прохладнее и стоит она дешевле.

Покупка индийской одежды была первым, что я сделала, после того как устроилась в Сатипуре. Я пошла в магазин тканей на первом этаже, а затем к маленькому портному по соседству, который сидел на мешковине со своей машинкой. Он снял с меня мерку прямо тут же, на виду у всей улицы, но так старался держать дистанцию, что его измерения оказались слишком далеки от реальности. В результате одежда моя висит на мне, но назначению своему соответствует, и я ей очень рада. Теперь я ношу пару мешковатых штанов, завязанных шнурком у талии, как женщины в Пенджабе, и такую же рубаху до колен. Еще у меня есть индийские сандалии, которые я скидываю и оставляю у порога, как все. (Сандалии мужские, так как женские размеры мне не подошли.) Хотя одета я, как индийская женщина, дети все равно бегают за мной, но мне безразлично, я уверена, что скоро они ко мне привыкнут.

Есть одно слово, которым меня все время называют: “хиджра”. К сожалению, я знаю, что оно означает. И знала еще до приезда в Индию из письма Оливии. Она сама узнала его от принца Наваба, который сказал, что миссис Кроуфорд похожа на хиджру (тетушка Бет была, как и я, плоская спереди). Оливия, конечно, не знала, что это слово означает, и, когда спросила Наваба, тот громко расхохотался. Я вам покажу, сказал он вместо объяснения и, хлопнув в ладоши, отдал какое-то распоряжение. Через некоторое время привели труппу хиджр, и Наваб заставил их исполнить традиционную песню и пляску для Оливии.

Я тоже видела, как они поют и танцуют. Это случилось, когда Индер Лал и я шли вместе, после того как он показывал мне место своей службы. Мы были недалеко от дома, когда я услышала грохот барабанов, доносящийся из боковой улочки. Индер Лал сказал, что это “так, ничего особенного”, но мне стало любопытно, и он неохотно пошел со мной. Мы шли через лабиринт ветвящихся переулков, затем вошли под арку и в проход, который вел во внутренний двор. Здесь выступала труппа хиджр — евнухов. Один из них бил в барабан,

остальные пели, хлопали в ладоши и выполняли какие-то танцевальные движения. Кучка зрителей с удовольствием смотрела представление. Хиджры были сложены по-мужски, с большими руками, плоской грудью и крупной челюстью, но одеты они были, как женщины, в сари, украшенные мишурой. Танцевали они, пародируя женские движения, и, полагаю, именно это так веселило публику. Но мне показалось, что лица их были печальны, и, даже когда они ухмылялись и производили двусмысленные жесты в ответ на двусмысленные слова (все смеялись, а Индер Лал захотел, чтобы я ушла), с их лиц все это время не сходило выражение скуки и обеспокоенности, словно они только и делали, что думали, сколько им заплатят за работу.

24 февраля. Так как сегодня воскресенье, Индер Лал великодушно предложил отвезти меня в Хатм, показать дворец Навабов. Мне было неудобно увозить его от семьи в выходной день, но никто не возражал. Не знаю, как его жене не надоедает сидеть целыми днями взаперти в двух маленьких комнатках со свекровью и тремя детьми. Я ни разу не видела, чтобы она куда-нибудь ходила, кроме как изредка на базар за овощами в сопровождении свекрови.

Никогда еще я не ездила в Индии на автобусе, который не был бы набит до отказа людьми, с багажом сверху. Автобусы обычно старые и на ухабах встряхивают каждую косточку в вашем теле и каждый винтик — в своем. И автобус, и пейзаж, мимо которого он следует, всегда один и тот же. Когда город остается позади, то до следующего ничего нет, кроме плоской земли, выжженного неба, большого расстояния и пыли. Особенно пыли: автобус открытый, с перекладинами по бокам, и жаркие ветры свободно продувают его насквозь, принося с собой песок пустыни, который забивает уши и ноздри и хрустит на зубах.

Хатм оказался довольно жалким городком. Сатипур, конечно, тоже не блещет, но чувствуется, что ему дана свобода — он может расти, как ему вздумается. А Хатм просто забился в тень дворца правителя. Казалось, его построили исключительно для нужд принца и его приближенных, и теперь, когда во дворце никого не осталось, городок не знал, чем заняться. Улицы запружены народом, запущены и грязны. Везде полным-полно нищих.

Защищенный жемчужно-серыми стенами, дворец располагается на просторном участке, где много высоких деревьев. Есть там и фонтаны, и каналы, и садовые павильоны, и маленькая частная мечеть с позолоченным куполом. Мы с

Индером Лалом уселись под деревом, пока смотритель ушел искать ключи. Я спрашивала Индера Лала о семье Наваба, но он знает не больше моего. После смерти принца в 1953-м году его племянник Карим еще младенцем унаследовал дворец. Но там никогда не жил. На самом деле он живет в Лондоне, где я познакомилась с ним перед приездом сюда (о чем напишу позже). Родственники все еще ведут переговоры с индийскими чиновниками о продаже дворца, но до сих пор цена так и не установлена. Других покупателей нет, кому сейчас нужно такое место, причем в Хатме?

Индеру Лалу не хотелось обсуждать Наваба. Да, он слыхал о нем и его скверной, распутной жизни, доходили какие-то слухи и о старом позорном происшествии. Но кому это теперь интересно? Все участники давно умерли, и, даже если где-то кто-то и остался в живых, никому нет до них дела. Гораздо больше Индеру Лалу хотелось поговорить о своих многочисленных неприятностях. Когда появился человек с ключами, мы обошли дворец, и я увидела все залы, комнаты и галереи, о которых так много думала и которые пыталась себе представить. Но теперь там пусто — мраморная скорлупа. Мебель была распродана на аукционах в Европе, и все, что осталось, — это несколько сломанных викторианских диванов, которые всплывали тут и там в этом мраморном море, словно обломки кораблекрушения, да еще пары старых тряпочных опахал, пыльными тучками свисавших с потолка.

Индер Лал шел за мной и рассказывал о делах в своей конторе. Сплошные интриги и зависть. Индер Лал не хочет быть втянутым в эти дрязги, единственное, о чем он просит, — дать ему возможность выполнять свои обязанности, но это не получается, его просто не могут оставить в покое. На самом деле, зависть и интриги плетутся и против него, так как начальник отдела к нему расположен. Это ужасно досаждает коллегам Индера Лала, которые из кожи вон лезут (такова уж их природа), чтобы выбить из-под него кресло.

Мы стояли на верхней галерее, куда выходила главная гостиная. Смотритель объяснил, что женщины сидели здесь за занавесью и исподтишка глядели сверху на светские развлечения. Одна занавесь осталась висеть — дорогая парча, затвердевшая от пыли и времени. Я взяла ее в руки, чтобы полюбоваться тканью, но под пальцами оказалось нечто мертвое, готовое вот-вот рассыпаться в прах. Индер Лал, только что говоривший о своем начальнике, чей рассудок, к несчастью, был отравлен злобными нашептываниями враждующих сторон, тоже потрогал занавесь. В его замечании "Куда же все подевалось?" — прозвучало чувство, на которое

тут же отозвался смотритель. Но затем оба решили, что я видела достаточно. Когда мы снова вышли в сад, удивлявший своей зеленой тенистостью, как дворец — своей белизной и прохладой, смотритель быстро заговорил с Индером Лалом. Я поинтересовалась частной мечетью принца, но Индер Лал заявил, что мне это будет неинтересно и что вместо нее смотритель мне сейчас покажет маленький индусский алтарь, который он установил для своих личных богослужений.

Я не знаю, чем служило это помещение изначально, возможно, хранилищем? По правде сказать, было оно не больше ниши в стене, и, чтобы войти, нужно было пригнуться. С нами вместе туда набилось еще несколько человек. Смотритель зажег электрическую лампочку и открыл взорам алтарь. Главный бог Хануман, в обличье длиннохвостой обезьяны, находился за стеклом, два других тоже были в отдельных стеклянных футлярах. Все фигурки были сделаны из гипса и одеты в лоскутки шелка и жемчужные ожерелья. Смотритель выжидающе взглянул на меня, и мне, конечно, пришлось сказать, что все очень красиво, и дать ему пять рупий. Мне страшно хотелось выйти — вентиляция отсутствовала, из-за столпившихся людей было не продохнуть. Индер Лал кланялся трем улыбающимся богам. Его глаза были закрыты, а губы набожно шевелились. Мне дали несколько кусочков сахару и немного цветочных лепестков, которые я, конечно, не могла выбросить и держала в руке на обратном пути в Сатипур. Когда мне показалось, что Индер Лал не смотрит, я осторожно высыпала их из окна автобуса, но ладонь осталась липкой и пахла сладостью и увяданием. Я до сих пор чувствую этот запах, пока пишу.

1923

Оливия впервые познакомилась с принцем Навабом на ужине, который он устроил в своем дворце в Хатме. К тому времени она жила в Сатипуре несколько месяцев и уже начинала скучать. Обычно они с Дугласом виделись только с Кроуфордами (налоговым инспектором и его женой), Сондерсами (главным врачом с женой) и майором и миссис Минниз. Это бывало вечерами и по воскресеньям. Остальное время Оливия оставалась одна в своем большом доме, где все двери и окна были закрыты, чтобы не впускать жару и пыль. Она проводила долгие часы за чтением и игрой на пианино, но дни тянулись так долго. Дуглас был всегда очень занят в округе.

В день, когда Наваб устроил ужин, Дуглас и Оливия поехали в Хатм с Кроуфордами в их автомобиле. Сондерсы тоже

были приглашены, но не смогли прибыть из-за плохого самочувствия миссис Сондерс. Ехать нужно было примерно пятнадцать миль, и Дуглас, и Кроуфорды, которые уже знали, что такое развлечения у Наваба, стоически переносили как неудобное путешествие, так и мысль о предстоящем увеселении. Но Оливия была приятно взволнована. Она была в дорожном льняном костюме кремового цвета, а ее вечернее платье, атласные туфли и шкатулка с драгоценностями хранились в чемодане. Ее очень радовала мысль, что скоро она переоденется и будет у всех на виду.

Как и многим индусским правителям, принцу Навабу нравилось развлекать европейцев. Его положение, правда, было невыгодно: развлекать их было нечем, так как в его владениях не имелось ни интересных развалин, ни охотничьих угодий. А все, что имелось, — это сухая земля и обнищавшие деревни. Но его дворец, построенный в 1820-х годах, был великолепен. У Оливии загорелись глаза, когда ее провели в столовую и она увидела под люстрами очень длинный стол, уставленный севрским фарфором, серебром, хрусталем, цветами, канделябрами, гранатами, ананасами и маленькими золочеными чашами с засахаренными фруктами. Она почувствовала, что наконец-то попала в нужное место в Индии.

Вот только гости никуда не годились. Помимо компании из Сатипура присутствовала также еще одна английская пара — майор и миссис Минниз, которые жили недалеко от Хатма, и какой-то Гарри, полный, лысеющий англичанин, гостивший у Наваба. Майор и его жена были точь-в-точь, как Кроуфорды. Полномочия майора состояли в том, чтобы давать советы Навабу и правителям соседних штатов по политическим вопросам. Он жил в Индии уже больше двадцати лет и ему, как и его жене, была известна каждая мелочь. Кроуфорды тоже все знали. И те, и другие принадлежали к семьям военных, служивших в разных индийских полках еще до восстания. Оливия уже была знакома с такими старожилами, и ей успели наскучить и они, и их бесконечные рассказы о том, что произошло в Кабуле или Мултане. Она то и дело спрашивала себя, как им удавалось, ведя такую интересную жизнь (они управляли целыми провинциями, отвоевывали границы, давали советы правителям), нагонять столь великую тоску на окружающих. Она оглядела сидящих за столом: миссис Кроуфорд и миссис Минниз в их старомодных платьях, более подходящих для какого-нибудь захолустного курорта в Англии, — куда они в один прекрасный день удалятся, — чем для королевского приема; майор Минниз и мистер Кроуфорд, надутые и напыщенные, с голосами, беспрестанно гу-

девшими от самодовольной уверенности, что их внимательно слушают, хотя все, что они говорили, казалось Оливии таким же скучным, как и они сами. Только Дуглас был не такой. Она украдкой взглянула на него, да, он был безупречен: Как всегда, сидел очень прямо, нос и высокий лоб были тоже прямыми, фрак сидел как влитой. Само достоинство и честь.

Оливия была не единственной, кто восхищался Дугласом. Гостивший у Наваба англичанин по имени Гарри, сидевший рядом с ней, прошептал: "Мне нравится ваш муж". — "В самом деле? — спросила Оливия. — Мне тоже". Гарри взял с колен салфетку и, прикрывшись, хихикнул в нее. Не отнимая ее от рта, он прошептал: "Ничего похожего на наших остальных друзей", — и его глаза скользнули по Кроуфордам и Миннизам, а потом, когда он взглянул на нее, в отчаянии закатились. Она знала, что это нехорошо, но с трудом сдерживала ответную улыбку. Было очень приятно сознавать, что кто-то разделяет ее чувства — до сих пор в Индии такого человека ей еще не встретилось. Не исключая Дугласа, как ни странно. Она снова посмотрела на него, пока он внимательно, с искренним уважением слушал майора Миниза.

И Наваб, сидящий во главе стола, казалось, тоже слушал гостя со вниманием и уважением. Он даже подался вперед, не желая упустить ни единого слова. Когда история майора приняла забавный оборот (тот рассказывал о дьявольски умном ростовщике в Патне, который много-много лет назад попытался обхитрить майора, когда тот был еще молод и зелен), Наваб, стремясь показать, что ценит юмор майора, откинулся назад и стукнул по столу. И прервал смех только для того, чтобы пригласить остальных гостей присоединиться к нему и тоже посмеяться. Но Оливии показалось, что он это нарочно, она была почти уверена в этом. Она видела, что, хотя, на первый взгляд, он был совершенно поглощен рассказом майора, он столь же внимательно следил за всем, что происходило за столом. Всегда первым замечал опустевший бокал или тарелку, тут же отдавал быстрый приказ — обычно взглядом, а иногда брошенным вполголоса словом на урду. В то же время он изучил каждого из гостей, и Оливии казалось, что он пришел к некоторым заключениям относительно их. Ей очень бы хотелось знать, к каким именно, но она подозревала, что он постарается их тщательно скрыть. Если только она не узнает его поближе. Глаза Наваба часто останавливались на ней, и она позволяла ему разглядывать себя, притворяясь, будто ничего не замечает. Ей это нравилось, как и его взгляд, которым он окинул ее в момент их первой встречи. Тогда его глаза загорелись, и, хотя он тут же

взял себя в руки, Оливия заметила этот взгляд и поняла, что вот наконец-то есть в Индии человек, которому она интересна в том смысле, к которому привыкла.

После этого вечера Оливии было уже не так тоскливо проводить в одиночку день за днем в большом доме. Она знала, что Наваб приедет к ней с визитом, и каждый день наряжалась в прохладный муслин пастельных тонов и ждала. Дуглас всегда поднимался на рассвете, очень тихо, чтобы не разбудить ее, и выезжал на инспекцию до того, как солнце начинало жарить. Затем он отправлялся в суд и в свою контору и обычно проводил весь рабочий день в суете, а домой возвращался поздно вечером да еще и с бумагами (окружные чиновники работали на износ!). К тому времени, когда поднималась Оливия, слуги прибирали весь дом, задергивали шторы и закрывали ставни. Весь день принадлежал ей одной. В Лондоне ей всегда нравилось тратить много времени на себя, она считала себя человеком, склонным к самоанализу. Но здесь ее начинали угнетать эти одинокие дни взаперти со слугами, которые шлепали по дому босыми ногами и уважительно ждали, пока она чего-нибудь пожелает.

Наваб приехал через четыре дня после званого вечера. Она играла Шопена и, услыхав его автомобиль, продолжала играть с удвоенным усердием. Слуга доложил о нем, и, когда Наваб вошел, Оливия повернулась к нему на своем табурете и широко раскрыла свои и без того большие глаза: “Наваб-саиб, какой приятный сюрприз”. Она поднялась, чтобы поприветствовать его, протянув обе руки навстречу.

Он приехал с целой компанией (позже она узнала, что он не ездит без сопровождения). Компания состояла из англичанина Гарри и многочисленных молодых людей из дворца. Они все устроились, как дома, в гостиной Оливии, грациозно расположившись на диванах и коврах. Гарри объявил, что гостиная у нее совершенно очаровательная: ему очень понравились черно-белые фотографии, японская ширма, желтые стулья и абажуры. Он плюхнулся в кресло и обессиленно задышал, притворяясь, что пересек пустыню и теперь добрался до оазиса. Навабу тоже, казалось, было весело. Они остались на целый день.

Время пролетело очень быстро. После Оливия не могла вспомнить, о чем они говорили. В основном, говорил Гарри, а они с Навабом смеялись над его забавными историями. Остальные молодые люди плохо понимали английский и не могли принять участие в разговоре — занимались смешиванием коктейлей по рецепту Наваба. Он придумал особую

смесь, состоящую из джина, водки и шерри-бренди, которую дал Оливии попробовать (напиток оказался слишком крепким для нее). Водку он привез свою, так как, по его словам, ее ни у кого не было. Он завладел целым диваном и сидел прямо посередине, положив вдоль спинки обе руки и вытянув ноги во всю длину. Он держался совершенно непринужденно, как хозяин положения, каковым, собственно, и был. Наваб предложил Оливии не только выпить его коктейль, но и устроиться поудобнее на диване напротив, получать удовольствие от шуток Гарри и всех остальных развлечений, которыми их сегодня еще порадуют.

В тот вечер Дуглас застал Оливию не в слезах скуки и утомления, как обычно, а в таком возбуждении, что на секунду испугался, нет ли у нее температуры. Он положил руку ей на лоб: индийских лихорадок он повидал немало. Она засмеялась. Когда она рассказала ему о своих гостях, Дуглас заколебался, но, увидев, как она весела и довольна, решил, что ничего страшного в этом нет. Она так одинока, и было любезно со стороны Наваба ее навестить.

Спустя несколько дней из дворца пришло еще одно официальное приглашение, на этот раз им обоим. К нему была приложена милая записка, в которой говорилось, что, если они пожелают осчастливить Наваба своим присутствием, он, конечно, пришлет за ними автомобиль. Дуглас был озадачен и сказал, что Кроуфорды, как обычно, отвезут их на своей машине. "О боже, дорогой, – нетерпеливо сказала Оливия, – не думаешь же ты, что их *тоже* пригласили". Дуглас посмотрел на нее в изумлении, каждый раз, когда ему случалось вот так изумляться, его глаза чуть выкатывались из орбит и он начинал заикаться.

Позже, когда стало ясно, что Кроуфордов и в самом деле не пригласили, ему стало не по себе. Он сомневался, что они с Оливией вправе принять приглашение. Но она настаивала, она была полна решимости. Она говорила, что ей не так уж весело здесь – *поверь* мне, дорогой – и что ей не хотелось бы упускать возможность немного развлечься, раз подвернулся случай. Дуглас прикусил язык, он знал, что Оливия была права, но его смущала необходимость выбора. Он думал, что ехать неприлично, и пытался обьяснить это Оливии, но она его словно не слышала. Они спорили, приводя аргументы за и против. Оливия даже встала с утра пораньше, чтобы продолжить разговор. Она вышла вместе с ним из дома, где уже стоял его конюх, придерживая лошадь. "Ну, *пожалуйста*, Дуглас", – сказала она, глядя на него снизу, когда он был уже в седле. Он не ответил, так как ничего не мог обещать, хотя

ему очень хотелось. Он смотрел, как она повернулась и пошла обратно в дом, в кимоно, такая хрупкая и несчастная. "Я просто зверь", — думал он весь день. Но позже отправил Навабу записку, в которой с сожалением отклонил приглашение.

* * *

28 февраля. Один из старых британских домов на Гражданских линиях, в отличие от остальных, отдан не под муниципальные конторы, а под место отдыха для путешественников. Убирал и открывал им дом специально для этого нанятый древний сторож. Однако должность эта ему не по душе — он предпочитает проводить время как душе угодно. Когда посетитель дает о себе знать, смотритель требует предъявить официальное разрешение, а если такового не имеется, считает, что обязанности его исчерпаны, и, шаркая, удаляется в свою уютную хижину.

Вчера у этого дома я увидела довольно странную троицу. Поскольку сторож отказался отпереть дверь, им пришлось расположиться со всеми своими вещами на веранде. То были молодой человек и его подружка, оба англичане, и еще один парень, тоже англичанин (говоривший с тягучим акцентом одного из центральных графств), но ни за что не желавший в этом признаваться. Он заявил, что отказался от своей индивидуальности. Отказался он также и от своей одежды: на нем не было ничего, кроме оранжевого балахона, которые носят индийские аскеты. Голову он начисто выбрил, оставив лишь пучок волос на макушке, как индусы. Хотя от мира он отрекся, его не меньше других рассердил отказ сторожа их впустить. Больше всех негодовала девушка, и не только из-за сторожа, но вообще из-за всех людей в Индии. Она сказала, что они все грязные и лживые. У нее было миловидное, открытое английское лицо, но, когда она произнесла эти слова, оно стало неприветливым и жестким, и я подумала, что чем дольше она пробудет в Индии, тем жестче будет делаться ее лицо.

— Зачем вы приехали сюда? — спросила я.

— Чтобы обрести мир, — мрачно засмеялась она. — Пока все, что я обрела, это дизентерия.

А ее молодой человек добавил:

— Здесь только это и можно найти.

Затем оба принялись перечислять свои несчастья. В храме Амритсара у них украли часы; по пути в Кашмир их облапошил человек, обещавший недорогую баржу и смывшийся после первого же взноса; там же в Кашмире его подруга забо-

лела дизентерией, возможно амебной; в Дели их опять надули: какой-то напористый торговец пообещал обменять их деньги по очень высокому курсу и исчез вместе с ними через заднюю дверь кафе, где они условились встретиться; в Фатехпур-Сикри к девушке пристала компания молодых сикхов; у молодого человека обчистили карманы на поезде в Гоа; в Гоа он ввязался в драку с каким-то сумасшедшим датчанином, вооруженным бритвой, и, вдобавок ко всему, молодой человек подцепил что-то вроде желтухи (началась эпидемия), а девушка — стригущий лишай.

В этот момент сторож вышел из своей хижины, где он, похоже, готовил себе что-то лакомое. Он заявил, что на веранде оставаться запрещается. Молодой англичанин угрожающе засмеялся и сказал: "Тогда давай, попробуй нас прогнать". Хоть и несколько истощенный болезнью, он был здоровым парнем, и сторож погрузился в задумчивость. Через некоторое время он сказал, что, если они собираются разбить свой лагерь на веранде, то это им обойдется в пять рупий, включая воду из колодца. Англичанин указал на запертые двери и сказал: "Открывай". Сторож удалился к своей стряпне, возможно, чтобы обдумать свой следующий шаг.

Молодой человек рассказал мне, что они с девушкой заинтересовались индуизмом после посещения лекции в Лондоне, которую читал заезжий свами[1]. Лекция была о Всеобщей Любви. Мягким и убаюкивающим голосом, очень подходящим к теме, свами поведал им о Всеобщей Любви, что была океаном благоденствия, который обволакивал все человечество, накрывая волнами меда. У него был тающий взгляд и блаженная улыбка. Вся обстановка была до невозможности красива: жасмин, благовония и банановые листья; повествование свами сопровождалось аккомпанементом: один из учеников нежно играл на флейте, а другой, еще более нежно, ударял в крошечные медные тарелки. Остальные ученики сидели вокруг свами на сцене. Почти все они были европейцы в темно-оранжевых одеждах, и выражения их лиц были непорочны, словно очищены от грехов и желаний. Потом они пели религиозные гимны на хинди, которые тоже были об океане любви. Молодой человек и девушка ушли с этой встречи, преисполнившись таких возвышенных чувств, что долго не могли говорить; а когда обрели дар речи, пообещали друг другу тотчас же отправиться в Индию в поисках столь чаемого духовного роста.

1. Свами — почетный титул в индуизме; означает на санскрите "владеющий собой" или "свободный от чувств".

Аскет заявил, что тоже приехал с духовной целью. Его привлекли писания на хинди, и когда он прибыл в Индию, то отнюдь не разочаровался. Ему казалось, что дух этих манускриптов все еще живет в великих храмах на юге страны. Месяцами он там оставался, подобно индусскому паломнику, очищенный и настолько погруженный в раздумья, что окружающий мир постепенно исчез напрочь. Он тоже заболел дизентерией и стригущим лишаем, но на том высоком уровне, которого он достиг, его это не беспокоило. Не беспокоило его даже исчезновение немногочисленного имущества с территории храма, где он жил. Он нашел гуру, который произвел обряд посвящения и освободил его от всех индивидуальных особенностей, а также и от всего остального, включая имя. Он получил новое имя: Чидананда (спутники называли его Чид). С тех пор у него не было ничего, кроме четок и плошки для подаяний, в которую он должен был собирать еду у милосердных людей. На самом же деле, это не всегда получалось, и ему приходилось обращаться домой с просьбой прислать денег по телеграфу. Следуя указаниям своего гуру, он отправился в паломничество через Индию, конечной целью которого была священная пещера Амарнатх. Он путешествовал уже много месяцев. Главным бедствием были преследующие его и глумящиеся люди, особые хлопоты причиняли дети, частенько швырявшие в него камни и все, что под руку попадет. Спать под деревьями, как велел гуру, оказалось невозможно, поэтому по ночам он искал прибежища в дешевых гостиницах, где ему приходилось долго торговаться, чтобы добиться разумной цены.

Сторож вернулся, подняв три пальца, что означало: цена за привал на веранде снизилась до трех рупий. Англичанин снова указал на запертые двери. Переговоры возобновились, и вскоре сторож принес ключи. Вообще-то оказалось, что на веранде было гораздо приятнее. В доме царила тьма и пахло плесенью и смертью. На полу старой столовой мы обнаружили дохлую белку. Там все еще стоял буфет с зеркалами и портретом Георга Пятого в рамке. Дом был темный, погруженный в раздумья, и никаким другим его нельзя было и представить. С задней веранды открывался вид на христианское кладбище: я увидела возвышающегося над остальными могилами мраморного ангела, которого Сондерсы заказали в Италии, — надгробный памятник их ребенку. Мне внезапно пришло в голову, что именно в этом мрачном доме и жил мистер Сондерс, главный врач. Я и не думала, что миссис Сондерс созерцала могилу своего малютки с собственной веранды. Тогда мраморный ангел был в целости и сохранности и, сверкая белизной, стоял с распахнутыми крыльями и младенцем на руках. Теперь

же это безголовый и бескрылый торс, а у младенца нет носа и одной ножки. Могилы в очень плохом состоянии: они задушены сорняками, лишены последнего осколка мрамора и всех оград, какие только удалось стащить. Странно, когда могилы так заросли и заброшены, люди в них делаются по-настоящему мертвыми. Индийские христианские могилы в начале кладбища, за которыми ухаживают родственники, наоборот, кажутся необычно живыми и современными.

1923

На Оливию кладбища всегда производили сильное впечатление. Еще в Англии ей нравилось бродить там, читать надписи и даже сидеть на могилах под плакучими ивами и давать волю воображению. Кладбище в Сатипуре пробуждало особенные чувства. Хотя в Сатипуре жило немного британцев, за долгие годы немало их умерло здесь, да и из тех мест, где своего христианского кладбища не было, тела привозили тоже сюда. Большинство могил были младенческие и детские, но сохранилось и несколько связанных с восстанием, когда доблестный отряд офицеров британской армии погиб, защищая женщин и детей. В самой свежей могиле покоился ребенок Сондерсов, и итальянский ангел был самым новым и чистым памятником.

Оливию глубоко потрясла могила младенца, когда она увидела ее впервые. В тот вечер Дуглас обнаружил жену лежащей ничком на постели, она запретила слугам входить и открывать ставни, поэтому комната весь день была закрыта, там стояла удушающая жара, а Оливия утопала в поту и слезах.

— О Дуглас, — сказала она, — а вдруг у нас будет ребенок? — И расплакалась. — И вдруг он умрет!

Он долго утешал ее. На целый вечер бумаги пришлось отложить, и он посвятил его Оливии. Он сказал ей все, что только мог. Сказал, что сейчас младенцы не умирают так часто. Он сам родился в Индии, и его мать родила еще двоих детей, и они живы и здоровы. Раньше и в самом деле много детей умирало, его прабабушка потеряла пятерых из девяти, но это произошло очень давно.

— А как же ребенок миссис Сондерс?

— Ну, это где угодно может произойти, родная. У нее были осложнения или что-то в этом роде...

— У меня точно будут осложнения. Я умру. И я, и ребенок.

Когда он попытался возразить, она повторила:

— Нет, если мы останемся здесь, мы умрем. Я чувствую. Вот увидишь. — Но, взглянув на его лицо, Оливия постара-

лась взять себя в руки и улыбнуться. Она подняла руку и погладила его по щеке. — Но ты же хочешь остаться.

Он сказал уверенно:

— Просто здесь тебе все в новинку. Нам, старожилам, легко, потому что нам известно, чего можно ожидать, а тебе нет, бедняжка моя. — Он поцеловал жену, приникшую к его груди. — Знаешь, я именно об этом говорил с Бет Кроуфорд. Нет, милая, Бет вовсе не такая, она просто молодчина. Она догадывалась, как трудно тебе будет, еще до твоего приезда. И, знаешь, что она сказала теперь? Сказала, что уверена, с твоей чуткостью и умом — вот видишь, ты ей очень по душе, — ты со всем справишься. Что ты — это ее слова — проникнешься к Индии тем же чувством, что и все мы. Оливия? Ты спишь, дорогая?

Она не спала, но ей нравилось вместе с ним лежать, припав к его груди, под москитной сеткой. Луна взошла над персиковым деревом, и свет лился в открытое окно. Когда Дуглас решил, что она заснула, он обнял ее крепче и едва не заплакал, переполненный счастьем от того, что может обнимать ее, залитую лунным сиянием Индии.

На следующий день Оливия отправилась навестить миссис Сондерс. Она принесла цветы, фрукты и свое сердце, полное жалости. И хотя чувства ее к миссис Сондерс изменились, сама миссис Сондерс была такой же, как всегда, — той же непривлекательной женщиной, лежавшей на кровати в своем мрачном доме. Оливии, чувствительной к обстановке, пришлось преодолеть чувство неприязни. Она терпеть не могла неопрятные дома, а дом миссис Сондерс, как и ее слуги, был очень запущен. Никто не потрудился поставить красивые цветы Оливии в вазу, а может, вазы и не существовало? В доме вообще почти ничего не было, только уродливая мебель, да и та вся в пыли.

Оливия села у постели миссис Сондерс и слушала, как та рассказывала о своей болезни, о чем-то, связанном с маткой. После смерти ребенка она так и не поправилась, то было единственное упоминание о ребенке, все остальное — о последствиях заболевания миссис Сондерс. Пока она говорила, Оливии пришла в голову нехорошая мысль: Сондерсы — никто бы, конечно, прямо так не сказал — не те люди, которые обычно приезжают служить в Индии. Оливия не отличалась снобизмом, но обладала эстетическим чувством, а подробности болезни, о которых ей поведала миссис Сондерс, вовсе не были эстетичны; да и акцент миссис Сондерс — неужели никто не замечал? — не принадлежал человеку образованному...

Это недостойно, совершенно недостойно, отругала себя Оливия, но тут же испытала потрясение: миссис Сондерс громко вскрикнула. Обернувшись, Оливия увидела, что один из неопрятных слуг вошел, не сняв грязной обуви. Именно обувь так расстроила его хозяйку, ибо это было неуважительно с его стороны, Дуглас ни за что не позволил бы ничего подобного у них дома. Но Оливию потрясла и испугала реакция миссис Сондерс. Она села в постели и начала кричать, как безумная, и обозвала слугу грязным словом. Тот перепугался и убежал. Миссис Сондерс обессиленно уронила голову на подушку, но вспышка гнева еще не погасла. Казалось, ей хотелось объясниться или, возможно, оправдаться; она, наверное, стыдилась ругательства, которое у нее вырвалось. Она сказала, что слуги просто черти и кого угодно могут свести с ума, и вовсе не́ по глупости, наоборот, они прекрасно соображают, когда им это нужно, но все делается назло, чтобы мучить хозяев. Она приводила примеры их воровства, пьянства и других дурных привычек. Она рассказала о грязи, в которой они живут на своей половине́, а чего же ожидать, грязь везде, повсюду в городе, на улицах и базарах, а видела ли Оливия их безбожные храмы? Миссис Сондерс застонала и закрыла лицо руками, а затем Оливия заметила, что слезы сочатся у нее сквозь пальцы и грудь содрогается от тяжелых рыданий. Она выдавила: “Я просила его снова и снова, я говорила: Уилли, пожалуйста, давай уедем”. Оливия провела рукой по подушке миссис Сондерс и прослезилась от жалости к той, что так несчастна.

Какое же облегчение было после этого оказаться в компании умной и живой Бет Кроуфорд! Та приехала пригласить Оливию в Хатм — навестить мать Наваба. Оливия была счастлива снова побывать во дворце, хотя их сразу же провели в женские покои. Эти комнаты тоже были очень элегантны, хотя и в явно восточном стиле, с низкими диванами, обтянутыми роскошной тканью, и зеркальцами в эмалевых рамках. В центре комнаты стояли три хороших европейских стула: для миссис Кроуфорд, Оливии и самой бегум[1]. Там были еще какие-то пожилые дамы, устроившиеся на расставленных по всей комнате низких диванах. Дамы помоложе, в воздушных шелках, порхали вокруг и подавали щербет и прохладительные напитки, снимая их с целой вереницы подносов, с которыми сновали слуги.

1. Бегу́м, также бегюм, — титул знатной женщины и обращение к ней в мусульманских странах и районах Южной Азии.

Оливии оставалось только сидеть на краешке стула. Участвовать в беседе она не могла, так как не знала ни слова на урду. Бегум попыталась немного поговорить с ней по-английски, но тут же засмеялась над своим произношением. Ей было около пятидесяти, и она была бы красивой женщиной, если бы не крупная бородавка на щеке. Она курила сигареты в мундштуке одну за другой. Держалась бегум очень просто и не скрывала того, что сидеть на стуле ей очень неудобно. Она ерзала и поджимала под себя то одну, то другую ногу. Оливия всегда любила беседовать полулежа и с удовольствием сидела бы на полу, но вряд ли позволил бы этикет.

Миссис Кроуфорд сидела на своем стуле совершенно прямо, обтянутые чулками колени были плотно сдвинуты, а руки в белых перчатках сложены поверх сумочки. В комнате она была главной фигурой, именно от нее зависел успех визита. И она не уклонялась от возложенной на нее обязанности. Она говорила на урду — придворном языке, — если не бегло, то, во всяком случае, уверенно, и была готова обсуждать все что угодно с другими дамами. Не вызывало сомнений — она пришла подготовившись, так как с легкостью переходила от одной темы к другой, стоило беседе иссякнуть. Бегум на стуле и дамы на полу, похоже, были довольны, они то и дело смеялись и хлопали в ладоши. Явно опытные, придворные дамы и миссис Кроуфорд прекрасно играли свои роли. Только Оливия, новенькая, не могла участвовать в разговоре, да и внимание ее было, в основном, приковано к двери — она думала о том, присоединится ли к ним принц Наваб. Но этого не произошло. В точно выбранный момент миссис Кроуфорд поднялась, вызвав возгласы очень точно отмеренного разочарования, и после некоторых возражений дамы вежливо уступили и проводили гостей на приличествующее расстояние до двери. Оливия прошептала: "Не нужно ли нам навестить и Наваба?" — но миссис Кроуфорд твердо сказала: "В этом нет никакой необходимости". И пошла вперед уверенной походкой человека, выполнившего свой долг, а Оливия побрела за ней, глядя по сторонам и, наверное, любуясь цветами принца, которые и в самом деле были великолепны.

После этого визита они поехали к Миннизам, чей дом находился чуть дальше за пределами Хатма. Миссис Минниз сидела за мольбертом, но тут же вскочила, чтобы их поприветствовать. Она отпустила позирующего ей терпеливого старого крестьянина и, сняв рабочий халат, по-детски отбросила его в сторону. Миссис Кроуфорд в компании подруги тоже превратилась в школьницу. Она шутливо закатила глаза, рассказывая, где они были, и миссис Минниз сказала: "Ты в

самом деле молодец, Бет". — "Да не так уж плохо все прошло, — бодро сказала та и повернулась к Оливии. — Ведь так?" — стараясь вовлечь Оливию в разговор.

Оливия и впрямь чувствовала себя лишней, как и во дворце. Миссис Кроуфорд и миссис Минниз были старыми подругами, обе они жили в Индии уже много лет и были несокрушимо жизнерадостны. Наверняка им хотелось расслабиться и поболтать друг с другом, но вместо этого все свое внимание они обратили на Оливию. Дали ей множество советов, как устанавливать особые ширмы от зноя и как распорядиться, чтобы ее крепдешиновые блузки, которые ни в коем случае нельзя давать в руки мужчине-прачке, стирала айя[1]. Оливия старалась слушать с интересом, но безуспешно, и в первый же подходящий момент задала волновавший ее вопрос. Она спросила: "А разве принц Наваб не женат?"

Наступила пауза. Дамы даже не обменялись взглядами, и Оливия поняла, что это им и не нужно было, так как на этот счет они пребывали в полном согласии. Наконец, миссис Кроуфорд ответила:

— Женат, но его жена с ним не живет. — Это был прямой ответ человека, не желающего приукрашивать события. — Она нездорова, — добавила миссис Кроуфорд, — душевнобольная.

— Ой, Бет, слушай! — внезапно воскликнула миссис Минниз. — Мне ответили из Симлы. Коттедж "Жимолость" все-таки свободен в этом году, ну, разве не чудесно?.. А у вас, Оливия, есть планы на лето?

Миссис Кроуфорд ответила за нее:

— Дуглас интересовался, чем мы будем заниматься.

— Ну, в "Жимолости" у нас всегда найдется уголок для Оливии. Особенно теперь, когда Артур, скорее всего, не сможет...

— Ох, Мэри!

— Еще конечно есть надежда, но, видно, не получится. Но *я* точно еду, — сказала она. — Я пока толком не писала вид с Проспект-хилл, и в этом году обязательно должна. Что бы там ни натворил Наваб.

— Наваб? — спросила Оливия.

После паузы миссис Миннниз сказала миссис Кроуфорд:

— Кое-что произошло. Теперь он, похоже, и в самом деле замешан.

— Бандитизм? Мэри, как ужасно. Да еще сейчас.

1. Айя — няня, служанка.

— Ничего не поделаешь, — сказала миссис Минниз с давно отработанной бодростью. — Полагаю, теперь мы уже привыкли. Или, по крайней мере, должны привыкнуть. Три года назад было то же самое. Наш приятель всегда выбирает момент, когда у Артура подходит время отпуска. Это превратилось в обыкновение.

— А что случилось три года назад? — спросила Оливия.

Помолчав, миссис Кроуфорд ответила неохотно, словно допуская, что у Оливии есть право знать:

— Тогда была вся эта суматоха из-за его развалившегося брака. — Она вздохнула, ибо предмет разговора казался ей неприятным. — Мэри знает об этом больше, чем я.

— Ненамного больше, — сказала миссис Минниз. — Никогда не знаешь, что *именно* происходит... — Ей не хотелось больше говорить на эту тему, но она считала, что Оливия вправе знать. — Артур, бедняжка, увяз во всем этом по самые уши вместе с полковником Моррисом, своим коллегой в Кабобпуре — владениях семьи Сэнди. Сэнди — это жена Наваба. Ее все так называют, хотя по-настоящему ее зовут Захира.

— Если бы не Артур и полковник Моррис, — сказала миссис Кроуфорд, — могло быть гораздо хуже. В Кабобпуре все были просто в ярости из-за Наваба.

— Но почему? — спросила Оливия. — То есть я хочу сказать, он же не виноват, что она душевнобольная...

Снова помолчав, миссис Кроуфорд сказала:

— Вот Мэри и говорит, никогда не знаешь, что именно там происходит. У них даже по поводу возвращения приданого был разговор, все было ужасно утомительно... Оливия, — добавила она, — вы же присоединитесь к нам в Симле, не так ли?

Оливия нервно вертела тонкий браслет на своем тонком запястье.

— Мы с Дугласом это обсуждали.

— Да, и ему очень бы хотелось, чтобы вы поехали. — Миссис Кроуфорд посмотрела на Оливию, и было что-то в ее взгляде прямое и твердое, напомнившее Оливии самого Дугласа.

— Мне бы не хотелось оставлять его одного, — сказала Оливия. — Четыре месяца — целая вечность. — Она добавила застенчиво, снова играя браслетом: — Мы не так давно... вместе. — Она хотела сказать "женаты", но "вместе" звучало лучше.

Ее собеседницы переглянулись и рассмеялись. Миссис Кроуфорд сказала:

— Мы, наверное, кажемся вам старыми клушами.

— Но даже эта стойкая старая клуша, — сказала миссис Минниз, — совсем скиснет, если Артур не сможет поехать.

— А почему не сможет? — спросила Оливия.

— Вы нам нужны, Оливия, — сказала миссис Кроуфорд. — Жить в Симле без вас будет очень тоскливо.

— И потом, — подхватила миссис Минниз, — кто будет следовать за нами по аллеям? Кто будет навещать нас в "Жимолости"?

— Только другие старые клуши.

Они одновременно разразились громким смехом — как школьницы.

Оливия понимала, что на самом деле им будет гораздо веселее степенно заниматься привычными делами пожилых дам, получая удовольствие от компании друг друга без нее. И говорили они все это только *ради нее.*

Она спросила, поедет ли миссис Сондерс.

— Нет, Джоан не ездит в Симлу. Хотя ей очень бы пошло на пользу выбраться из этого *дома*... Да и вам тоже, Оливия, — добавила миссис Кроуфорд и вновь бросила на нее Дугласов взгляд.

— Но почему же майор Минниз не может поехать? Раз уж у него отпуск...

Казалось, они не расслышали. Снова началось обсуждение планов, в основном, каких слуг брать с собо́й, а каких оставить приглядывать за бедными саибами, остающимися потеть на работе.

Оливия получила желанную информацию из другого источника. Одним скучным утром (она уже и пианино забросила) ее навестили. Это был Гарри, которого привез на автомобиле шофер Наваба. Гарри заявил, что просто обязан был приехать и освежиться в "Оазисе" (так он теперь называл ее дом). А она, увидев его, почувствовала, что именно он, пухлый и непривлекательный, стал оазисом для нее. Гарри остался на целый день и, пока был тут, рассказал обо всем, что ей так хотелось узнать.

О жене Наваба он сказал:

— Бедная Сэнди. Бедняжка. Ей было не справиться со всем этим. С *ним.*

— С кем? — Оливия наполнила его рюмку; они пили херес.

Гарри быстро взглянул на нее, затем опустил глаза:

— Он очень сильный человек. Мужественный и сильный. Если уж он чего-то хочет, ему ничто не помешает. Никогда. Он стал принцем в пятнадцать лет (его отец внезапно умер от удара). Вот он и правил всегда, всегда был во главе, — и вздохнул восхищенно и в то же время тяжело. — Кабобпуры не хотели, чтобы она выходила за него, — сказал он. — Они

гораздо более влиятельные правители, в их кругах с ним и считаться бы не стали, ни титула толком нет, ни, по их меркам, состояния.

— А кажется он богатым, — сказала Оливия.

— Я с ним в Лондоне познакомился, — сказал Гарри. — Они в "Кларидже" остановились, Наваб с собой взял всех, кто был ему по душе, и слуг, например, Шафта, который ему коктейли смешивает. И Кабобпуры там тоже были, этажом ниже: они *своих* людей привезли. А через неделю в Париж уехали, так как Сэнди уж очень им увлеклась. Как будто от него убежать можно. На следующий день он тоже был в Париже. Мне он сказал: "Поезжай с нами, Гарри". Я ему понравился, знаете ли.

— И вы поехали?

Гарри прикрыл глаза:

— Я же говорю, такому человеку, как он, не отказывают... Кстати, Оливия, то есть миссис Риверс. Можно называть вас Оливия? Мне кажется, мы друзья. С некоторыми людьми можно почувствовать себя друзьями, согласны? Если они вам близки... Оливия, он хочет устроить вечеринку.

Наступила пауза. Оливия налила себе еще хереса.

— Он настаивает, чтобы именно вы приехали. Конечно, будет автомобиль.

— Дуглас ужасно занят.

— Он хочет, чтобы вы оба приехали. Ужасно хочет. Странно, правда: казалось бы, у него должна быть масса друзей, но нет.

— Ну, *вы* же у него есть.

Оливия уже спрашивала у Дугласа, какую именно роль во дворце Наваба играл Гарри. Что-то официальное, вроде секретаря? Дуглас отвечал неохотно и, когда она настояла, сказал: "Вокруг таких, как Наваб, вечно толкутся какие-то..."

Гарри перешел на доверительный тон, казалось, он был рад говорить свободно:

— Я очень хочу сделать все, что в моих силах, чтобы порадовать его. Господи, да я и стараюсь изо всех сил. Не только потому, что он мне очень нравится, но ведь он невероятно добр ко мне. Вы и представления не имеете о его щедрости, Оливия. Он хочет, чтобы у его друзей было все. Все, что он только может дать. Такая уж натура. Если не берешь, его это очень ранит. Но сколько же можно брать? Я уж и так чувствую себя... В конце концов, я здесь потому, что он мне очень по душе, и ни по какой иной причине. Все, что он может, это давать. Дарить. — В его лице и голосе слышалась тоска.

— Но ведь это значит, что и вы ему по душе.

— Кто знает? С ним никогда не поймешь. Сначала вроде думаешь: да, ты ему не безразличен, а потом кажется, ты... просто вещь. Я с ним уже три года. Три года в Хатме, представляете? Я даже Тадж-Махала не видел. Мы вечно собираемся куда-то съездить, но в последний момент что-то обязательно происходит. Обычно бегум нас не пускает. Знаете, иногда я думаю, единственный человек на этой земле, который ему не безразличен, — это она. Он не переносит разлуки с ней. Ну, естественно, она его мать... Я свою мать уже три года не видел. Я беспокоюсь о ней, она болеет. Живет одна в квартирке в Кенсингтоне. Она, конечно, хочет, чтобы я домой приехал. Но стоит мне об этом заикнуться, он тут же высылает ей какой-нибудь дорогой подарок. Однажды она ему написала. Поблагодарила, но сказала, мол, лучший подарок, который вы могли бы мне прислать, — это мой Гарри. Он был очень растроган.

— Но не отпустил?

Гарри искоса взглянул на нее. Молча кусал губы. Затем сказал натянуто и немного обиженно:

— Надеюсь, вы не подумали, будто я жалуюсь.

Наступил вечер, день медленно увядал. Оливия подала обед, к которому Гарри едва притронулся, — как оказалось, он страдал несварением. В комнате стало жарко и влажно, но открывать ставни было еще рано. Херес был теплым и липким, как и запах цветов, которыми Оливия наполнила все вазы (она жить не могла без цветов). Теперь ей хотелось, чтобы Гарри уехал. Ей хотелось, чтобы этот день закончился, и наступила ночь с прохладным ветром, и чтобы Дуглас сидел за своим письменным столом, строгий и серьезный, со своими бесконечными бумагами.

Дуглас говорил на хиндустани очень бегло. Приходилось, так как он постоянно имел дело с индусами и его обязанностью было улаживать огромное количество здешних дел. Вся его деятельность протекала в конторе, в судах или на местах, поэтому Оливии редко доводилось видеть его за работой, но время от времени (обычно по праздникам) некоторые из местных богачей приходили с визитом вежливости. Они усаживались на веранде с дарами для саиба — обычно корзинами и подносами со свежими и засахаренными фруктами и фисташками. Выглядели они все одинаково: толстяки, блестевшие от масла и драгоценностей, в безупречно-белых свободных муслиновых одеждах. Когда Дуглас выходил поприветствовать их, они жеманно улыбались, соединяли ладони на груди и, казалось, были настолько потрясены той честью, которую он им оказывал, что едва могли вымолвить слова благодарности.

Оливия слушала беседы, которые доносились снаружи. Голос Дугласа, твердый и мужественный, заметно выделялся. Когда он говорил, остальные переходили на одобрительное бормотание. Иногда он, должно быть, шутил, ибо они то и дело начинали вежливо смеяться в унисон. Иногда он говорил строже, чем обычно, и тогда бормотание робко затихало до следующей шутки, после чего они с облегчением разражались смехом. Впечатление было такое, что Дуглас играет на духовом инструменте, клапаны которого идеально ему подчиняются. Он знал и точный момент подхода к финалу — слышалось шарканье, и завершающий хор благодарности был таким искренним, таким сердечным, что некоторые голоса прерывались от волнения.

Дуглас вернулся с улыбкой. Похоже, ему всегда нравились эти встречи. “Вот жулики”, — сказал он, качая головой в добродушном удивлении.

Оливия сидела за пяльцами. Она недавно увлеклась вышиванием, ее первой работой была затканная цветочным узором накидка для ножной скамеечки. Дуглас сел в кресло напротив и произнес:

— Можно подумать, я не догадываюсь, что у них на уме.

— И что же это? — спросила Оливия.

— Уж эти мне вечные шуточки. Не одно, так другое. Думают, что очень хитры, но на самом же деле — просто дети. — Он улыбнулся и постучал трубкой по медной каминной решетке.

— Вот как? — строго переспросила Оливия.

— Прости, дорогая, — он решил, что ее недовольство вызвано трубкой и рассыпанным пеплом, — Дуглас начинал курить, причем не слишком умело, — но оказался не прав. Она сказала:

— А мне они показались вполне взрослыми.

— Еще бы, — засмеялся он. — Обманчивое впечатление. Стоит раскусить их (а уж это они всегда чувствуют), и с ними можно неплохо ладить. Главное, не дать обвести себя вокруг пальца. Все это довольно забавно.

Он посмотрел на ее золотистую головку и изгиб белой шеи. Он любил, когда она вот так сидела напротив него за вышиванием. На ней было что-то мягкое, в бежевых тонах. Он не очень хорошо разбирался в женских нарядах и знал только, что́ ему нравилось, а что нет, и вот это ему нравилось.

— На тебе что-то новое? — спросил он.

— Боже, дорогой, я это сто лет ношу... А почему они смеялись? Что ты им сказал?

— Я им сказал, не прямо, конечно, что они шайка жуликов.

— И это им нравится?

— Если сказать на хиндустани́, то да.

— Мне *обязательно* нужно выучить язык!

— Да, обязательно, — сказал Дуглас без энтузиазма. — Это единственный язык, на котором можно нанести смертельное оскорбление абсолютно изысканным способом. Речь не о тебе, конечно. — Эта мысль его рассмешила. — Вот было бы для них потрясение!

— Отчего же? Миссис Кроуфорд говорит на хиндустани, да и миссис Минниз тоже.

— Да, но не с мужчинами. И потом, они никого не оскорбляют. Это исключительно мужское занятие.

— Как и все остальное, — сказала Оливия.

Он пососал трубку, причмокивая от удовольствия, что заставило ее резко вскрикнуть:

— Прекрати, пожалуйста! — Дуглас вынул трубку изо рта и с удивлением уставился на Оливию. — Я не выношу, когда ты так делаешь, — объяснила она.

Хотя он не совсем понял, почему, но заметил, что Оливия расстроена, и отложил трубку.

— Мне и самому не нравится, — откровенно признался он. Они помолчали.

Оливия перестала шить и смотрела в пространство, нижняя губа у нее обиженно оттопырилась.

— Будет легче, когда ты переедешь в горы. Это просто жара тебя донимает, милая, — сказал он.

— Знаю, что жара... А ты когда сможешь приехать?

— Обо мне не волнуйся, это о тебе мы должны позаботиться. Я говорил с Бет сегодня. Они планируют уехать семнадцатого, и я спросил, не будут ли они так любезны зарезервировать и для тебя спальное место на то же число. Это ночной поезд из Калки, но, честное слово, он не так уж плох. — Дуглас был так доволен, что все устроил, ему и в голову не приходило, что она может отнестись к этому по-другому. — Еще четыре часа в горы, но что за пу́тешествие! Тебе очень понравится. Пейзаж, не говоря уже о смене климата...

— Не думаешь же ты, что я поеду без тебя!

— Ну, там будут Бет Кроуфорд и Мэри Минниз. Они о тебе позаботятся. — Взглянув на ее лицо, он добавил: — Но это же глупо, Оливия. Моя мать по четыре месяца в году проводила вдали от отца, год за годом. С апреля по сентябрь. Ей тоже это не нравилось, но когда работаешь в округе, то ничего нельзя сделать.

— Я *никуда* не поеду, — сказала Оливия, выпрямившись и глядя ему в лицо. А затем добавила: — Принц Наваб хочет пригласить нас в гости.

— Очень мило с его стороны, — сухо сказал Дуглас. Он снова взял трубку, чтобы выколотить ее о каминную решетку.

— Да, мило, — сказала Оливия. — Он специально прислал Гарри, чтобы передать приглашение. Не каждый день августейшие особы устраивают приемы для младших офицеров.

— Верно, но я подозреваю, что старшие офицеры нагоняют на него такую же тоску, как и на всех нас.

— На *нас*?

— На *меня*.

Она все еще смотрела прямо на него, но уже смягчилась: смотрела не с боязнью, а с любовью, потому что и он так глядел на нее. Она всегда любила его глаза. Их взгляд был совершенно чист и неколебим — взгляд мальчика, который читал книги о приключениях и следует вычитанным в них законам храбрости и чести.

— Почему мы ссоримся? — спросила она.

Он на мгновение задумался и резонно ответил:

— Потому что этот климат приводит тебя в раздражение. Это совершенно естественно, со всеми так бывает. А дома сидеть без дела еще хуже. Поэтому я и хочу, чтобы ты поехала. — Через секунду он добавил: — Ты же не думаешь, что мне это по душе?

Тут уж она совершенно расклеилась, и только его сильные руки могли поддержать ее. Пусть, сказала она, пусть ей будет скучно и жарко, и они будут ссориться, пусть! Но только, пожалуйста, не надо отправлять ее в эту поездку одну.

Наваб сказал: “Дом без гостей — несчастливый дом”. И хотя эта фраза, наверное, звучала естественней на урду, Оливия поняла, что́ он имел в виду, и была польщена и смущена одновременно.

— Вот и я, — заявил Наваб и широко раскинул руки, показывая, что он тут и душой и телом.

Он прибыл, как и прежде, с целой свитой. Только на этот раз отказался остаться, нет, теперь его очередь, он не мог более злоупотреблять ее гостеприимством. Это смутило ее еще больше, ибо как же было объяснить ему, почему она отказывается от его приглашения? Но, как человек, понимающий все с полуслова, он повернул дело так, что ей не пришлось ничего объяснять. Сказал, что проделал весь этот путь, чтобы пригласить ее прокатиться на автомобиле и, возможно, если ей будет так угодно, устроить небольшой пикник где-нибудь в тени. Нет, он не может принять никаких отговорок. Вся поездка займет лишь полчаса, пятнадцать минут, и пусть это приглашение будет символическим жестом — он умоляет позволить ему: он должен загладить вину. Он объяснил это

так, словно пострадали замысловатые законы индусской чести и, возможно, в самом деле пострадали — откуда ей было знать? А ведь ей *так* хотелось поехать!

Он прибыл на двух автомобилях: “роллс-ройсе” и “альфа-ромео”. Все молодые люди, приехавшие с ним, набились в “альфаромео”, а он сам, Оливия и Гарри уселись в “роллс-ройс”. Гарри сидел впереди рядом с шофером. Они миновали дома Кроуфордов и Сондерсов, церковь и кладбище. Затем выбрались на открытое место. Они ехали и ехали. Наваб в свободной позе устроился рядом с ней на жемчужно-сером сиденье, положив одну ногу на другую и беспечно вытянув одну руку вдоль спинки. Он не вымолвил ни слова, только курил несчетное количество сигарет. Местность, которую они пересекали, расстилалась под палящим солнцем. Она блестела, как стекло, и, казалось, ей не было конца. В какой-то момент Наваб дотянулся через Оливию до окна и опустил шторку, словно защищая свою гостью от вида этой выжженной земли. Но теперь это были его владения: они покинули Сатипур и ехали по его Хатму. Никто не сказал, куда они направляются, и Оливии казалось глупым спрашивать. Молчание Наваба ее беспокоило. Было ли это скукой или плохим настроением? Но в этом случае, зачем он так настаивал на поездке? И теперь, согласившись, она чувствовала себя целиком в его власти и должна была подчиняться любому его капризу. Платье прилипло сзади к ногам, и она волновалась, что, когда настанет время выходить из автомобиля, оно будет все в складках оттого, что она сидела на нем, и будет ужасно выглядеть.

Машина свернула с дороги на узкую колею. Здесь ехать было труднее: их трясло и кидало туда-сюда, Оливия отчаянно вцепилась в ремень, боясь, что ее швырнет прямо на Наваба. Эта мысль ее очень пугала по самым разным причинам. Через некоторое время ехать стало невозможно, и всем пришлось выбраться из машины и идти пешком. Тропа становилась уже и уже, взбегая все выше по холму. Наваб так и не произнес ни слова и лишь иногда придерживал рукой ветки, чтобы Оливии было легче идти. Но она все равно оцарапалась колючками, ее кусали какие-то насекомые, соломенная шляпа съехала набок, и ей было жарко до слез. Оглянувшись, она увидела Гарри, пыхтевшего сзади, ему тоже было не до смеха. Остальные следовали на почтительном расстоянии. Наваб в белоснежных брюках и кремовых с белым туфлях возглавлял процессию.

Он отодвинул ветви ежевики и пропустил Оливию вперед. Они прибыли в тенистую рощицу, в центре которой находился маленький каменный храм. Здесь было прохладно и зелено; где-то даже журчала вода. К тому же их уже ждала це-

лая команда дворцовых слуг, которые приготовили место для отдыха. Землю устилали ковры и подушки, на которые Оливию пригласили присесть. Наваб и Гарри присоединились к ней, а молодых людей отослали развлекаться самостоятельно. Слуги суетились, распаковывая корзины с едой и охлаждая бутылки вина.

Теперь Наваб снова пустил в ход свое обаяние. Он принес извинения за путешествие:

— Вам было очень неприятно? Да, должно быть, это ужасно, наш отвратительный индийский климат! Очень, очень прошу простить меня за неудобства.

— Здесь просто чудесно, — сказала Оливия с облегчением, и не только потому, что ей было не так жарко и стало гораздо приятнее, но и потому, что он снова был мил с ней.

— Это место совершенно особенное, — сказал Наваб. — Погодите, я вам расскажу, только сперва нужно привести его в чувство, вы только посмотрите, — он указал на Гарри, который шлепнулся на ковер, вытянув руки и часто дыша от изнеможения. Наваб рассмеялся. — В каком же он состоянии? Очень слабый человек. Это потому, я думаю, что он такой полный. Ненастоящий англичанин. Я вам больше скажу: *никуда* не годный англичанин. — Он рассмеялся своей шутке, блеснув глазами и зубами, но, тем не менее, заботливо подсунул подушку Гарри под голову. Тот застонал, не открывая глаз: "Боже, я сейчас умру".

— Зачем же умирать? Неужели это красивое место, священное для моих предков, убивает вас? Или дело в нашем обществе? — Он улыбнулся Оливии и спросил: — Вам здесь нравится? Вы не возражаете, что я привез вас сюда? Жаль, что мистер Риверс не мог с нами поехать. Но я думаю, мистер Риверс очень занят. — Кончиком языка он быстро облизнул губы, а затем так же быстро посмотрел на Оливию. — Мистер Риверс — настоящий англичанин, — сказал он.

— Да уж, он вам нравится, — сказал Гарри лежа ничком.

— Спите, Гарри! Мы беседуем не с вами, а друг с другом... Полагаю, мистер Риверс учился в частной школе? Итон или Рагби? К сожалению, мне не довелось. Если у меня будет сын, я его туда отправлю. Как вы думаете? Очень хорошее образование необходимо, как и строгая дисциплина. Гарри там, конечно, не нравилось, он говорит, это было просто... Как вы тогда сказали, Гарри?

— Варварство, — с чувством сказал Гарри.

— Чепуха какая! Только для таких, как вы, потому что вы никуда не годитесь. Давайте попробуем сделать его более пригодным, что скажете миссис Риверс? — сказал он, снова улыбаясь ей. Он подозвал молодых людей, которые по его команде наки-

нулись на Гарри: один массировал ему ноги, другой — шею, третий щекотал пятки. Всем, включая Гарри, похоже, нравилась эта игра. Наваб со снисходительной улыбкой наблюдал за ними, но, когда заметил, что Оливия чувствует себя лишней, повернулся к ней и снова превратился в того хозяина, каким был на званом ужине: внимательным, любезным и учтивым, так что она снова почувствовала себя единственной важной гостьей.

Он пригласил ее взглянуть на место поклонения. То была маленькая и очень простая беленая конструкция, увенчанная полосатым куполом. К решетчатым окнам молящиеся привязали обрывки красной нити — для исполнения желаний. На небольшом возвышении, одиноко стоявшем в центре храма, лежали некогда сплетенные в гирлянду и теперь увядшие цветы. Наваб объяснил, что храм был построен его предком в благодарность Баба́ Фирдаушу, который жил в этом месте. Баба Фирдауш был набожным человеком, проводившим все время в молитвах и ни с кем не делившим своего одиночества. Предок Наваба, Аманулла Хан, был разбойником, который разъезжал со своей бандой по всей стране, ища с кем бы подраться — с могулами, афганцами, маратхами или индусами. Его долгая карьера состояла из взлетов и падений. Однажды он укрывался в этой самой роще, все его люди были убиты, а сам он чудом спасся, хотя был тяжело ранен. Баба Фирдауш спрята́л его от преследователей, ухаживал за ним и выходил. Спустя годы, когда удача снова улыбнулась ему, Аманулла Хан вернулся, но к тому времени здесь уже никого не было и никто не знал, что приключилось с Баба, жив он или мертв. Поэтому все, что оставалось Аманулле — это построить храм в память о святом.

— Он не забывал ни друзей, ни врагов, — сказал Наваб, имея в виду своего предка. — Если следовало с кем-то рассчитаться — за добро ли, за зло ли, — он не забывал. Он был лишь грубый солдат, но прямой и честный. И отличный воин. Британцам он очень нравился. Вам ведь всегда такие люди нравятся? — он вопросительно взглянул на Оливию. Она рассмеялась — странно, что ей дано право говорить за всех британцев. И он улыбнулся. — Да, вам нравятся люди, которые хорошо дерутся и ездят верхом. Лошади вам больше всего нравятся. А остальные люди не очень?

— Какие такие остальные? — спросила Оливия смеясь.

— Я, например, — ответил он, тоже смеясь. Но затем посерьезнел и сказал: — Но вы совершенно не такая. Думаю, вам лошади не нравятся? Нет. Пожалуйста, идите сюда, я вам кое-что покажу.

Он вывел ее из храма. Из расщелины между камнями бил маленький свежий источник. Его журчанием и птичьим пе-

нием была наполнена рощица. Наваб присел и, намочив пальцы в воде, предложил Оливии сделать то же самое.

— Холодная какая. Всегда холодная. Люди думают, что этот маленький источник с холодной водой здесь, посреди пустыни, — чудо. Откуда он? Одни говорят — все это благодаря Баба Фирдаушу, его святой жизни, другие говорят, что это Аманулла Хан отплатил за добро. Думаете, такое возможно? И это и впрямь чудо?

Они были совсем рядом. Он внимательно смотрел на нее, а она смотрела на свои руки в воде. Вода была свежая и текла очень быстро, но источник был таким мелким, что она просто стекала по пальцам.

— Возможно, это очень маленькое чудо, — сказала Оливия.

Тогда он шлепнул себя по колену и громко рассмеялся:

— Миссис Риверс, у вас хорошее чувство юмора! — Он поднялся и заботливо протянул ей руку, но она обошлась без его помощи. — Знаете, — снова серьезно сказал он, — как только я вас впервые увидел, я знал, что вы окажетесь такой. Сказать вам кое-что? Это очень странно: мне кажется, я вам могу сказать все что угодно, и вы поймете. Очень редко испытываешь такое чувство по отношению к другому человеку. Но с вами у меня получается. И вот еще что: я не верю в чудеса, вовсе нет. У меня слишком научные взгляды для этого. Но я верю, что некоторые вещи *возможны*, даже если это и чудеса. А вы не думаете, что они возможны? Вот видите, я так и знал. Вы гораздо больше похожи на меня, чем... чем, скажем, миссис Кроуфорд. — Он засмеялся и Оливия тоже. Он посмотрел ей в глаза. — Вы совсем не такая, как миссис Кроуфорд, — сказал он, все еще глядя на нее, но тут же понял, что смущает ее, и перестал смотреть. Осторожно, едва касаясь локтя, Наваб отвел Оливию назад, туда, где сидели остальные.

Теперь он был в отличном настроении, и началось веселье. Слуги распаковали корзины, и священная роща наполнилась запахом жареных цыплят, перепелок и консервированных креветок. Молодые люди были очень оживлены и развлекали всех, то разыгрывая друг друга, то исполняя песни и стихи на урду. Один из них привез с собой что-то вроде лютни и извлекал из нее сладостно-горькие ноты. Лютня пригодилась и для игры в "музыкальные стулья", сделанные из уложенных в ряд подушек. Так получилось, то ли случайно, то ли нет, что Наваб и Оливия оказались последними игроками. Очень медленно они кружили вокруг одной оставшейся подушки, не сводя глаз друг с друга, каждый был начеку и следил за противником. Все смотрели на них, игра-

ла лютня. На мгновение ей показалось, что из вежливости он даст ей выиграть, но, услышав на мгновение раньше нее, что музыка прекратилась, он вдруг бросился на последнюю подушку. И выиграл! Наваб громко рассмеялся и торжествующе вскинул руки. Он в самом деле был чрезвычайно доволен.

8 марта. Именно с этого дня Оливия начала писать Марсии. Она и раньше ей писала, но не часто и не очень подробно. Только с того самого пикника Оливия словно стала искать утешения в признаниях другому человеку.

Она так и не рассказала Дугласу о пикнике с Навабом. Она собиралась, как только приехала домой, но его задержали дела (кого-то зарезали на базаре), и он вернулся домой гораздо позже обычного. Оливия задавала ему огромное количество вопросов, а Дуглас любил говорить о работе (хотя ей не всегда было так уж интересно слушать), и время пролетело, а Оливия так и не успела рассказать, как прошел день. А утром, когда Дуглас уехал, она еще спала. Поэтому вместо разговора с ним Оливия написала первое из своих длинных писем Марсии. Интересно было бы знать, что подумала Марсия: жила она тогда во Франции (она была замужем за французом, но они расстались) одна, переезжая из гостиницы в гостиницу, и водилась с довольно темными личностями. Жизнь Оливии в Индии, наверное, казалась ей странной и далекой.

Я разложила письма Оливии на своем столике и работаю над ними и над этим дневником все утро. Мой обычный день в Сатипуре теперь подчиняется твердому распорядку. Начинается он рано, потому что городок рано просыпается. Сначала звонят колокола в храме (я слушаю их лежа в постели), а затем в чайном киоске напротив разводят огонь и ставят чайник. В эти утренние часы воздух свежий, а небо нежное и бледное. Все кажется гармоничным, как звон колоколов. Я отправляюсь на базар — купить немного творога и свежих овощей, а после готовки сажусь, скрестив ноги, на пол и принимаюсь за свои бумаги.

Ближе к вечеру я иногда хожу на почту, которая занимает комнату, где некогда завтракала Оливия. Если в конторах время подходит к закрытию, я иду к дому Кроуфордов и жду, когда Индер Лал освободится. Оба здания (и Кроуфордов, и Оливии), когда-то такие разные внутри, теперь заставлены одинаково ветхой офисной мебелью, а на стенах видны одинаковые красные пятна от бетелевой жвачки. Сады при домах тоже совершенно одинаковы, то есть это и не сады больше, а небольшие площадки, где служащие собираются под немногими оставшимися тенистыми деревьями. Торговцам

здесь разрешается продавать арахис и сладкий горошек. Видны целые ряды велосипедных стоек — в каждую втиснут велосипед.

Индер Лал поначалу чувствовал себя очень неловко, когда видел, что я его жду. Возможно, ему было даже немного стыдно, когда нас видели вместе. Мы и правда были странной парой: я намного выше и шагаю широко, забывая, как ему трудно поспеть за мной. Но теперь он ко мне привык, и не исключено, что ему приятно быть на виду у всех с английской подругой. Я даже думаю, что мое общество ему нравится. Сначала он был рад ему, потому что мог поупражняться в английском (хорошая, говорил, возможность), но теперь ему нравятся и сами беседы. Мне — точно нравятся. Он очень откровенен и часто говорит об очень личном: не только о жизни, но и том, что у него на душе. Он поведал мне, что есть еще один человек, с которым он может говорить свободно, — его мать, но даже с ней не обо всем поговоришь, не то, что с другом.

Однажды я спросила:

— А как же ваша жена?

Он сказал, что она не очень умна. И образования у нее особенного нет (его мать не хотела, чтобы он женился на образованной девушке; по ее словам, от *таких* одни неприятности). Риту выбрали потому, что она была из подходящей семьи, а также из-за светлой кожи. Его мать говорила, что она хорошенькая, но сам он так и не решил: иногда ему казалось, что хорошенькая, иногда — нет. Наверное, она была красивой в юности, но теперь стала худой и измотанной, и лицо у нее, как и у Индера Лала, всегда выражало тревогу.

По его словам, в первые годы брака Риту так тосковала по дому, что плакала не переставая.

— Это очень подорвало ее здоровье, — сказал он, — особенно когда она была в положении. Мы с матерью пытались объяснить ей, как важно хорошо питаться и быть в добром расположении духа, но она не понимала. Естественно, здоровье ее пострадало и ребенок родился слабеньким. Это она виновата. Умный человек бы понял и принял меры.

Он нахмурился, у него был грустный вид. К тому времени мы добрались до озера. (Оливия не пошла бы дальше, так как здесь начиналась индийская часть города: толчея переулков и базара, где я сейчас и живу.)

Индер Лал рассуждал:

— Разве мог бы я с ней говорить, как с вами? Нет, не мог бы. Она бы ничего не поняла. — И добавил: — И здоровье у нее все еще очень слабое.

В озере купались мальчишки и, похоже, веселились вовсю. Мы видели, как пенилась вода, когда они подпрыгивали и брызгались. Индер Лал с тоской наблюдал за ними. Возможно, ему хотелось стать одним их них, а может быть, он вспоминал летние вечера, когда сам ходил купаться с друзьями.

Вряд ли это было очень давно — он еще молод, немного моложе меня, ему лет двадцать пять-двадцать шесть. Если присмотреться, то видно, что лицо у него совсем юное, его старит только постоянно озабоченное выражение. Когда мы впервые познакомилась, он казался обычным индийским служащим, смиренным и отягощенным всевозможными заботами. Но теперь я вижу, что это вовсе не так — может быть, только снаружи, а внутри он жаждет жизни и стремится ко множеству недоступных вещей. В основном, это видно по его глазам, которые полны печали и влажны от тоски.

10 марта. Я много занимаюсь языком и уже начала разговаривать с людьми, что дает огромное преимущество. Жаль, что я не могу как следует побеседовать с Риту, женой Индера Лала: она так застенчива, что даже мой улучшившийся хинди не помогает. Хотя я и сама такая же, и с ней пытаюсь преодолеть свою робость. Я решила, что должна сделать первый шаг, так как я старше и, думаю, сильнее. В Риту есть что-то хрупкое, *безвольное.* Она очень худа, браслеты скользят вверх и вниз по ее тонким рукам, но слаба она не только физически, мне кажется, что она и внутренне беспомощна: не отличается силой воли, такие быстро уступают. Иногда Риту пытается преодолеть робость и приходит ко мне в гости; но, хотя я изо всех сил стараюсь говорить с ней на своем невозможном хинди, она быстро вскакивает и убегает. То же происходит, когда я навещаю ее — я не раз видела, как она, завидя меня, прячется в уборной и, хотя там не очень чисто (девочка-уборщица плохо справляется со своими обязанностями), сидит там, пока я не уйду.

Дни — как и ночи — становятся все жарче. Внутри спать неприятно, и ночью все вытаскивают постели на воздух. Город превратился в огромное общежитие. Койки стоят перед киосками, на крышах, во дворах — везде, где только можно найти свободное место. Я продолжала спать дома, так как стеснялась спать у всех на виду. Но стало так жарко, что и я вытащила свою кровать во двор и устроилась рядом с семейством Индера Лала. Семья продавца из магазина внизу тоже спит тут во дворе, и прислуживающий им мальчик, и какие-то другие незнакомые люди. Так что нас целая толпа. В ночную рубашку я больше не переодеваюсь, а сплю, как индийская женщина, в сари.

Поражает ночная тишина. Когда индусы спят, то спят в полном смысле слова. Ни для взрослых, ни для детей времени отхода ко сну не существует: когда они устают, то просто падают, не раздеваясь, на постель или прямо на землю, если постели нет, и не шевелятся до следующего утра. Слышно только, как кто-то плачет во сне или как собаки (а может, шакалы) лают на луну. Я часами лежу без сна, но спать мне не дает ощущение счастья. Никогда прежде не знала я такой близости к людям. Лежишь вот так под открытым небом, и кажется, будто ты растворяешься в пространстве — но не в пустоте, ибо вокруг спят все эти люди, весь город, и я — часть всего этого. Совсем не так, как в моей зачастую очень одинокой комнатке в Лондоне, где можно только на стены глядеть да книги читать.

Недавно ночью послышался странный звук, в первую секунду я никак не прореагировала, только лежала и *слушала*: пронзительный высокий вопль. Какой-то нечеловеческий звук. Но, тем не менее, принадлежал он человеку. Когда я села в постели, мать Индера Лала уже была рядом с Риту и зажимала ей рот рукой. Та сопротивлялась, но мать была сильнее. Больше никто не пошевелился, и мать держала ее из последних сил. Я помогла отвести Риту в дом, а когда зажгла свет, то увидела ее глаза, широко раскрытые от ужаса глаза над ладонью матери, все еще зажимающей ей рот. Когда странные звуки совсем стихли, мать выпустила Риту, и та мгновенно сползла на пол и так и осталась там лежать, сжавшись в комочек и зарывшись лицом в колени. Теперь она совершенно смолкла, и лишь ее маленькое тело то и дело по-птичьи вздрагивало. Мать подошла к полкам, где хранился рис, и высыпала пригоршню Риту на голову. Рис отскакивал от волос, а несколько зернышек запутались в них. Она не пошевелилась. Мать сначала сжала, а затем разжала ладонь и круговым движением поводила ею над головой девушки, хрустнув суставами и бормоча какие-то заклинания. Довольно скоро Риту поднялась со следами слез на изможденном лице, но в остальном выглядела совершенно нормально. Втроем мы снова вышли наружу и легли рядом с другими; никто не пошевелился. На следующий день ни та ни другая и словом не обмолвились об этом происшествии, казалось, его и вовсе не было, если не считать зерен риса в волосах Риту.

20 марта. После той ночи мы с матерью стали ближе — мы подружились. Теперь она часто ходит со мной на базар и стращает продавца, если тот не дает мне самые лучшие овощи. Она следит, чтобы все продавали мне товар по верной цене. Я теперь гораздо лучше понимаю ее хинди, а она — мой, хотя

он до сих пор ее смешит. Но разговор поддерживает она, мне же нравится ее слушать, особенно когда она рассказывает о себе. Мне кажется, что, хоть она и овдовела, теперь наступили лучшие годы ее жизни. О замужней жизни она невысокого мнения. По ее словам, первые годы самые тяжелые — из-за тоски, из-за того, что думаешь только об отчем доме; трудно привыкнуть к новой семье и правилам, установленным свекровью. Она редко говорит о своем умершем муже, и я думаю, он не представлял собой ничего особенного. Но у нее очень близкие отношения с сыном, именно она, а не Риту ухаживает за ним, подает еду и выкладывает утром его одежду. Она очень гордится тем, что Индер Лал служит в конторе, а не сидит где-нибудь в магазине, как его отец (бакалейщик). Это большое продвижение в жизни и для сына, и для нее тоже. И уж когда она идет по городу, то стесняться ей нечего. Вдове около пятидесяти лет, но она сильна, здорова и по-женски бодра. В отличие от Риту, она не сидит весь день дома, а часто ходит куда-нибудь с подругами, которые в большинстве своем такие же энергичные вдовы, как она. Они свободно перемещаются по улицам и не обращают внимания, если их сари сползает с головы или даже с груди. Сплетничают, шутят и хихикают, как девочки-школьницы, и совершенно непохожи на своих невесток, которые иногда тихонько следуют позади, полностью закрытые чадрой, с опущенными глазами, словно у заключенных под конвоем.

С тех пор как мы подружились, мать Индера Лала приглашает меня порой прогуляться. Она представила меня всем своим друзьям, включая и вдову, главенствующую в этой компании, — женщину, которую все зовут Маджи (Матушка), хотя она немногим их старше. Говорят, у Маджи какие-то особые способности, и, хотя я не знаю, в чем они заключаются, она производит впечатление человека, обладающего чем-то бóльшим, чем остальные, даже если это всего лишь бóльший напор или энергия. Их у нее хоть отбавляй. Живет она очень просто — в маленькой хижине под деревом. Это чудесный уголок между озером, где купаются мальчишки, и старыми королевскими усыпальницами. Когда меня привели к ней, мы все забрались в хижину и сидели там на земляном полу. Мне очень нравилось проводить время с вдовами, они были такими веселыми и дружелюбными, и, хотя я не могла участвовать в разговоре, я много улыбалась и кивала. Затем они принялись за песнопения (Маджи с переполнявшим ее энтузиазмом вела хор), я попыталась присоединиться к пению, и это им, похоже, понравилось.

После этого мать сводила меня к храмам сати. Мы прошли на другой конец базара, дальше через проход, ведущий

из города, затем по пыльной дороге не то к бассейну, не то к водохранилищу у обочины. Здесь она показала мне несколько маленьких алтарей под деревьями: сооруженьица были не больше булыжников, хотя на некоторых красовались небольшие купола. На камне были тонко выцарапаны примитивные изображения: по всей видимости, муж с верной женой — она сжигает себя на костре вместе с его телом. Они произвели на меня жуткое впечатление, но моя спутница набожно сложила руки. Один алтарь она украсила ниткой роз и ноготков, которые принесла с собой, и рассказала, как по определенным дням они с подругами приходят сюда со сластями, молоком и цветами и поклоняются этим вдовам, которые принесли высшую жертву. В голосе ее слышалось глубокое преклонение — она искренне почитала этот древний обычай. И даже жалела — эта веселая вдова! — что ему больше не следуют (обычай был запрещен в 1829 году). Она показала место поклонения последней сати, о которой мне, конечно, тоже было известно, так как это самосожжение произошло, когда здесь жила Оливия. Несмотря на то что этот алтарь был возведен в 1923-м, на вид он так же стар, как и остальные.

1923

Это произошло, когда мистер Кроуфорд был в отъезде и округ остался на попечении Дугласа. Умер купец, торгующий зерном, и родственники принудили его жену к самосожжению на погребальном костре. Хотя Дуглас примчался на место происшествия, как только до него дошла весть об этом, женщину спасать было поздно. Все, что он смог сделать, — это арестовать главных зачинщиков: ее сыновей, зятьев и священнослужителя. Дугласа все хвалили за то, как спокойно и уверенно он взял ситуацию в свои руки. Даже Наваб демонстративно поздравил его, хотя *его* поздравления Дуглас принял довольно холодно. Но Наваб не обратил на это внимания, а если и обратил, то задет не был.

Оливия так и не рассказала Дугласу ни о пикнике с Навабом, ни о его последующих визитах; а приезжал он теперь почти через день или два, обычно со всем своим окружением. Не то чтобы ей не хотелось говорить об этом Дугласу, — конечно, хотелось! — но он приезжал домой так поздно и его мысли были настолько заняты собственными делами, что ей никак не удавалось найти подходящий момент. Правда, однажды Наваб задержался до прихода Дугласа. Должно быть, он специально так все задумал, потому что в тот день он оставил всех молодых людей из своей свиты дома. Если Оливия и вол-

новалась по поводу этой встречи, то напрасно, ибо Наваб повел себя безупречно. Он вскочил на ноги при появлении Дугласа и протянул ему руку с сердечным английским приветствием. Словно это был его дом, а он — хозяин, чьим долгом было устроить все так, чтобы Дуглас чувствовал себя желанным гостем. Он сказал, что приехал, чтобы поздравить Дугласа с быстрым разрешением сложной ситуации. Когда же Дуглас холодно и неодобрительно ответил, что сожалеет о том, что опоздал и появился только к концу визита, Наваб сочувственно пожал плечами.

— Что поделаешь, мистер Риверс. Эти люди ничему не учатся. Что бы мы ни делали, они не расстанутся со своими варварскими традициями. Но как же вас все хвалят, мистер Риверс! Все как один одобряют ваши действия во время этого несчастья.

— Вы не вполне осведомлены, — сказал Дуглас. — Ходят всякие пересуды. Похоже, мои заключенные — родственники этой несчастной женщины — в глазах некоторых людей и сами выглядят жертвами. Сегодня у тюрьмы даже небольшие беспорядки начались. — Он быстро и внимательно взглянул на Оливию. — Но не стоит волноваться. Мы легко со всем этим справимся.

— Конечно, не стоит, миссис Риверс! — присоединился и Наваб. — Где мистер Риверс, там контроль и решительные действия. Так и должно быть. Самим этим людям нипочем не справиться. Все должны благодарить вас, мистер Риверс, за твердую руку, — сказал он, глядя на Дугласа, как соперник, и, видимо, не замечая, что Дуглас смотрит на него совсем иначе.

Как только мистер Кроуфорд вернулся из поездки, он устроил званый ужин, где главной темой для разговора была все та же сати. Дугласа снова очень хвалили. И хотя ему было неловко (он яростно ковырял ломтик поджаренного хлеба), он испытывал гордость, так как высоко ценил свое начальство, и ему было важно мнение старших по званию. Кроме Дугласа и Оливии, присутствовала чета Миннизов и доктор Сондерс (миссис Сондерс была нездорова и не смогла прийти). В общем, все те же люди, так как других английских офицеров в округе не было. И еда была такой же: пресной и водянистой, какую Кроуфорды, наверное, привыкли есть дома, вот только их повар-индус ухитрился сделать ее еще более водянистой, чем обычно. Подавалась же она с шиком: слугами в чалмах и широких поясах. Такими же великолепными были тарелки и серебро: они перешли к миссис Кроуфорд от бабушки, которая привезла их из Калькутты с аукциона, устроенного по случаю разорения какого-то банкира.

Обсудив историю о сати, гости принялись вспоминать предыдущие случаи такого же рода. Случаи не столько из личного опыта, сколько из огромного хранилища воспоминаний, уходивших в прошлое на несколько поколений и, скорее всего, более интересных тем, кто и сам пережил нечто подобное. Кроме Оливии, единственный человек за этим столом, кто не мог поделиться схожими воспоминаниями, был доктор Сондерс. Он сосредоточился на ужине, но время от времени издавал вымученные восклицания. Остальные же рассказывали свои истории, не имея в виду никакого морального подтекста, хотя говорить им приходилось о совершенно жутких вещах. При этом они не только хранили полное спокойствие, но даже слегка улыбались, терпеливо и тепло, с удовольствием, которое Оливия уже научилась отлично распознавать: как хорошие родители, они все любили Индию, что бы она ни натворила.

— Нельзя забывать, — сказал майор Минниз, — что в иных случаях жены *хотели*, чтобы их сожгли вместе с мужьями.

— Ни за что не поверю! — это уже доктор Сондерс.

— Не думаю, что эта ваша сати так уж рвалась на костер, — мистер Кроуфорд подмигнул Дугласу.

— Вы правы, — сказал Дуглас, сдерживаясь.

Оливия посмотрела на него и сказала:

— Откуда ты знаешь? — Это прозвучало как вызов, но то и был вызов. Дуглас почти ничего не рассказывал ей о самосожжении, желая избавить ее от подробностей (а они были ужасны; до конца своих дней не забудет он криков женщины). Но Оливия терпеть не могла оставаться в стороне. — Это же часть их религии, разве нет? Я думала, что вмешиваться не принято. — Теперь она смотрела в суп, а не на Дугласа, но упрямо продолжала: — А если не принимать в расчет религию, такова их культура, да и кто мы такие, чтобы совать нос в чью-либо культуру, тем более в столь древнюю?

— Культура! — воскликнул доктор Сондерс. — Вы, верно, разговаривали с этим пройдохой Хоршамом! — Оливия не подозревала, что ее речь напоминала слова члена парламента, который проезжал через округ в прошлом году и восстановил всех против себя.

Однако только доктор Сондерс и Дуглас были недовольны Оливией. Остальные великодушно обсудили ее точку зрения, словно сказанное можно было принять всерьез. Они говорили о святости религиозных обрядов, даже приняли во внимание возможность добровольного самосожжения, но заключили, что в конце концов это все-таки самоубийство, и довольно чудовищное.

— Я понимаю, — сказала несчастная Оливия. У нее не было ни малейшего желания убеждать всех в разумности сожжения вдов, но от того, что все были так уверены в своей правоте (терпеливо улыбались, но были *уверены*), ей захотелось спорить дальше.

— Но теоретически это же довольно благородный жест. Теоретически, — умоляюще сказала она, не смея взглянуть на Дугласа; она знала, что он сидит очень прямо, плотно сжав тонкие губы и холодно глядя на нее. Она отчаянно стояла на своем. — Я говорю о желании покинуть этот мир вместе с самым важным для вас человеком. О нежелании жить, если его больше нет.

— Это варварство, — заявил доктор Сондерс. — Как и все остальное в этой стране, дикость и варварство. Я такого навидался в больнице, не хочется рассказывать, особенно при дамах. Чудовищно изуродованные тела, и всё, не будем забывать, ради религии. Если это религия, то — черт возьми! — сказал он так громко, что главный старик-слуга с выкрашенной хной бородой задрожал с головы до ног, — я бы с гордостью назвался атеистом.

Но майор Минниз — возможно, из любезности — принял сторону Оливии, рассказав историю, которая частично подтверждала ее точку зрения. Произошло это не с ним самим, а сто лет назад с полковником Слиманом, когда тот был начальником округа в Джабалпуре. Слиман пытался предотвратить самосожжение, но вынужден был отступить из-за упорства вдовы, вознамерившейся исчезнуть вместе с мужем.

— Вот это в самом деле было добровольное самосожжение, — сказал Оливии майор Минниз. — Сыновья и остальные родственники вместе с полковником Слиманом попытались остановить ее, но ничего не вышло. Она не сдавалась. Четыре дня просидела на камне в реке и сказала, что если ей не позволят сжечь себя, то она начнет голодовку. Так или иначе, в живых она не останется. В конце концов, Слиману пришлось сдаться (эту битву он проиграл), но говорил он об этой старой даме с уважением. Она не была религиозной фанатичкой, даже не очень театрально себя вела, просто сидела себе тихо, ждала и не отступалась — хотела уйти вместе с мужем. Что-то благородное в этом было, — сказал майор, но в его голосе уже не слышалось терпения и насмешки — ни в малейшей степени.

— По мне, так уж слишком благородное, — сказала Бет Кроуфорд. Будучи хозяйкой, она решила, что настало время сменить тон. — И хотя я очень люблю тебя, дорогой мой, — сказала она мужу, сидящему напротив, — не думаю, что я смогла бы...

— А я смогла бы! — воскликнула Оливия так искренне, что все замолчали и посмотрели на нее. И Дуглас (на этот раз она осмелилась поднять на него глаза, даже если он и сердился на нее). — Я бы захотела. То есть я бы не хотела жить дальше. Я бы только *благодарна* была за такой обычай.

Они встретились глазами. Она увидела, что его твердый взгляд постепенно тает от нежности. И сама она ощутила такую же нежность. Ее чувства были столь сильны, что она не могла больше смотреть ему в глаза. Она опустила взгляд в стоявшую перед ней тарелку и покорно начала резать ножом жесткий кусок курицы в мучном соусе, который пришел на смену жесткому куску жареной рыбы, и думала о том, что все можно с легкостью вынести и со всем можно справиться, если только они с Дугласом будут испытывать такое друг к другу.

30 марта. Сегодня мне нужно было зайти на почту, так что после я, как обычно, подождала Индера Лала, чтобы идти домой вместе. Мы уже дошли до самых королевских усыпальниц (у озера и хижины Маджи), как вдруг услышали доносившиеся из них странные, напоминающие стоны звуки. Индер Лал сказал, что лучше бы нам идти домой. Но когда мы достигли следующей усыпальницы (их там было несколько, все принадлежали какой-то семье, жившей в XIV веке), мы услышали тот же звук позади нас. Это совершенно точно был стон. Несмотря на протесты моего спутника, я вернулась посмотреть, в чем дело. Вниз вели ступени; как правило, у таких строений не бывает стен, все закрыто арками и решетками, так что внутри обычно очень темно. Сначала можно было разглядеть только неясное нагромождение саркофагов в центре, но стоило звуку повториться, и я заметила какую-то фигуру, забившуюся в самый угол. Это был человек, одетый во что-то оранжевое. Я подошла ближе (тут снаружи раздался предостерегающий крик Индера Лала) и наклонилась, чтобы разглядеть стонущего. Это был белый садху, Чид, с которым я однажды познакомилась у дома отдыха для путешественников.

При нем были все его пожитки: узел, зонт, четки и плошка для сбора подаяний; они валялись на полу вокруг того места, где он лежал, прислонившись к решетчатому проему в стене. На газете каменели кусочки булки. Он сказал, что не знает, как долго находится здесь: иногда было темно, а иногда — совсем темно. Из дома путешественников Чида выгнали после того, как его спутники поехали дальше. Он попытался продолжить свое паломничество, но, заболев в пути, кое-как добрался до Сатипура. Сказал, что все еще очень болен. Лежит здесь один, и никто его не беспокоит, потому что

никто не обнаружил, кроме бродячей собаки, которая однажды обнюхала его и снова ушла.

Индер Лал, стоя в проеме на безопасном расстоянии, предупредил меня:

— Только осторожно.

— Ничего страшного, я его знаю. — Лоб у Чида на ощупь был горячий.

Он простонал, что ему хочется пить и есть. При этих словах Чид сильно хлопнул себя по животу, как заправский индийский попрошайка, чтобы все слышали гулкий звук.

Индер Лал осторожно приблизился и стал разглядывать Чида.

— Почему он так одет? — спросил он.

— Он — садху[1], — объяснила я.

— Как он может быть садху?

— Он изучал религию хинди.

В усыпальнице было ужасно, стоял едкий запах летучих мышей, да и Чид, похоже, пользовался помещением для удовлетворения естественных надобностей. Я раздумывала, что с ним делать, здесь оставить его нельзя, но куда девать?

— И что же он изучал? — спросил Индер Лал: ему стало очень интересно. — Что вы изучали? — поинтересовался он. — Вы знакомы с Пуранами[2]? С Брахманами[3]?

Чид этих вопросов не слышал; смотрел на меня умоляющим, горящим взором.

— Вы живете неподалеку? — спросил он. — Если *совсем* рядом, то я дойду.

Мне не хотелось поддаваться, но Индер Лал, похоже, вдруг загорелся идеей забрать Чида с нами домой.

10 апреля. Хотя Чид через несколько дней поправился, уходить он никуда не собирался. Полагаю, что после всех скитаний по Индии в моей комнате он чувствует, что обрел тихую гавань и может отдохнуть. Мне же стало не до отдыха. Пришлось убрать и запереть все бумаги (и письма Оливии, и

1. Садху — так в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трех целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга).
2. Пура́ны — тексты древнеиндийской литературы на санскрите, в которых описывается история вселенной от ее сотворения до разрушения, генеалогия царей, героев идевов, а также излагается индуистская философия и космология
3. Брахманы — священные писа́ния индуизма, содержащие комментарии к Ведам.

дневник) не потому, что я не хочу, чтобы он их читал, а потому, что он все переворошил, разбросал и захватал грязными пальцами. Эти отпечатки теперь у меня по всей комнате. Он перебирает мои вещи совершенно открыто и берет все, что ему требуется. Он даже объяснил мне, что не верит в материализм и что людям очень вредно привязываться к вещам. Вообще-то ему много не надо — ест все, что я готовлю, и доволен всем, что ему дают. Он проводит много времени, гуляя по городу, и к нему все так привыкли, что даже детвора за ним больше не бегает. Некоторые продавцы разрешают ему посидеть в их киосках, и иногда, сидя на скрещенных ногах и излагая свою философию, он собирает целую толпу.

Считается, что, поселив его у себя в комнате, я заполучила какое-то преимущество. Будто теперь мне представилась великолепная возможность возвыситься в глазах окружающих, прислуживая святому. Вопрос о том, является ли Чид святым, может, и остается открытым, но, по мнению города, он сделал многообещающий первый шаг, побрив голову и выбросив одежду. За это они готовы принять на веру любые его речи. Я часто видела, как то же самое происходило со святыми индусами, следовавшими через город, в одеяниях цвета охры, с четками и плошками для подаяний. В большинстве своем мне они казались отпетыми мошенниками (находившимися под действием наркотиков или снедаемыми похотью), и у всех до единого на лицах отпечатались хитрость и жадность. Но когда они идут через город, полураздетые, а иные и совсем раздетые, стуча посохами и выкрикивая имя Господне, как продавцы, расхваливающие свой товар, люди выбегают из дому, наполняя подношениями с готовностью подставленные плошки. У Чида тоже есть такая, и туда частенько что-нибудь кладут (банан или гуаву), и он съедает это в одиночестве в углу моей комнаты, оставляя кожуру на полу. Когда я требую, чтобы он убрал за собой, он тихо подчиняется.

На Индера Лала Чид произвел сильное впечатление. Когда он приходит из конторы домой, то взбирается наверх, в мою комнату, и часами сидит там, слушая Чида. Тот рассказывает ему о центрах энергии в организме и способах ее освобождения. Сейчас он указывает на свой череп, а затем изгибается, чтобы достать им до крестца, потом размахивает руками, словно притягивая духов. Мне это уже порядком надоело. Мне кажется, что Чид, не будучи ни очень умным, ни очень образованным, поднабрался ошметками религиозных знаний, и теперь они как бы перебродили в нем и вырываются наружу в виде довольно-таки бредовых речей. А может, он и правда немного не в себе.

Я так ничего о нем и не знаю. Иногда он рассказывает о себе, но истории его всегда противоречивы, и их невозможно связать воедино. Поскольку они, в основном, касаются его духовной жизни, то скорее абстрактны — в них нет ничего личного. Индер Лал уверяет меня, что это не страшно, ибо у Чида нет собственного прошлого. Когда человек становится индуистским аскетом, то вся его прошлая жизнь, или, скорее, *его жизни*, все, о чем бы он ни думал, что бы ни сделал и чем бы ни был, сгорает. В прямом смысле, на погребальном костре, куда отправляются даже сбритые волосы. Чид прошел через этот обряд, поэтому теперь, по словам Индера Лала, он лишь индуистский садху и ничего более. Нудный мидлендский акцент, правда, остался, отчего все, что говорит Чид, звучит еще более нелепо.

Он вечно голоден, но ему хочется не только еды. Ему хочется секса, и он считает само собой разумеющимся, что я должна удовлетворить и эту его потребность — как голод. Никогда я так сильно не ощущала, что меня используют. При этом он признает, что именно этим и занимается — использует меня для достижения высшей ступени сознания посредством сил соития, в котором мы сливаемся. Ума не приложу, почему я позволяю ему это. Я крупнее и сильнее его, и с легкостью могу от него отбиться. Но мне кажется, что и правда существует некое излучение, исходящее не от него самого, а от окружающих его сил. Сам он какой-то бесполый: щеки гладкие, если не считать редких пучков белесых волос, и ужасно тощий, словно мальчик, перенесший тяжелую болезнь. Но его постоянные эрекции чудовищны, они служат мне напоминанием о Шиве, чьему огромному члену поклоняются богобоязненные индусские женщины. В такие моменты, когда Чид сидит на полу у меня в комнате и бубнит свои мантры с четками в руке, может показаться, что его половые инстинкты рождены духовными упражнениями.

15 апреля. Хорошим примером того, до чего в Индии все перепутано, является история о храме Баба Фирдауша. Как объяснил Оливии Наваб, храм был изначально построен его предком Аманулой Ханом в знак благодарности мусульманскому кудеснику, который его приютил. Место стало священным для индусских женщин, ибо приношения в этом храме излечивают от бесплодия. Но священен этот храм лишь раз в году. Толкуют это на разные лады. Одни верят, что однажды бездетную женщину увезли из дома мужа, чтобы он смог снова жениться. В день его новой свадьбы она пришла к храму Баба Фирдауша, чтобы спрятать свой стыд и горе в могиле

святого. Здесь ей было видение, что через девять месяцев у нее родится ребенок. Так и случилось. День празднования называется Пад ки Шади или День мужней свадьбы. Но, как я уже говорила, есть и другие, противоречивые и отличающиеся одно от другого, толкования.

Вчера был День мужней свадьбы, и мы с Индером Лалом, его матерью и ее друзьями посетили место паломничества. Ехали мы в автобусе, битком набитом женщинами, направляющимися туда же. Большинство из них были в летах, и целью их паломничества, как и у нас, была приятная прогулка. Все взяли с собой еду и весело делились ею. Некоторые привезли бесплодных невесток, но те держались тихо и оставались на заднем плане. Риту, у которой детей хватало, оставили дома.

Мне уже давно хотелось посетить могилу Баба́ Фирдауша, но вчера взглянуть на нее не удалось. Совсем не таким представляла я себе место, где Наваб обожал устраивать пикники! Теперь здесь весело шумела маленькая ярмарка с шаткими каруселями, деревянным колесом обозрения и лотками с покрытой мухами едой. Из громкоговорителя, привязанного к дереву, гремели религиозные песни. Самого места поклонения не было видно: перед ним собралась плотная толпа людей, все пытались пробиться поближе. Мы присоединились к ним и стали проталкиваться в том же направлении. Когда мы, наконец, достигли его, вспотев, как от битвы, в голове была лишь одна мысль: как можно скорее стать частью происходящего. Что именно происходило, я так и не поняла. Сидевший на полу священник принимал подаяния. Некоторые женщины — в основном старые, которые не могли получить соответствующее этому месту благословение, — погрузились в религиозный транс и выкрикивали имя Господне, словно пребывали в отчаянии. Некоторые пытались пасть ниц, но не могли из-за нехватки места. Было неясно, что́ именно нужно делать, но, похоже, достаточно было просто находиться там.

Наша маленькая компания нашла свободное место под деревом, где мы и уселись в кружок и принялись есть и пить, чем беспрерывно занимались с того самого момента, как уехали из дому. У одной из старух была заготовлена история о молодой женщине, которой требовалась операция на фаллопиевых трубах, но вместо этого свекровь привезла ее сюда, после чего женщина забеременела. (Вообще-то история закончилась плохо: на мужа этой женщины навела порчу другая женщина, что побудило его выжить из дому жену и нерожденного младенца.) Историй было множество, мне нравилось их слушать и сидеть с друзьями среди этого праздничного пейзажа. Я чувствовала, что стала частью происхо-

дящего, что я поглощена им, так же как и молящейся толпой, набившейся в храм.

Друзья обратились ко мне: “Ну, а как же ты? О чем молилась?” Они дразнили меня и смеялись. Я сказала, что нахожусь не в том храме, — для начала меня нужно привести туда, где молятся о мужьях, а не о детях. Это их еще больше развеселило, но на самом деле они были совершенно серьезны (тут это серьезная тема), да и меня одолевали необычные мысли.

1923

День мужниной свадьбы всегда доставлял майору Миннизу много хлопот. Поскольку храм Баба Фирдауша находился во владениях Наваба, майор Минниз только и мог, что давать советы. Чем он все больше и занимался с приближением этого дня. Уколы Наваба его совершенно не смущали, хотя тот смеялся над ним и говорил: “Мой дорогой майор, конечно, конечно, как скажете, но что вы так волнуетесь?”. Однако майор беспокоился не понапрасну.

В те дни в Хатме жило большое количество мусульман (после 47 года их либо убили, либо они подались в Пакистан). Наваб и сам был мусульманином, как и половина его подданных. Многим из них не понравилось, что место поклонения перешло к индуистам, им всегда удавалось устроить беспорядки в этот день. Волнения не всегда происходили в самом храме; две противоборствующие группировки могли столкнуться на базаре из-за какой-нибудь мелочи, вроде игорного долга, но очень быстро страсти достигали той точки кипения, до которого доходят только религиозные распри. Мешало и то, что лето только начинало погружаться в зной (позже, когда с каждым днем прибывала жара, все ощущали, что слишком истощены для сильных чувств). С приближением праздника ситуация становилась все более взрывчатой, и майор неустанно повторял, как важна бдительность, а Наваб добродушно посмеивался в ответ.

Как и следовало ожидать, в первое лето Оливии День мужниной свадьбы ознаменовался беспорядками в Хатме. Оливия, правда, мало о чем подозревала за ставнями своего домика на Гражданских линиях, но и туда, в желтую гостиную, где она играла Шумана, проникло беспокойство. Все окна и двери пришлось плотно затворить, так как снаружи бушевала пыльная буря. Ей никак не удавалось надолго сосредоточиться на Шумане. Она все думала о Дугласе: как он ни старался не показывать своего волнения, она знала, что он давно испытывает беспокойство. Сатипур граничил с Хатмом, и местные

возмущения распространялись, как лесной пожар. Слуги тоже не могли найти себе места, участились ссоры, а один слуга напился и подрался с другим из-за женщины.

Поздним утром миссис Кроуфорд и миссис Минниз пришли навестить Оливию. Они хотели ее подбодрить. Сказали, что в Сатипуре, где мистер Кроуфорд и Дуглас приняли все меры предосторожности, тревожиться не приходится. *Здесь* в самом деле господствовала бдительность; если бы только такие же меры были приняты в Хатме, где майор Минниз умолял Наваба и взывал к нему...

— Но в прошлом году было то же самое, — сказала миссис Минниз. — Артур его предупреждал, говорил ему не раз и не два... В результате двенадцать убитых и семьдесят пять раненых. Весь вещевой рынок был разгромлен, спустя неделю он еще дымился, я сама видела. Артур думает, что в этом году будет хуже.

— Это преступление, — с чувством сказала миссис Кроуфорд. — Он ведь с легкостью мог бы держать все в руках, если бы захотел...

— Наваб? — спросила Оливия. — Ну да, если б захотел!

— Не забывайте, что он мусульманин, — ответили ей.

— Да, но не *такой*. Не фанатик. Боже ты мой, — она даже засмеялась от этой мысли. Но лица ее собеседниц оставались мрачными. Она настаивала: — Он такой современный. Да ведь в этом отношении он почти как один из нас. Я хочу сказать, он вовсе не суеверен или узколоб, вовсе нет. Он совершенно раскрепощен.

— Вы и впрямь так считаете? — ровным голосом спросила миссис Кроуфорд.

— Ну конечно. Я же слышала, что он говорил о самосожжениях, прямо как англичанин. Он был возмущен, говорил, что это варварство.

— Конечно, говорил, ничего удивительного. Сати — индуистский обряд. Совсем другое дело, если б это был ислам. Совсем другое.

Оливия им не поверила. Нет, возражать или спорить с ними она не стала — в этом-то и была загвоздка, она никогда не могла ничего сказать, у нее права не было, ибо они знали об Индии все, а она ничего. Но Наваба она знала *лучше* их. Для них он всего лишь человек, с которым они иногда имели дело на официальном уровне — индийский правитель, но ей, ей он... да, друг. Настоящий друг.

Она думала, что ей станет лучше, когда они уйдут, но на самом деле ей все равно было очень тревожно. Это они виноваты, пришли, наговорили всяких ужасов, да еще о Навабе.

Она беспокойно ходила по своей гостиной, нервно поправляя цветы в вазах (в это время года цвели только сильно пахнущий миндалем олеандр и жасмин, одурявший, как наркотик). Шуман никак ей не давался, и она захлопнула крышку пианино. Начала было писать Марсии, но та была в Париже, да и *объяснить* что-либо в письмах было невозможно.

Снаружи послышался шум подъехавшего автомобиля. Наваб! Ее сердце забилось неизвестным ей чувством. Оливия открыла дверь, ведущую на веранду, и увидела слуг; они сидели в кружок, сдвинув головы. При виде ее они быстро поднялись. Пыль мгновенно набилась в глаза, ноздри, между зубами и клубами ворвалась в комнату.

— Это я! — крикнул кто-то из машины. Это был Гарри, а не Наваб.

Он поспешил за ней внутрь, и дверь снова быстро закрыли. Но за эти несколько мгновений песок пустыни толстым слоем покрыл ее пианино и желтый шелк ее кресел.

— Вы один? — спросила она.

Гарри кивнул. Казалось, он был очень доволен тем, что приехал, и сидел, откинув назад голову и прикрыв глаза.

— Я должен был приехать, — сказал он. — Уж очень стало...

Он замолчал, когда вошли двое слуг. Они принялись рьяно выбивать мебель. Гарри и Оливия молчали, дожидаясь, пока слуги уйдут. К тому времени Гарри вроде передумал продолжать начатую фразу и принял легкомысленный тон:

— Я просто зажарился, мне нужен был Оазис.

— Что происходит в Хатме? — Он не ответил и снова прикрыл глаза. Она продолжала: — Я слышала, там какие-то беспорядки? В чем дело? Ну, говорите же! Вы обязаны мне рассказать!

Помолчав, он ответил с видимым раздражением:

— Откуда мне знать? Я же во дворце живу, а там ничего подобного не происходит.

— Чего подобного?

— Откуда мне знать, — повторил он. — Я у себя в комнате просидел весь вчерашний день и все сегодняшнее утро. Чем еще заняться в такую убийственную, чудовищную жару? Вы за окно смотрели? Видели, *что* творится? Стоит этим песчаным бурям начаться, и не видно им ни конца, ни края. Неудивительно, что все с ума посходили, — он надолго замолчал, словно боясь сказать лишнее, но вскоре снова заговорил, и очень быстро: — Я и сам чуть не помешался. Сидя взаперти и думая обо всем, что происходит. Не спрашивайте, что именно! Я не знаю. В прошлом году было то же самое, и в позапрошлом. Но теперь, слава Богу, мне было куда уйти. Когда я попросил

автомобиль, он сказал: “Конечно-конечно, дружище”. Хотя он был занят по горло, он все равно нашел для меня время и обо всем подумал. Даже шоферу объяснил, как лучше ехать, чтобы ни с кем не столкнуться. Мы и не столкнулись. С базара только какие-то крики доносились, но это ведь могло быть что угодно. Когда я спросил его, безопасно ли ехать на машине, он сказал: “Это на моей-то машине?” Он подумал, что я здорово пошутил. Оливия, сыграйте что-нибудь. Что хотите.

Она села за пианино и, когда начала играть Шумана, Гарри сказал: “Чудесно”, — словно человек, которому предложили холодный напиток. Но через какое-то время она почувствовала, что он больше не слушает, и позволила рукам соскользнуть с клавиатуры на колени. Он даже не заметил, что она перестала играть.

— А вообще, если подумать, — сказал он, — во дворце — *еще хуже*. И все из-за этих головорезов: разгуливают туда-сюда, обычно их во дворце и не увидишь, но теперь они расхаживают повсюду, будто хозяева, и прямо к нему лезут, будто у них право есть. А уж он как рад их видеть, узнать, с чем пришли, а уж если они ему понравятся, обнимает их, словно братьев. Видели бы вы, что это за типы... А здесь кто-нибудь есть?

— Только слуги, по-моему.

Она глянула в окно — как и следовало ожидать, там, под домом, они и сидели тесной кучкой, не тронувшись с места. Ощутив, что за ними наблюдают, они поднялись и разошлись. Оливия вернулась и села рядом с Гарри, чтобы он мог говорить, понизив голос:

— Он и *сам* странно себя ведет. Я его раньше никогда таким не видел. В сильном возбуждении, не может спокойно усидеть на месте, все ждет чего-то, не знаю чего. Глаза горят — правда, горят. И все ему смешно. Раскачивается на пятках и смеется, — Гарри прикрыл глаза. — Он потрясающе хорош собой. — Гарри произнес эти слова не с удовольствием, а устало.

Хотя Дуглас пришел домой в тот вечер очень поздно, Гарри все еще не уехал. Если он Дугласу и не нравился (а Оливия знала, что это так), муж ничем не выдал своих чувств, а наоборот, казалось, был рад его приходу. Он и слушать не захотел, что Гарри поедет домой в столь поздний час, и приказал шоферу Наваба отправляться в Хатм без него. Гарри принял приглашение с облегчением и сел с ними за стол, который Оливия красиво убрала цветами и свечами.

Гарри остался на ночь, и на следующий день, и еще на день. Они с Оливией отлично скрашивали друг другу время. Пыльная буря, шумевшая снаружи, их не волновала, они заперли все двери и окна и уютно устроились в желтых крес-

лах. Оливия играла отрывки из "Паяцев", а Гарри пел форсированным голосом, прижав руку к груди. Они не заметили, как вошла миссис Кроуфорд, а когда заметили, она не позволила им остановиться и присоединилась к ним своим чистым контральто. "Как замечательно", — сказала она и засмеялась, такая молодчина.

Она пришла поговорить о Симле. Сказала, что не хотела уж очень настаивать, но ей кажется, что Оливия не совсем понимает... (тут она обратилась к Гарри за поддержкой).

Он поспешил на выручку:

— Не стоит вам сидеть здесь летом, Оливия. Это невыносимо.

— Но *вы* же справляетесь...

— Да какое там! — Он тут же смутился, словно человек, обнаруживший больше чувства, чем позволяют приличия. И попытался скрыть это за шуткой: — У нас-то, конечно, грандиозные планы срочно выехать в Массури. Мы даже пару раз запаковали и распаковали вещи. — Он снова издал нервный смешок: — В прошлом году было то же самое, и в позапрошлом... В конце концов, никуда мы не поехали. Бегум там не нравится, вот она все и откладывает поездку. То ей нездоровится, то расположение звезд не благоприятствует путешествию, то филин не вовремя ухнул — каждый раз что-то не так, и всегда в последний момент, когда мы уже готовы выходить из дому. Я уже привык, как и остальные. Один раз мы все же поехали, это было в мой первый год здесь. У него великолепный дом в горах, в швейцарском стиле с примесью церковной готики, очень впечатляет. Да и вид тоже. Оттуда видна даже эта знаменитая гора — как она называется? Ну та, где Шива вроде бы сидел среди вечных снегов? Правда, времени наслаждаться видом не было. Дохлую летучую мышь нашли, и не где-нибудь, а в спальне самой бегум, ну, а это, конечно, ужасная примета, так что пришлось нам быстро собирать вещи и срочно возвращаться домой. А по возвращении три недели подряд нужно было безостановочно обряды совершать. — Внезапно он повернулся к миссис Кроуфорд и быстро заговорил: — Мать все зовет меня домой, она нездорова, и я беспокоюсь. Она одна живет в квартире, видите ли, и уже три года прошло.

— Это много, — сказала миссис Кроуфорд.

— Поначалу уговор был всего на шесть месяцев, но стоит мне заикнуться о возвращении домой — в основном, из-за матери, он сердится. Терпеть не может, когда от него уезжают. — Затем он добавил: — Это все потому, что он очень привязывается к друзьям, он очень любящий. Сердечный. У него доброе сердце. — Гарри смотрел в пол.

Через некоторое время миссис Кроуфорд сказала своим ясным деловым голосом:

— Знакомы ли вы с четой Росс-Милбанк? Он был районным уполномоченным в Коунпоре. Они теперь едут в отпуск — в Бомбей, в пароходную компанию "P&Q", — по-моему, на "Малодже" поплывут четвертого числа. Они у нас остановятся на пару дней. Мы ждем с нетерпением. Это действительно одно из преимуществ Индии, не правда ли — гости приезжают из всех уголков страны.

— Но ведь эти пароходы, они разве не забронированы полностью? На месяцы вперед? — спросил Гарри.

— Ну, односпальную-то каюту можно найти, — сказала миссис Кроуфорд. — И потом, всегда можно телеграфировать Гиббонсам из Бомбея...

— Правда? — спросил Гарри с такой нескрываемой радостью, что она улыбнулась.

— Правда-правда, — пообещала она ему.

Ночью, когда они вместе лежали в постели под москитной сеткой, Оливия сказала Дугласу:

— Но ведь он гость Наваба.

— Ну и что?

— А то, что Наваб оплатил его проезд. И окружал его роскошью все эти годы. Не понимаю, как он может просто сбежать. С друзьями миссис Кроуфорд, — добавила она.

— Дорогая, он же *хочет* уехать.

— Иногда хочет. А иногда — нет.

— Слишком это мудрено для меня. В любом случае, должен хотеть.

— Ты устал от него?

— Наоборот, я рад, что он здесь. Лучше здесь, чем там.

— Но ведь Наваб был так добр к нему! Чрезвычайно добр!

— Завтра я пошлю кого-нибудь за его вещами.

— Дуглас, милый, ты *абсолютно* уверен?

Но на следующий день Наваб приехал сам. Оливия и Дуглас ушли в церковь, а когда вернулись, "роллс-ройс" Наваба стоял у дома, а сам Наваб сидел в гостиной с Гарри, который еще был в пижаме и халате. Выглядели они так, словно у них уже состоялся длинный задушевный разговор.

Когда Наваб сказал, что приехал, чтобы увезти Гарри домой, Дуглас напрягся. Наваб заговорил более сердечно, сказал:

— Спасибо, что приютили его. — И добавил: — Теперь в Хатме все утихло, ему нечего бояться. — Он улыбнулся Гарри, который тоже ответил смущенной улыбкой.

Дуглас сжал зубы, на скулах заходили желваки. Наваб сказал:

— Вы, наверно, слышали, у нас были небольшие беспорядки.

Дуглас смотрел прямо перед собой. Оба, и он, и Наваб, стояли, они были одинакового роста и почти одинакового сложения. Оливия и Гарри, сидя на диване, смотрели на них снизу вверх.

— У нас это каждый год происходит, — сказал Наваб. — Ничего особенного. Горячие головы, но потом остывают. Как погода в это время года.

— Мы видели ваши списки раненых, — глухо сказал Дуглас.

— Ну что же вы стоите! — воскликнула Оливия. Ее никто не услышал.

— Каждый год, — повторил Наваб. — Ничего нельзя сделать.

Дуглас отвернулся. Ему пришлось промолчать: Наваб был независимым правителем, и единственным человеком, уполномоченным говорить с ним, был майор Минниз. Но молчание Дугласа было куда выразительнее слов и мыслей.

Наваб повернулся к Гарри:

— Одевайтесь, нам пора.

Гарри тут же поднялся, но перед тем, как он вышел из комнаты, Дуглас сказал:

— Насколько мне известно, завтра здесь будут мистер и миссис Росс-Милбанк.

Гарри остановился у двери; Наваб непринужденно спросил его:

— Кто это? Ваши друзья?

— Они уезжают в четверг, — сказал Дуглас.

— В Бомбей? — спросил Наваб. — Да, Гарри говорил мне, но это пришлось отменить. Одевайтесь, старина, уж не думаете ли вы, что я вас в таком виде повезу домой. — Он повернулся к Оливии и улыбнулся.

Дуглас сказал Гарри:

— Мистеру Кроуфорду доложили из Бомбея — есть свободная койка.

Теперь Наваб сел в кресло. Он откинулся назад и положил ногу на ногу. Он сказал Дугласу:

— Мы с Гарри поговорили. Это просто недоразумение. Я принесу мистеру и миссис Кроуфорд свои извинения и поблагодарю их от имени моего гостя. А еще я поблагодарю, — великодушно добавил он, — мистера и миссис Росс-Милбанк.

Дуглас намеренно обратился только к Гарри:

— Вы же хотели уехать. Ваша мать нездорова.

Наваб сказал:

— Мы должны быть благодарны: его матери лучше, она поправилась... А теперь мы все с нетерпением ждем ее приез-

да. Моя мать послала ей приглашение на урду, писанное ее собственной рукой, а я приложил свой перевод на английский и добавил: "У вас теперь двое сыновей, и оба они очень хотят, чтобы вы приехали". — Он откинулся еще глубже на спинку кресла и снова положил ногу на ногу, переменив позу, довольный тем, как ладно он все устроил. Гарри глубоко вздохнул и сказал Дугласу:

— Спасибо вам большое за гостеприимство. Это правда, знаете, я действительно хочу вернуться во дворец. Он же сказал, мы об этом поговорили перед тем, как вы пришли. Я правда хочу.

— Вы не обязаны, — сказал ему Дуглас с другого конца комнаты.

— Я хочу, — сказал Гарри.

Наваб рассмеялся:

— Разве вы не видите, мистер и миссис Риверс, он же как ребенок, который сам не знает, чего хочет! Мы все должны за него решать. Полюбуйтесь, — продолжал он, — мне приходится приказывать ему одеваться. Гарри, как можно в таком виде стоять перед дамой? Идите и причешитесь. — Он шутливо растрепал ему волосы, и они улыбнулись друг другу, словно это была давняя шутка. — Идите же, — сказал Наваб нежно и твердо и, когда Гарри ушел, повернулся с Дугласу и Оливии: — Вы знаете, что Гарри страшный эгоист? — серьезно спросил он, а затем вздохнул и добавил: — Но что же делать, я так привык к нему, он у меня вот здесь. — Наваб положил руку на сердце.

Оливия быстро взглянула на Дугласа. Ее огорчило, что он стоял, как прежде. Сама она не сомневалась, что Наваб говорит совершенно искренне: ей даже было немного завидно, что Гарри вызвал у него такую глубокую любовь и чувство дружбы.

* * *

25 апреля. Чид и я теперь совсем слились с пейзажем: мы стали частью города, частью здешней жизни, и нас полностью приняли. Город привык принимать и вбирать в себя самые разные ингредиенты, например, усыпальницы мусульманской знати, с одной стороны, и маленькие серые камни святилищ сати, с другой. Добавьте еще калек, блаженных и местных попрошаек. Они перемещаются с одной улицы на другую и, если происходит что-нибудь интересное, скорее бегут туда, чтобы влиться в толпу. Как и все остальные, я теперь к ним привыкла (да и они ко мне), хотя должна признаться, что сначала они производили на меня отталкивающее впечатление. После некоторых болезней даже излечившиеся порой выглядят так страш-

но, что до конца дней своих вынуждены жить среди своих собратьев, словно живые примеры ужасов, которые могут произойти с человеком. Один из нищих — вылеченный от проказы (тяжелый случай: лишился носа, пальцев рук и ног), живет в хижине за чертой города, но ему разрешается приходить и просить подаяния, если он держится на соответствующем расстоянии. Есть еще старик, у которого, я думаю, пляска святого Витта: его тело изогнуто вокруг длинного шеста, с которым он не расстается, передвигается он скачками и прыжками, дергаясь, как марионетка. Но недуги мучают не только нищих и попрошаек. Один из самых преуспевающих хозяев городских магазинов, занимающийся также ростовщичеством, страдает слоновьей болезнью, его часто можно видеть в лавке, где он сидит с раздувшейся до размеров футбольного мяча мошонкой, покоящейся перед ним на специальной подушке.

И днем, и ночью бушуют пыльные бури. Горячие ветра со свистом гонят столбы пыли из пустыни в город; воздух, как и все пять чувств, пронизан пылью. Листья, когда-то зеленые, теперь словно покрыты пеплом и крутятся в вихре, будто дервиши в пляске. Люди раздражены, не могут найти себе места, готовы вот-вот сорваться. Невозможно ни сидеть, ни стоять, ни лежать — в любом положении неудобно, и мысли тоже в смятении.

Чида, похоже, погода не беспокоит. Он часами сидит в позе лотоса, шевеля губами (перебирает мантры) и пальцами (перебирает четки); это длится бесконечно долго и почему-то кажется таким *бессмысленным*, что раздражает невероятно. Словно какой бы то ни было разум и здравый смысл постепенно исчезают из окружающего пространства. У Чида то и дело возникают эти его гигантские эрекции, и мне приходится от него отбиваться (вдобавок ко всему стоит невыносимая жара). Он, помимо всего прочего, нечистоплотен: купание — единственный индуистский обряд, которого он не совершает и, поскольку сам он в материальные ценности не верит, считает, что и другим они тоже ни к чему. Я начала прятать деньги, но он каждый раз ухитряется их найти.

Сегодня от так меня извел, что я его прогнала. Просто свернула в тюк его вещи и сбросила с лестницы. Его медная кружка поскакала по ступенькам и была подхвачена Риту, которая как раз в этот момент решила меня навестить. Чид собрал свои пожитки и, проследовав за ней наверх, разложил их на прежнем месте.

— Уходи сейчас же, — сказала я ему.

Больше я ничего сказать не смогла из-за Риту. Она была какая-то странная. Села в углу, подняв колени, и не произнес-

ла ни слова. Выглядела она напуганной, как зверек, прибежавший искать защиты. Хотя я и не чувствовала себя в силах кого-либо защитить, я попыталась взять себя в руки и спокойно поговорить с ней. Думаю, она меня даже не слышала. Взгляд ее метался по комнате, но она ничего не видела. Чид скрестил ноги и сел в углу напротив. Он закрыл глаза — четки скользнули между пальцев — и забормотал. Я разозлилась.

— Убирайся! — крикнула я ему.

Но чтение нараспев перенесло его в какое-то другое измерение, возможно, более прохладное, ясное и красивое. Он слегка раскачивался, четки всё скользили, губы двигались, он пребывал в состоянии полного блаженства. Риту начала кричать, как тогда, ночью. Чид открыл глаза, посмотрел на нее и снова закрыл, не прерывая песнопений. Оба шумели все громче, словно принадлежали разным сектам и пытались доказать преимущество своей, перекричав соперника.

30 апреля. С продолжением жары и пыльных бурь состояние Риту ухудшилось. Теперь ее держат взаперти, и иногда из комнаты доносятся жуткие звуки. Люди, живущие в нашем дворе, похоже, к ним привыкли и продолжают спокойно заниматься своими делами. Чида они тоже не беспокоят. Говорит, что он в Индии достаточно давно, чтобы ни на что не реагировать. Но я к этим крикам привыкнуть не могу, и все повторяю: “Ей нужно лечиться”.

Однажды он сказал:

— Сегодня ее будут лечить.

— Кто? — спросила я.

— Придет один из их людей.

В тот день снова начались крики, но совершенно другие. Теперь от них кровь стыла в жилах, казалось, что это кричит животное от сильнейшей боли. Даже соседи по двору останавливались и слушали. Чид соблюдал спокойствие: “Это лечение”, — объяснил он, и пустился в рассуждения: в нее, возможно, вселился злой дух, которого нужно изгнать с помощью раскаленного утюга, который прижимают к разным частям тела, например, к рукам или подошвам ног.

На следующий день я решила поговорить с Индером Ламом о психиатрии и соответствующем лечении. Я дождалась его у его конторы и, пока мы вместе шли домой, пыталась объяснить ему, что это такое: “Это как бы наука о разуме”. Это его обрадовало и заинтересовало. Науку он связывает с прогрессом и вообще со всем тем современным, что так рьяно изучает; стоит кому-то заговорить о чем-то подобном, и на его лице появляется выражение тоски и смутного желания.

Но когда я упомянула “лечение”, которому подверглась Риту, он изменился в лице. Стал каким-то печальным, смущенным и сказал:

— Не верю я в эти штуки.

— Но вы же распорядились...

— Это мать хотела.

Он продолжал, защищая и себя, и ее. Сказал, что все его друзья посоветовали то же самое, они привели в пример много случаев, когда такое лечение помогло. Сначала его мать тоже сомневалась, но затем сказала: “Почему бы не попытаться”, — ведь они испробовали все, что можно, но так и не смогли облегчить страданий Риту.

В этот момент один из его сослуживцев прошел мимо и вежливо поздоровался со мной. Они все теперь ко мне привыкли и часто пользовались возможностью поговорить по-английски. Я тоже поприветствовала его, но Индер Лал не пожелал принимать участие в обмене любезностями. Он нахмурился, а когда коллега был далеко, сказал:

— Что это он притворяется таким любезным?

— Он и вправду любезен.

Индер Лал нахмурился еще сильнее. И надолго замолчал, размышляя.

— А что тут такого? — спросила я.

Индер Лал взмолился, чтобы я говорила тише. Он оглянулся через плечо, что меня рассмешило.

— Вы понятия не имеете... — сказал он тогда. Лицо у него окаменело от страха, его терзали подозрения. — Вы не знаете, на что способны люди и что у них на душе, даже когда они дружелюбно улыбаются. Вчера пришло анонимное письмо, — сказал он, понизив голос.

— О вас?

Он не стал продолжать. Шел рядом в задумчивом молчании. Мне очень тяжело было видеть его таким — его живая натура была омрачена недоверием.

2 мая. Если я рекомендовала психотерапию, то Маджи — святая женщина и друг — посоветовала паломничество. Мать Индера Лала и Риту отправляются через несколько дней, и, что самое прекрасное, Чид едет с ними! Маджи уговорила его поехать — я почти уверена, что ради меня; хотя я ей никогда не жаловалась на Чида, она обо всем знает сама.

Она сама это сказала вчера, когда я пришла к ней в гости. Сначала мы сидели у нее в хижине, но там стало так душно, что мы снова вылезли наружу, несмотря на все еще жаркий ветер. Пыль клубилась вокруг королевских усыпальниц и пе-

леной оседала на озере. Чид тоже был с нами. Он часто навещает Маджи, говорит, что находит успокоение в ее присутствии. Вдвоем они составляют странную пару. Маджи очень простая крестьянка, довольно толстая и жизнерадостная. Каждый раз, когда она смотрит на Чида, она издает короткий смешок. "Хороший мальчик!" — говорит она по-английски, возможно, единственные известные ей слова. Он и вправду выглядит, как хороший мальчик, когда он с ней: сидит очень прямо, в позе для медитации, и на лице у него одухотворенное, хотя и немного напряженное выражение.

Маджи объяснила мне значение паломничества. "Если кто-нибудь несчастен, или не в своем уме, или если есть у него заветное желание, или тоскует о чем-либо, нужно идти. Это длинное-длинное путешествие, придется подняться высоко в Гималаи. Очень красивое и святое место. Когда она вернется, — сказала она про Риту, — у нее на сердце полегчает".

Она похлопала меня по колену (ей нравится прикасаться к людям) и спросила:

— Хочешь съездить? — Она показала на Чида. — А уж ему-то как понравится, хороший ты мальчик. — Она громко рассмеялась, а затем любовно ущипнула его за щеки.

— Ты поедешь? — спросила я его, но он прикрыл глаза и пробормотал "Ом".

Маджи сказала:

— Кто только туда ни едет, со всей Индии. Люди недели и месяцы проводят вдали от дома, чтобы добраться туда. По пути останавливаются в гостиницах при храмах, а когда проходят мимо рек, купаются в них. Они путешествуют очень медленно, и, если какое-то место им понравится, они там останавливаются и отдыхают. В конце концов, добираются до гор и начинают подъем. Как же описать то место, те горы! — воскликнула Маджи. — Словно на небеса поднимаешься. Воздух прохладен, ветер, облака, птицы и деревья. А потом лишь снег, все белым-бело, даже солнце светит белым светом. Искупавшись в ледяном ручье, они наконец останавливаются у пещеры. Многие теряют сознание от счастья, и никто не может сдержаться, все выкрикивают имя Его как можно громче. Джай Шива Шанкар![1] — крикнула она.

— Джай Шива Шанкар! — громко отозвался Чид.

— Хороший мальчик! Хороший мальчик! — воскликнула она, побуждая его повторять с ней эти слова. И в самом деле,

1. Мантра-молитва богу Шиве с просьбой даровать исцеление и спокойствие.

их голоса словно отзывались эхом в снежных горах, и должна признаться, что, сидя здесь посреди пыльной бури под желтым небом, я тоже захотела быть там, на вершине.

1923

Миссис Кроуфорд и миссис Минниз уехали в Симлу. Хотя Дуглас сделал все, что мог, чтобы убедить Оливию поехать с ними, он был очень благодарен и счастлив, оттого что она решила остаться. Вместе они проводили чудесные вечера и ночи. Оливия старалась быть при нем живой и веселой. Она понимала, что, когда Дуглас возвращался домой, ему просто хотелось *быть*, дома, с ней, в их изящном английском бунгало, оставив за дверью всю эту жару и неприятности, с которыми ему приходилось иметь дело в течение дня. Так что она никогда не затрагивала тем, которые могли бы его расстроить (таких, как, например, Наваб), а болтала о чем угодно, только не об Индии. В те дни Дуглас любил ее еще больше, если только это было возможно. Немногословный от природы, он иногда достигал такой высоты чувств, что ему казалось, он должен их выразить, но они всегда оказывались столь сильны, что он начинал заикаться.

Гарри обычно приезжал рано утром, сразу же после отъезда Дугласа, всегда в автомобиле Наваба. Они с Оливией садились в машину и ехали в Хатм. Хотя в дороге всегда было жарко и пыльно, а пейзаж был совершенно плоским и однообразным, Оливия научилась получать удовольствие от этих утренних поездок. Иногда она бросала взгляд из окна и думала, что, в общем-то, вид не так уж и плох, она даже понимала, что можно научиться любить его. И училась: огромные пространства, огромное небо, пыль и солнце, а иногда разрушенный форт, мечеть или скопление гробниц. Все это было столь непохоже на что-либо доныне ей известное, что казалось, будто находишься не на другом конце света, а в ином мире, другом измерении.

Обычно они проводили весь день в просторной гостиной дворца. Над комнатой находилась галерея, откуда за ними наблюдали женщины, но Оливия никогда не смотрела вверх. Помимо Наваба и Гарри тут неизменно присутствовали молодые люди, возлежавшие в грациозных позах. Они пили, курили, играли в карты и готовы были продолжать так до бесконечности, пока Наваб их не отсылал.

Однажды Наваб обратился к ней:

— Оливия (так он теперь ее называл), Оливия, вы прекрасно играете, но вы еще ни разу не играли на моем пианино.

— Где же оно?

Оливия оглядела гостиную. Это была длинная и прохладная мраморная комната, скромно убранная немногочисленной европейской мебелью, расставленной между колоннами. Там были резные диваны в роскошной обивке, несколько таких же резных столиков и бар для коктейлей, сделанный по заказу Наваба из слоновьей ноги, но пианино не было.

Наваб рассмеялся:

— Идемте, я вам покажу.

Больше он никого не позвал. И повел Оливию через разные комнаты и проходы. Сама бы она наверняка заблудилась: во дворце, не очень большом, но запутанном, было немало помещений, где она никогда не бывала и понятия не имела, что́ в них, если в них вообще что-либо было. Наваб привел ее в подвальное помещение, служившее, по всей видимости, хранилищем. И каким! Там стояло огромное количество съемочной аппаратуры, покрытой ржавчиной, однако непохоже было, что ею часто пользовались и прежде: частично она даже не была распакована. Та же судьба постигла современную сантехнику. Тут же хранился целый набор разнообразных игр, вроде автомата для игры в пинбол, комплекта крокетных молотков, миниатюрного тира, конструктора, снаряжения для хоккейной команды. Все эти вещи, очевидно, были заказаны в Европе, но интерес к ним иссяк до того, как они, наконец, прибыли. Музыкальных инструментов было целых два: рояль и пианино.

Когда Наваб коснулся сукна, покрывающего рояль, какой-то маленький зверек, похожий на белку, стремительно вылетел из-под покрывала, спасаясь бегством. Наваба это не удивило:

— Вам нравятся мои пианино? — спросил он Оливию, и добавил извиняющимся тоном. — Вот только играть на них некому.

Разбухшие клавиши застревали, и, когда Оливия попробовала поиграть, раздалось лишь резкое дребезжание.

— Как жаль, — сказала она с чувством.

— Да, — сказал Наваб, — вы правы. — Он тоже вдруг погрустнел и опустился на один из не распакованных ящиков. Прервав тяжелое молчание, он сказал: — Их заказали для моей жены.

Оливия снова попробовала, но произведенные звуки были слишком тоскливы.

— Можно ли починить инструменты? — спросил Наваб.

— Если найти хорошего настройщика.

— Непременно. Я сейчас же пошлю за этой штукой.

— Это человек, — сказала Оливия. — Мне он тоже очень нужен, но Дуглас говорит, что ему придется ехать из самого Бомбея.

— Что же вы мне раньше не сказали? О таких вещах нужно сразу говорить. Я так мало могу сделать для своих друзей. Вы знали, что я был женат?

— Я слышала, — пробормотала Оливия.

Он наклонился вперед:

— Что вы слышали? — Его глаза внимательно изучали ее опущенное лицо, на котором, как она надеялась, ничего не отразилось. Тем не менее он что-то уловил и сказал: — Вы обо мне еще немало чего услышите. Слишком много недоброжелателей. Что бы я ни сделал, всегда найдется кто-нибудь, кто белое назовет черным. Вы знаете Мурада? — Оливия знала, что это один из молодых людей, всегда находившихся поблизости, но ей трудно было их различить. — Он шпион, — сказал Наваб. — Я знаю, и он знает, что я знаю, мы друг друга понимаем. И он не единственный. Есть и другие — среди слуг и остальных домочадцев. — Его прикованный к Оливии взгляд выдавал мрачность мыслей. Если он и ее начнет подозревать (а он, возможно, и подозревал), то защититься будет нечем.

Но Наваб снова перевел разговор на пианино:

— Если мне их настроят и перенесут наверх, вы приедете и сыграете, Оливия? Меня это очень порадует. Сэнди училась играть на ситаре[1], но ей наскучило, и я заказал пианино. К тому времени, как инструменты привезли, ее уже тут не было. Пожалуйста, поиграйте.

— Но оно так ужасно звучит.

— Пожалуйста, для меня.

Он стоял за ней, пока она пыталась играть прелюдию Баха. Звук был кошмарным, но Наваб серьезно кивал, словно ему нравилось исполнение. Теперь он придвинулся совсем близко.

— Жаль, что Сэнди не научилась играть, как вы. Мне ее не хватает. Ей полагалось быть наверху, за занавесью, но она частенько пряталась от всех, чтобы быть со мной. Понимаете, она была современной девушкой, училась в Швейцарии и тому подобное. Она была не такая, как наши индийские женщины, а как вы, Оливия. Она была, как вы. И такая же красивая.

Оливия добралась до замысловатых пассажей. Она старательно играла, но звучание было нестройным и жутковатым.

1. Ситар — многострунный музыкальный инструмент из группы струнных, используемый для исполнения индийской классической музыки.

Да и Наваб, похоже, потерял интерес к музыке. Он выпрямился со вздохом и, хотя она продолжала играть, повернулся, собираясь уходить. Ей пришлось прервать игру и следовать за ним, потому что сама она ни за что бы не нашла обратной дороги.

Именно во время ее растущей дружбы с Навабом, они с Дугласом начали серьезно задумываться о детях. Обоим очень хотелось иметь детей.

Оливия считала, что любого, кто был таким же красивым и безупречным, как Дуглас, нужно воспроизводить многажды! Она его дразнила и говорила, что он женился на ней только ради того, чтобы заселить мир огромным количеством Дугласов. Ничего подобного, говорил он, ему нужны многочисленные Оливии.

— Да, но я, знаешь ли, совершенно уникальна.

— Конечно, уникальна. Совершенно уникальна, — горячо согласился он. И нагнулся поцеловать ее в обнаженное плечо. Они одевались к ужину (ожидались два соломенных вдовца: мистер Кроуфорд и майор Минниз), и Оливия сидела у туалетного столика в кремовом шелковом белье, щедро опрыскивая себя лавандовой водой.

Они заговорили о своих будущих сыновьях. Оливии нравилось думать о них как о чиновниках высокого ранга: один — военный, другой — на гражданской службе, как Дуглас, но, может быть, политик? Все, конечно, будут в Индии, но одно сомнение у нее все же оставалось:

— А если случатся перемены... я имею в виду, мистер Ганди и эти люди... — но она умолкла, увидев в зеркале, как улыбается Дуглас. У него не было *никаких* сомнений.

— Мы им еще долго будем нужны, — заверил он ее с легкой усмешкой: его позабавили слова Оливии. Стоя в сорочке и подтяжках, он задрал подбородок, чтобы завязать бабочку.

— А как же Оливия? — спросила она, спокойная за сыновей.

Дуглас и на счет дочери был совершенно уверен. *Она* выйдет замуж *за человека* из такой же семьи, как у жены, за кого-нибудь вроде ее братьев, и станет...

— Как миссис Кроуфорд?

Дуглас снова улыбнулся:

— Нет, как Оливия, ничто другое меня не устроит.

— Ничего в ней хорошего нет, — сказала Оливия неожиданно с глубокой уверенностью, даже, пожалуй, с отвращением к себе. Дуглас не заметил, как изменился ее тон, рассмеялся и сказал:

— Для меня в самый раз.

Но когда он снова нагнулся поцеловать ее в плечо, она быстро встала и начала натягивать платье.

— Они скоро будут, — сказала она, — иди.

Она распорядилась, чтобы стол вынесли в сад, и тщательно его украсила. Джентльмены оценили женскую заботливость. Они расслабились (хотя вечер был жарким, а они пришли в смокингах) и рассказывали об отсутствующих дамах. Новости из Симлы были хорошими: "Жимолость" оправдала все ожидания, а погода была такой прохладной, что однажды они даже разжигали камин! Не потому, что он так уж был нужен (по признанию миссис Кроуфорд), просто было чудесно смотреть на большое уютное пламя.

Майор Минниз сказал:

— Такого чуда нам здесь не нужно. — Он промокнул блестевшее от пота лицо, но продолжал удовлетворенно улыбаться и поднял бокал за Оливию: — За нашу хозяйку, которая осталась с нами в этой печке.

"Непременно" и "а как же" отозвался мистер Кроуфорд, также поднимая бокал. К ним присоединился и Дуглас. Оливия увидела три сияющих лица, обращенных к ней.

— Ну, что вы, — пробормотала она и опустила взгляд на свою руку, лежавшую на скатерти. Она ощущала, как их восхищение и благодарность окутывали ее. Все пили прохладное вино. За домом поднялась луна, превратив все в театральные декорации, вырисовывающиеся на фоне ночи; явилась череда слуг со сменой блюд. Сад был полон летних ароматов жасмина и "царицы ночи"[1]. В самом дальнем конце сада к стене приткнулись покои слуг, откуда доносились приглушенные, но несмолкающие звуки.

— Ну, а вы как, Минниз? — спросил мистер Кроуфорд. — Когда покинете нас ради прохладных мест? — Когда майор покачал головой, он сказал сочувственно: — Это что же, наш приятель по-прежнему шалит? Плохо дело.

— Я привык, — добродушно ответил майор Минниз. — Жаль только, что все произошло одновременно, в одно лето. Бедная Мэри. Мы не были в отпуске вместе... погодите, ну да, с девятнадцатого года. Два года назад случилась вся эта история с Кабобпурами, а в этом году... — он махнул рукой, полагая, что они и так знают, что́ произошло в *этом* году. Они знали, и очень даже хорошо! Но Оливия вновь подняла опасную тему:

1. Разновидность жасмина, cestrum nocturnum — ночной жасмин (*лат.*).

— Это все тот ужасный День мужниной свадьбы?

— Нет, милая леди, — сказал майор Минниз. — День мужниной свадьбы уже миновал. На этот раз мы обошлись без больших потерь: всего шестеро убитых и сорок три раненых. Поблагодарим небеса за малые удачи, аминь, и помолимся за то, чтобы выбраться целыми и невредимыми из очередных разбойных дел... В данный момент, — сказал он, — мне бы не хотелось оказаться на месте этого молодца.

— На чьем месте? — спросила Оливия. Она обратилась к Дугласу через стол: — Дорогой, что ты делаешь? Вели принести другую бутылку.

— Прости, прости, — сказал Дуглас, отрываясь от разговора, чтобы подозвать главного слугу.

— Нашего приятеля, — сказал майор Минниз.

— Похоже, дела принимают мрачный оборот, — сказал мистер Кроуфорд.

— Совершенно верно. Я стараюсь излагать все сдержанно в своем отчете, но, черт подери, нелегко сдерживаться, когда видишь, как признанный правитель превращается в главаря бандитской шайки.

— Главаря шайки! — воскликнула потрясенная Оливия. Это прозвучало очень резко, и она быстро глянула на Дугласа, но он не обратил внимания, так как и сам негодовал, его внимание было приковано к майору Миннизу.

— Конечно, всем известно, что наш приятель разорен, — сказал майор Минниз, — это не новость. Ново то, что, выжав из своих подданных все до последней капли, он начал прибегать к более грубым методам. Не хотелось бы заострять на этом внимание, но тут процветает самый настоящий грабеж.

Он замолчал, чтобы успокоиться, так как был возмущен до глубины души. Остальные тоже молчали. На дереве вдруг чирикнула проснувшаяся птица. Может быть, ей снилась змея, а может, змея и в самом деле была рядом.

— Завидую я вам, друзья — сказал майор Минниз. — В округе крестьяне, простой люд, их можно понять. И сдержать.

— Некоторые из них вполне приличные ребята, — подтвердил мистер Кроуфорд.

— Верно, — сказал майор Минниз. И снова с трудом подавил какое-то чувство перед тем, как смог продолжать: — Как-то раз я был советником у махараджи Данга. Он тогда строил дворец, возможно, вы его видели? По-крайней мере, слышали — из-за строительства поднялся большой шум. Подразумевалось, что дворец станет современным Версалем. На самом же деле получилась невероятно уродливая конструкция, какой-то сарай с дорическими колоннами, но не в этом дело.

Дело в том, что, когда Его Величество занимался постройкой, муссонных дождей два сезона не было, и Данту со всеми окружавшими его районами грозил голод. Его Величество был слишком занят, чтобы обратить на это внимание и выслушать нас. К нему даже на прием попасть было невероятно трудно, так он был занят всеми этими людьми, которых вывез из Европы: архитектором, и оформителем, и *портным*, представьте себе, из Вены (для шитья занавесок), да еще какой-то чемпионкой по плаванию — для торжественного открытия подземного бассейна... В общем, когда мне, наконец, удалось поведать ему о своих печалях, он назвал меня старым брюзгой. Его Величество обожал эти выражения, он в Итоне учился. "Старый вы брюзга, майор, — сказал он мне. Затем вдруг принял серьезный вид, встал во весь рост (во все свои полтора метра) и прибавил: — Ваша беда в том, старина, и простите меня за откровенность, что у вас совершенно нет воображения. Никакого". К сожалению, кое-какое воображение у меня все-таки было, и даже получше, чем у него, так как голод действительно наступил. Помните двенадцатый год?

— Ужасный, — сказал мистер Кроуфорд.

— Единственное, что можно сказать в его защиту, он в самом деле был болваном. Хуже, когда это не так. Вот, например, наш приятель. Когда им так много дано от природы: внешность, ум, характер, все что угодно — а *потом* видишь, как они теряют голову... В чем дело, милая леди, вы нас покидаете?

— Оставлю вас с бренди и сигарами.

Трое мужчин, поднявшись, глядели, как она идет через залитую лунным светом лужайку. Оливия вошла в дом, но не в гостиную, куда слуги подали ей кофе, а наверх, на террасу, и задумчиво оперлась на перила. Ей были видны эти трое внизу, по-прежнему сидевшие за столом. Наверное теперь, после ее ухода, они говорили более свободно, и о Навабе, и о его загадочных проступках. У нее было странное, очень странное чувство. Оливия смотрела дальше, поверх этой живой сценки в саду, где трое англичан в смокингах дымили сигарами, пока слуги суетились вокруг с графинами: ей был виден дом Сондерсов, за ним шпиль маленькой церкви и могилы на кладбище, а еще дальше плоский, так хорошо знакомый ей пейзаж — миля за милей бурой земли, ведущей в Хатм.

* * *

12 июня. От Чида продолжают приходить письма. Первое из них меня удивило, я не думала, что он из тех, кто оглядывается назад и помнит о людях. Письмо начиналось не с личного

приветствия, а с "Джай Шива Шанкар! Хари Ом!", выведенного черными чернилами. Он писал: "Окружающий нас свет, вот что определяет наш разум. Чистый истинный *незамутненный* разум — вот в чем совершенное счастье. Совершенный чистый незамутненный разум и есть рай". Почти все письмо было выдержано в подобном тоне, лишь где-то в середине он написал: "Мы прибыли в И Дхарамсалу. Святое место, вот только священник хочет обвести нас вокруг пальца и ограбить". И еще в конце: "Забыл питьевую кружку, отправь в храм И Шри Кришна Махараджи в Дхарамсалу с уведомлением о вручении".

Его последующие письма были изготовлены по тому же образцу: много философии, а в середине пара строчек о том, что происходит на самом деле (обычно — о "мошенничестве и грабеже"), и под конец — просьба. Это чрезвычайно интересные документы, я храню их у себя в столике вместе с письмами Оливии. Они образуют странное сочетание. Почерк Оливии четок и изящен, хотя кажется, что писала она второпях, пытаясь угнаться за своими мыслями и чувствами. Ее письма адресованы Марсии, но на самом деле кажется, будто писала она сама себе, настолько они личные. В письмах Чида ничего личного нет. И пишет он всегда на безличных почтовых бланках, которые вместе с захватанными и неразборчиво написанными открытками составляют основную массу почты, пересекающую Индию из одного конца в другой. Они выглядят так, будто проделали очень длинный путь и прошли через огромное количество рук, по пути покрываясь отпечатками и впитывая запахи. Письма Оливии, которым более пятидесяти лет, выглядят так, будто были написаны вчера. Чернила, правда, побледнели, но, возможно, это просто сорт, который она использовала в тон нежному лиловому цвету письменных принадлежностей — от них все еще исходит запах. Смятые письма Чида пахнут совсем иначе — их словно окунали в типичные для Индии ароматы специй, мочи и растений.

Индер Лал всегда с удовольствием слушает письма Чида. Он поднимается ко мне в комнату по вечерам, и я их ему читаю. Его привлекает философия. Он считает, что у Чида древняя душа, претерпевшая не одну инкарнацию. Большинство перерождений произошло в Индии, поэтому Чид сюда вернулся. Но чего Индер Лал не может понять, это зачем здесь *я*. В прошлой жизни я не была индуской, почему же я прибыла теперь?

Я пытаюсь подобрать для него объяснения. Говорю, что многие из нас устали от западного материализма, и, даже если

нас не привлекает духовность Востока, мы приезжаем сюда в надежде найти более простой и естественный образ жизни. Мое объяснение его ранит. Ему кажется, что это насмешка. Зачем людям, у которых есть все (машины, холодильники), приезжать сюда, где нет ничего? Он говорит, что ему бывает стыдно передо мной за его быт. Когда я пытаюсь спорить, он заводится еще больше. Говорит, что прекрасно понимает, по западным стандартам, его дом, и еда, и даже застольные манеры, считаются примитивными и недопустимыми, да и его самого сочли бы таким же — неученым и неотесанным. Да, он прекрасно понимает, что в этом смысле плетется далеко позади и у меня есть все основания смеяться над ним. "Да и как не смеяться!" — восклицает он, не давая мне возможности вставить ни слова, он сам видит и условия, в которых живут люди, и все их предрассудки. Как же не смеяться, говорит он, указывая на окно, откуда виден движущийся мимо городской нищий — подросток-калека, который не может стоять и тащит свое тело по пыли, — как же не смеяться, спрашивает Индер Лал, при виде всего этого?

В такие минуты я вспоминаю Карима и Китти. Я виделась с ними в Лондоне перед приездом в Индию. Карим — племянник Наваба и его наследник, а Китти, его жена, тоже какой-то королевской (или, скорее, в прошлом королевской) крови. Когда я позвонила Кариму и рассказала, что еду в Индию изучать историю Хатма, он пригласил меня к ним в квартиру в Найтсбридже. Он сам открыл дверь: "Привет". Невероятно красивый молодой человек, одетый по последнему писку лондонской моды. Я все думала, похож ли он на Наваба. Наверное, нет: Карим очень тонкий, слишком худой, с изящными чертами лица и длинными вьющимися волосами, а Наваб в молодости, говорят, был крупным мужчиной с ястребиным лицом.

Карим провел меня в комнату, полную людей. Сначала я подумала, что у них вечеринка, но потом поняла, что они зашли просто так. Все были из компании Карима и Китти. Большинство сидело на полу, на разбросанных подушках, валиках и коврах. Все было индийским, подобно почти всем присутствующим. Звучала запись индийского сарода[1], которую никто не слушал, но она служила фоном для их бесед, проходивших на высоких, как бы птичьих нотах. Китти устроилась на красном с золотом диване, который когда-то служил качелями и был прикреплен длинными золотыми цепями к потолку. Она

1. Сарод — струнный щипковый инструмент лютневого типа, используемый для исполнения индийской классическом музыки.

тоже была одета в небрежно строгий лондонский наряд (брюки и шелковую блузку) и носила его так же грациозно, как носила бы сари: возможно, так казалось из-за ее очень тонких рук, талии и шеи, но удивительно округлых бедер. Она тоже поприветствовала меня и, помахав рукой в неопределенном направлении, пробормотала: "Присаживайтесь".

Я так и не разобралась в том, кем были все эти люди и жили ли они в Лондоне или просто приехали в гости. У меня сложилось впечатление, что они с легкостью ездили туда-сюда, и иногда было неясно, говорят ли они о лондонских событиях или о том, что произошло в Бомбее. Все присутствующие хорошо разбирались в купле-продаже и со знанием дела обсуждали, какие семейные реликвии можно безопасно вывозить из Индии в ручном багаже, а какие лучше доставлять другими способами.

Единственными англичанами, кроме меня, была пара Кит и Дорин. Они казались более крупными и сильными, более грубыми по сравнению с остальными и с большим интересом, даже, как мне показалось, с жадностью, слушали разговоры о семейных сокровищах. Они рассказали мне, что занимаются пошивом одежды и собираются заняться производством вещей исключительно из индийской материи. Они собирались заключить договор с Китти и Каримом: Карим будет им помогать налаживать деловые отношения с партнерами, а Китти займется творческой стороной. Она, видите ли, очень творческая натура.

Карим свернулся калачиком на подушке у моих ног. Он посмотрел на меня своими красивыми глазами и сказал: "Расскажите же нам, что вы хотите изучать". Когда я объяснила, что мне особенно интересен его дядя, предыдущий Наваб, он сказал: "Ну, это был такой шалун!". Все засмеялись и сказали, что в те времена люди позволяли себе немало шалостей. И начали рассказывать истории. У всех имелись родственники, ввязывавшиеся во всевозможные скандалы в лондонских гостиницах; свергнутые с трона за жуткие преступления; бросавшие на ветер семейные состояния; спивавшиеся, погибавшие от наркотиков или яда, подсыпанного незаконнорожденными братьями. В рассказах этих звучала тоска по прошлому: "Что ни говори, — заключил один из них, — а те дни были по-своему очаровательны".

Затем они перешли к обсуждению настоящего, напрочь лишенного очарования. Индия была, конечно, домом, но жить там становилось столь трудно, что приходилось оставаться за границей. Несмотря на это, все до единого были готовы служить Индии и служили бы, если бы только не это не-

примиримое отношение нынешнего правительства, из-за чего все они испытали множество неприятностей. Одна девушка рассказала, как ее семья попыталась из своего дворца сделать отель. Место было живописное, с разнообразными достопримечательностями, и некоторые зарубежные инвесторы очень заинтересовались этим начинанием. Но индийское правительство сначала потребовало лицензии на все, что только можно, а затем отказалось их выдать. Взять, к примеру, само здание: старое, построенное в девятнадцатом веке, туда, конечно, для нужд современных туристов необходимо было доставить и установить всякие современные удобства. Нельзя же ожидать, сказала она, что такой турист будет в нужнике сидеть! Но попробуйте объяснить все это государственному чиновнику, которому известно только слово "нет". В конце концов, у инвесторов пропало желание в этом участвовать, и они ушли. Теперь бесхозный дворец просто остался стоять с проседающей крышей, так что у семьи не оставалось другого выхода, кроме как выставить другое свое имущество на аукцион за границей — бесценные вещи, включая золотую колесницу, в которой раз в год Кришну возили на праздничную процессию. Они даже цену за нее хорошую получили, но, как водится, нужно было платить множеству посредников: и аукционщикам, и людям, организовавшим вывоз предметов из страны.

Карим сказал, что ему тоже пришлось избавиться от большинства сокровищ из дворца в Хатме. Оставить их там означало бы отдать на съедение белым муравьям и плесени. Там оставалась коллекция миниатюр, но она оказалась никому не нужна — даже описана не была, картины просто обернули тканью и отправили в подвальные помещения. Теперь, к сожалению, большинство вещей уже продано зарубежным покупателям, хотя некоторые из картин Карим сохранил, и не столько из-за их ценности, сколько ради семейных воспоминаний.

— Идемте, я вам покажу. — Он вскочил, грациозно распрямив длинные ноги, и повел меня в другую комнату. Это была довольно экзотичная гостиная, заполненная ковриками и расписной мебелью, но Карим сказал, что это просто каморка, где им с Китти иногда нравится отдыхать. Именно здесь, в золотой раме на красных обоях каморки Китти и Карима, я впервые увидела дворец Хатма. Его вид отличался от нынешнего, но, возможно, дело просто было в стиле художника. Все было украшено самоцветами: цветы в саду, капли воды в фонтане.

На картинах были изображены принцы и принцессы за различными приятными занятиями. Принцы походили на

Карима, принцессы — на Китти. Все они были с ног до головы обвешаны драгоценностями. По словам Карима, большинство семейных драгоценностей исчезло очень давно; кстати говоря, сказал он, улыбаясь, именно Наваб, которым я так интересовалась, и несет ответственность за их исчезновение. Ему всегда недоставало денег, неважно каким способом добытых. Он вел довольно разгульный образ жизни и участвовал во множестве скандалов, говорят, даже (возможно, я слыхала?) была какая-то история с англичанкой, женой представителя английских властей.

— Возможно, — сказала я и перешла к следующей картине. Это, объяснил Карим, основатель нашего рода Аманулла Хан (тот самый, что нашел убежище у Баба Фирдауша). На полотне он выглядел довольно солидно: в халате, расшитом цветами, в розовой чалме, с длинными усами и кальяном. Но, по словам Карима, картина изображала его в конце жизни, когда завоеваниям пришел конец после заключения перемирия с Восточно-Индийской компанией. До этого он в основном жил в седле, без всякого имущества — только сабля да шайка сопровождавших его разбойников.

— Тот еще был тип! — сказал Карим об Аманулле Хане с тем же восхищением, что и о Навабе. — Аманулла был невысокий, приземистый и кривоногий от вечной езды верхом. Все его боялись из-за взрывного характера. Он становился особенно вздорным, когда пил, и как-то раз, когда его собутыльник о чем-то с ним заспорил, Аманулла так рассвирепел, что выхватил саблю и отхватил бедняге руку. Вот так! О нем ходит много разных историй, и люди о нем до сих пор песни поют, народные и всякие. Семья наша с 1817 года существует, тогда мы стали Навабами, а уж если я когда-нибудь соберусь избираться в парламент, меня на руках туда понесут. Иногда я думаю, мне бы хотелось — в конце концов я индус и хочу служить своей стране и так далее, — но знаете, когда бы мы ни ездили в Хатм, у Китти начинается несварение из-за воды. Да и врача там как такового не найдешь, поэтому что же нам остается делать, приходится как можно скорее возвращаться в отель в Бомбее. Но теперь мы подумываем, не купить ли в Бомбее квартиру, раз уж мы взялись за это дело с Китом и Дорин. Китти занималась изучением древних индийских картин из Аджанты[1] и прочих потрясающих мест, ее эскизы будут основаны именно на них, так что мы и на самом деле

1. Аджа́нта — преимущественно буддистский храмово́-монастырский пещерный комплекс в Индии в штате Махараштра.

будем служить нашей стране, правда? Посредством экспорта-импорта?

Он посмотрел на меня глазами, в которых была глубина и тоска (точь-в-точь Индер Лал, как я позже обнаружила). Я больше не виделась с ним после той встречи, и, хотя я иногда думаю здесь о нем, очень трудно представить его или Китти в Хатме, или Сатипуре, или даже в тех частях Бомбея, которые мне удалось увидеть.

1923

Теперь за Оливией приезжал не Гарри, а машина с шофером. Гарри совсем разболелся. Он утверждал, что не может больше выносить ни эту жару, ни еду из кухни Наваба. Он вечно жаловался на расстройство желудка, несмотря на то что Наваб лично занимался заказами его блюд, и только повару, обученному европейской стряпне, было позволено их готовить. Но Гарри все равно не мог есть ничего из них.

Бóльшую часть времени он сидел в своих комнатах, куда Оливия приходила его навестить. Но и в ее присутствии его настроение не менялось: оставалось таким же плохим. Однажды он даже резко спросил ее:

— Дуглас ведь не знает, что вы приезжаете в Хатм? — И до того, как она нашлась с ответом, добавил: — Не надо вам приезжать. Не стоит вам здесь находиться.

— Это же Дуглас говорит и о вас, — ответила она. — Но мне кажется, вам здесь не так уж плохо.

Она бросила быстрый взгляд на его покои, давая понять, чтó имеет в виду. Наваб поселил Гарри в лучших гостевых комнатах. Они были отделаны мрамором, с решетчатыми окнами, выходившими на фонтаны и розовые сады. Их — специально для Гарри — обставили очаровательной европейской мебелью. Только картины на стенах были индийские. Они составляли часть семейной коллекции и в основном изображали эротические сцены: принцев, осыпанных цветами, принцесс, которых готовили к брачным утехам.

— А вы не обращали внимания на то, — спросил Гарри, — что вас никогда не водили познакомиться с бегум и ее дамами?

— Я их и так прекрасно знаю, благодарю вас, — Оливия через силу рассмеялась. — Нелегкая была встреча.

— Тем не менее, — сказал Гарри, — это невежливо.

— По отношению к кому?

— К вам, разумеется.

Они оба замолчали, а затем он сказал:

— Я с ним поссорился из-за этого... из-за вас. Я прямо спросил его...

— О чем?

— Отчего вы не представите Оливию — то есть миссис Риверс — бегум? А он...

— Что он? — спросила она.

— Да ну, — сказал Гарри, — вы же знаете, как он себя ведет, когда не хочет отвечать. Смеется, а если настаивать, то сделает так, что вы чувствуете себя полным дураком, раз задаете подобные вопросы. Он очень хорошо это умеет делать.

— Я вовсе не хочу знакомиться с бегум, — сказала Оливия, играя браслетом, и добавила: — Я к *вам* сюда приезжаю, ну и к нему, конечно, то есть я имею в виду, как ваш друг. Ваш и его. С ними я ведь дружить не могу. С теми, чьего языка я не знаю... А здесь мне нравится. Мне нравится ваша компания. Ну, не смотрите так, Гарри. Вы сейчас ведете себя, как все остальные, будто мне *не понять*. Будто я не знаю Индии. Это правда, я ее не знаю, но причем здесь это? Люди ведь все равно могут дружить, пусть и в Индии. — Она проговорила это торопливо, не желая услышать его ответ, а просто заявляя о своей позиции, в правоте которой была уверена. Затем она спросила: — Ну, а что там за дела с этими бандитами, Гарри? Скажите, — повторила она, так как он промолчал.

Он вздохнул и через некоторое время произнес:

— Честно говоря, я не знаю, Оливия. Постоянно что-то происходит, я стараюсь ничего не знать. Боже, как мне плохо. Ужасно.

— Желудок?

— И желудок тоже. И эта проклятая, проклятая жара.

— Здесь же прохладно. Чудесно.

— Но снаружи, снаружи! — он закрыл глаза.

Она подошла к окну. Солнце шпарило вовсю — золотой купол навабовой мечети испускал столбы слепящего света, но лужайки сияли зеленью, а в фонтанах, преломлявших солнечные лучи, сверкали искры света и водяные брызги. Вдали, за жемчужно-серыми стенами дворца, простирался город: череда жалких, сломанных крыш, а за ними — бесплодная земля, но зачем глядеть так далеко?

Вошел Наваб — на цыпочках:

— Я вам не помешаю? Пожалуйста, скажите, если это так, и я тут же исчезну. — Он испытующе и тревожно посмотрел на Гарри, а затем повернулся к Оливии. — Ну, как вы его находите? Как он вам? Я позвал врачей, но наши индийские врачи ему не нравятся. Он считает их... как вы их назвали, Гарри?

— Шарлатанами.

— Глупости, — улыбнулся Наваб. — Доктору Пури из Чхатра Базара присудили степень в колледже Лудхианы, он очень квалифицированный...

— Знахарь, — сказал Гарри.

— Глупости, — снова улыбнулся Наваб. Он сел на краешек дивана, где лежал Гарри. — Нам нужно, чтобы вы быстро-быстро поправились. Нам вас не хватает. Без вас ужасно скучно, правда, Оливия? — И он повернулся, чтобы посмотреть на нее, словно укрывал и ее крылом своего тепла и заботы.

— Она спрашивала о бандитах, — сказал Гарри.

Глаза Наваба внимательно глядели на нее, и Оливия увидела в них выражение, которое он обычно прятал. Он изучал ее лицо еще несколько мгновений, а затем отвернулся.

Наваб мягко сказал:

— Надеюсь, Оливия, если вам что-нибудь захочется узнать, если что-нибудь вам покажется странным, вы спросите не Гарри или кого-либо еще, а только меня. — Он подался вперед: — Кто с вами говорил? Что они вам сказали? Не таитесь. Если не скажете, как я смогу защититься от клеветы, которую используют против меня? Предоставьте же мне такую возможность.

Гарри сказал:

— О чем вы ее просите? Присылать вам отчет с Гражданских линий в Сатипуре? Шпионить для вас?

Наваб снова откинулся назад. Он опустил глаза, словно стыдясь. И кротко произнес:

— Надеюсь, вы так не думаете, Оливия.

Она тут же воскликнула:

— Конечно нет! Как вы могли подумать! — и с упреком взглянула на Гарри.

* * *

Воскресными вечерами Дуглас с Оливией обычно гуляли по кладбищу. Они бродили под руку по тропинкам среди могил, останавливаясь, чтобы прочитать надписи, и имена умерших постепенно стали им привычны. Оливия называла эти воскресные прогулки больничными обходами, а Дуглас чувствовал себя виноватым. Жаль, говорил он, что единственное развлечение, которое он может ей предложить — это прогулка по кладбищу.

— Подумай о Марсии, — горько сказал он, — в веселом Париже.

— Глупый, — Оливия прижала к себе его руку, — неужели ты думаешь, что я бы предпочла быть там?

Они стояли у могилы молодого лейтенанта Е. А. Эдвардса, командира 54-го батальона, погибшего 11 мая 1857 года

вместе с пятью офицерами его подразделения. Ему было двадцать девять лет. Он стал особенно близким другом Оливии, так как ей нравилась надпись: *Солдат, всегда готовый выполнять свой долг, преданный сын, добрый и терпеливый отец, но более всего человек, внушавший любовь в качестве мужа.*

— Совсем как ты, милый, — сказала она Дугласу, снова прижимая к себе его руку. А потом добавила: — Правда, ты пока еще не добрый и терпеливый отец.

— Я им буду, — пообещал он.

— Конечно, будешь.

На самом же деле забеременеть ей никак не удавалось. Она уже начала беспокоиться, а вдруг что-нибудь не в порядке? В это ей не верилось, она была убеждена, что такой паре, как они, предназначено иметь детей, стать основателями прекрасной семейной ветви. И Дуглас тоже был в этом уверен. Иногда ей казалось, что здесь кроются психологические причины — ее безумно пугали все эти маленькие дети на кладбище, умершие от оспы, холеры, брюшного тифа.

Ребенку Сондерсов она принесла немного цветов. Она встала на колени, чтобы положить их у ног итальянского ангела, а когда поднялась, лицо ее сияло; она взяла Дугласа под руку и прошептала ему на ухо:

— Я загадала желание... Как делают в храме Баба Фирдауша в День мужниной свадьбы. — Они улыбнулись друг другу, но затем Оливия снова посерьезнела и спросила: — Дуглас, что же там за история с этими бандитами?

— В Хатме действует банда. Они наводят ужас на ближайшие деревни, совершают налеты, грабят и даже убивают.

— Ужас какой, — сказала Оливия и добавила: — А *он-то* здесь при чем?

— Наш приятель? В том-то и дело. Все думают, что он с ними в сговоре и получает свою долю за то, что предоставляет им защиту.

— Быть не может, — сказала Оливия.

Дуглас посмеялся над ее наивностью. Они пошли дальше. Он показал ей еще несколько могил времен восстания, но ей уже стало неинтересно.

Она продолжала:

— Но ведь он *правитель*. Он не стал бы вот так связываться с бандой грабителей. В конце концов, он же принц. — Когда Дуглас снова рассмеялся, она сказала обиженно: — У него даже какой-то английский титул есть.

— Ну да, чего у него только нет... Смотри, вот еще один, убит 11 мая 57-го. *Лейтенант Питер Джон Лайл, Клифтон-колледж, Бристоль*. Наверное, пал в той же битве, что и лейте-

нант Эдвардс. В Сатипуре был бунт под руководством тогдашнего раджи Сатипура, который примкнул к мятежникам, за что потом очень дорого заплатил. Не то что его сосед по Хатму, прадед нашего приятеля, который сохранял "преданность", но прежде выяснял, *какой из сторон* выгоднее хранить преданность. Вот как он заполучил английский титул и прочие блага. Умен был.

Дуглас осторожно вырвал несколько сорняков из могилы лейтенанта Лайла. Их было немного: за могилами очень хорошо следили. Наняли постоянного смотрителя, и мистер Кроуфорд лично приезжал проверять, чтобы умершим англичанам отдавали должные почести.

— Помимо всего прочего, — сказала Оливия, наблюдая, как Дуглас вырывает сорняки, — ему ведь не нужно иметь дело с грабителями. Глупости какие! Я имею в виду, он же богат... Пожалуйста, перестань.

— Но ведь тут сорняки.

— Боже мой, идем. Это место меня угнетает.

Дуглас поднялся и отряхнул пыль с брюк. Теперь он выглядел обиженным и сказал:

— Ты же говорила, тебе здесь нравится.

— Мне нравятся деревья.

Она повернулась и пошла от него по тропе. Ей не хотелось, чтобы он видел, как она сердилась на него и на погибших героев. Но у нее оставались вопросы, и она остановилась и подождала, пока он догнал ее.

— Что это за бандиты? — спросила она.

— Я не хочу об этом говорить. — Дуглас принял свой обычный строгий вид. Он смотрел прямо перед собой, как солдат на параде, и шел к выходу.

Теперь Оливия плелась сзади. Она снова остановилась у могилы ребенка Сондерсов и опустилась на колени, перекладывая цветы. Там она и осталась. Темнело, сгущались тени. Печаль наполнила ее сердце. Она не знала почему: возможно потому, что с ребенком у нее ничего не получалось. Она подумала, что, как только появится ребенок — здоровый, светлоголовый, голубоглазый мальчик, — все станет хорошо. Ей будет покойно и с собой, и с Дугласом, и она сможет смотреть на мир его глазами.

— Идем же, — раздраженно позвал Дуглас. — Темно уже.

Она послушно поднялась, но в следующий миг — сама не знала, как это получилось, — снова опустилась на колени и закрыла лицо руками. Ангел мерцал над ней белым отблеском света. Последние птицы возились в листве перед сном, но больше не было слышно ни звука. Оливия тихо плакала. За-

тем она услышала хруст шагов Дугласа, двигавшегося по дорожке в ее сторону. Он молча остановился над ней и ждал.

— Прости, — сказала она спустя некоторое время, высморкалась и вытерла платком глаза. Поднялась, но Дуглас не стал ей помогать. Она вгляделась в его лицо, с трудом различая его черты в сгущающейся темноте, что мерцала над ней, как тот Сондеров ангел. Дуглас стоял застывший и прямой; он сказал:

— Тебе нужно было уехать в Симлу. Это жара тебя угнетает.

— Ах, вот в чем дело, — сказала она, радуясь оправданию.

15 июня. Одна из городских нищих — очень старая женщина. По крайней мере, выглядит очень старой, но, возможно, это из-за жизни в постоянной нужде. Она не просит милостыни, но когда голодна, то просто стоит с протянутой рукой. Я ни разу не видела, чтобы она с кем-нибудь разговаривала. Хотя живет она в городе, непохоже, что у нее есть постоянное место. Иногда я вижу ее в районе Гражданских линий, иногда у королевских усыпальниц, иногда у базара или проулков около него. Шаркая, она медленно перемещается с одного места на другое в своих лохмотьях, а когда устает, то садится на корточки или ложится, где попало, и прохожим приходится ее обходить.

Последние несколько дней я вижу ее в одном и том же месте. За нашим домом есть проулок, где живет наш мужчина-прачка (там же я видела танцующих евнухов). Несколько дней назад я отнесла ему кое-какую одежду, и, хотя точно сказать не могу, мне показалось, тогда старуха лежала именно там. Дело в том, что к ней так привыкаешь, что перестаешь замечать. Но когда я вернулась забрать одежду, точно ее заметила. Улица заканчивается куском земли, где живет в хижине человек с двумя буйволами. Рядом с его жилищем власти построили зацементированную свалку для мусора, но большинство жителей не видят смысла в том, чтобы выбрасывать мусор в огороженном месте, поэтому он накапливается вокруг, образуя насыпь. Там я и увидела нищенку: она лежала прямо на краю этой насыпи. Сначала я решила, что она мертва, но потом поняла — вряд ли, ибо никто из жителей улочки не проявлял никаких признаков беспокойства. Животные, бродившие по насыпи, тоже не обращали на нее внимания. Лишь мухи вились над ней столбом.

Прачки не было дома, а его жена была по горло занята домашней работой, вдобавок она помешивала длинным деревянным шестом кипятившееся белье. Я заговорила с ней о нищенке, но у нее не нашлось для меня ни секунды времени. Как и у

угольщика, который жил в проеме смежной стены. Как и у человека с буйволами. Они что-то рассеянно бормотали в ответ на мой вопрос: сколько времени она там лежит? Меня вдруг осенило, что женщина и в самом деле мертва, просто некому убрать тело. Мне тоже было все равно, поэтому я отправилась домой со своим бельем.

Позже я поразилась тому, что со мной произошло, — я даже не подошла проверить, жива ли она. Я рассказала о ней Индеру Лалу, но тот собирался на работу в контору. Я хотела, чтобы он сходил со мной посмотреть на нее, и мы вышли из дома вместе. Он толкал велосипед с обедом в коробке, привязанной к раме. Несмотря на то что шел он с большой неохотой, я убедила его войти вместе со мной в проулок и сразу же увидела, что женщина лежит на том же месте. Мы остановились, чтобы посмотреть издали. Она жива? — спросила я Индера Лала. Он не знал и выяснять не собирался; и вообще ему нужно было идти, нельзя же опаздывать на работу. Я решила, что должна посмотреть, в чем дело, и, подступив ближе, услышала, как Индер Лал вскрикнул "Не надо!" и даже позвонил в велосипедный звонок в знак предупреждения. Я подошла к свалке и наклонилась над нищенкой: ее глаза и рот были открыты, она стонала и была жива. Стоял ужасный запах, и вилась туча мух. Посмотрев вниз, я увидела, что из-под нее течет тонкая струйка испражнений. Первой мыслью был Индер Лал: я замахала ему рукой, чтобы он отправлялся в свою контору. Хорошо, что он стоял на расстоянии. Я махала изо всех сил и с облегчением увидела, как он уходит: чистый, в тщательно выстиранной одежде и со свежеприготовленным обедом в сумке. Я ушла и, когда проходила мимо угольщика, сказала: она больна. Он рассеянно согласился. В сводчатом проеме двери было видно, как прачка обедает в своем дворике. Его я побеспокоить не могла. Вообще казалось, что никого нельзя беспокоить, даже приблизиться. Впервые я поняла — почувствовала, — как индусы боятся заразы. Дома я тщательно вымылась, снова и снова обливаясь водой. Мне было страшно. Зараза — инфекция, — казалось, была везде, тамошние мухи могли запросто перенести ее.

Затем я отправилась в местную больницу, расположенную в конце города, у Гражданских линий. Именно в этом старом мрачном здании, которое слишком мало́ для потребностей города, и царил некогда доктор Сондерс. Стационарные и амбулаторные больные заполонили веранды, и коридоры, и даже газон. Я пошла прямо в кабинет главного врача — просторную, полную воздуха, прибранную комнату. Главный врач, доктор Гопал, тоже был очень аккуратен: привлека-

тельный мужчина в белом халате, с нафабренными усами. Чрезвычайно вежливый, даже галантный, он привстал, приветствуя меня и приглашая сесть напротив его кресла. И письменный стол, и стулья были из прочного старого английского мебельного гарнитура, возможно, времен доктора Сондерса. Доктор Гопал с большим сочувствием выслушал мою историю и сказал, что если я привезу к нему эту нищенку, то они посмотрят, можно ли что-нибудь сделать. Когда я спросила, возможно ли отправить за ней карету "скорой помощи", он ответил, что, к сожалению, машина в ремонте, да и вообще она предназначена для экстренных случаев.

— Но это и есть экстренный случай.

Врач печально улыбнулся и погладил усы. Затем задал мне обычный вопрос: "А вы откуда будете?" Несмотря на то что он, несомненно, был очень занят, он готов был поговорить со мной подольше. У меня сложилось впечатление, что ему хотелось поупражняться в английском.

Вошли двое приходящих больных, у каждого в руке по бумажке. То были деревенские жители, с простыми лицами, в больших чалмах; бумажки они протянули доктору Гопалу. После его бесцеремонных вопросов выяснилось, что рецепты перепутаны и что Меер Чанд, страдающий от геморроя, принимал лекарство, выписанное Бакку Раму, у которого были камни в желчном пузыре. Врач быстро исправил ошибку и отпустил пациентов, которые ушли всем довольные.

Я спросила, часто ли такое случается.

— Конечно. Читать они не умеют, а больничный персонал не очень внимателен. Видите, какие у нас трудности. Если та женщина умирает, не привозите ее сюда, мы ничем не сможем помочь.

— Где же ей тогда умирать?

— Вы же видите, — снова сказал он. — К нашей больнице уже двадцать лет не могут сделать пристройку. Ни коек, ни персонала, ни оборудования, — продолжал он.

Списку трудностей не имелось конца. И снова было видно, что ему нравится со мной беседовать, отчасти чтобы потренироваться в английском — эта причина не вызывала сомнений, — но также и потому, что нашелся кто-то, кому он мог облегчить душу.

— Вы же видели, какие у нас пациенты, да мы и сами ошибаемся, это неизбежно. Мне нужны люди, я пишу заявления в трех экземплярах, хожу на прием к министру, а когда в конце концов мне присылают персонал, он никуда не годится. — По-английски он говорил бегло и выражался ясно. Что тут сказать — чувства его были глубоки, а жизнь нелегка. Он гля-

дел на меня через письменный стол такими же глазами, что и Индер Лал, ища понимания.

Одно я осознала совершенно ясно: проблема с нищенкой, захоти я взяться за дело, стала теперь моей. У всех остальных были свои дела. Я задумалась: что делать. Возможно, ее еще можно было вылечить, а раз это в принципе возможно, значит, необходимо доставить ее в больницу. Можно было нанять рикшу или повозку с лошадью и привезти. Но как положить ее на повозку? Придется мне самой ее поднимать, нечего было рассчитывать, что кто-нибудь еще рискнет к ней прикоснуться; к тому же предстояло убедить также и владельца повозки.

Я вышла из кабинета доктора Гопала и пошла через запруженные людьми коридоры. То и дело приходилось перешагивать через пациентов, лежавших на полу. Что же мы, оставим ее умирать? — спросила я тогда врача, уверенная в своей правоте. Но не настолько, как раньше. Появилась новая мысль, новое слово: эта старуха *ничего не значит*. Я сама себе удивлялась. Поняла, что меняюсь, становлюсь, как все остальные. Еще я подумала, что раз здесь живешь, то, может, и лучше быть, как все. Возможно, у меня и выбора нет: все, что меня окружает — и люди, и пейзаж, и одушевленные и неодушевленные предметы, — словно толкает меня стать такой же.

Возвращаясь домой из больницы, я проходила мимо хижины Маджи, рядом с королевскими усыпальницами. Она сидела снаружи и подозвала меня. Посмотрев на меня, спросила, в чем дело. Я рассказала, и на этот раз говорила о происшедшем так же равнодушно, как и все остальные. И была потрясена ее реакцией, совершенно не похожей на бесчувствие других. “Как? — воскликнула она. — Леелавати? Неужели пришло ее время?” Леелавати! У нищенки было имя! Внезапно дело снова стало неотложным. Маджи вскочила и понеслась на базар с необычной для тучной и пожилой особы скоростью. Я поспешила за ней, показывая дорогу к свалке. Но когда мы прибежали туда, нищенки не было. Мы спросили и прачку, и торговца углем, и владельца буйволов, все пожимали плечами и говорили, что она ушла. Они полагали, что она, возможно, проголодалась и уползла куда-то просить подаяния. Мне было не по себе из-за всего поднятого мной шума, но Маджи сказала: “Я знаю, где она может быть”.

Так же проворно она снова помчалась, работая локтями, чтобы бежать поскорее. Мы поспешили обратно на базар, затем прошли под воротами, где город заканчивался, и, наконец, добрались до водоема с камнями сати на берегу. “Ага!” — вскрикнула Маджи, увидев ее раньше меня. Женщина лежала под деревом в той же позе, что и у свалки. Испражнения все

еще текли, но уже совсем тоненькой струйкой. Маджи подошла к нищенке и сказала: “Вот ты где. Я тебя повсюду ищу. Что же ты меня не позвала?” Старуха глядела в небо, как мне показалось, уже невидящими глазами. Маджи села под деревом и положила ее голову к себе на колени. Она гладила ее своими грубыми крестьянскими руками и смотрела в гаснущее лицо. Старуха вдруг улыбнулась, беззубый рот приоткрылся с тем же блаженным выражением узнавания, что рот младенца. Смотрели ли еще ее глаза, видела ли она Маджи, склонившуюся над ней? А может, она просто чувствовала любовь и нежность? Как бы то ни было, эта улыбка казалась мне настоящим чудом.

Я села вместе с ними под деревом. В тот день с утра была сильная пыльная буря, и, как иногда бывает, воздух потом очистился, и теперь, в оставшиеся часы дня, все светилось. В воде резервуара, чистой, как небо, дрожали лишь отражения снующих зимородков и деревьев, то и дело роняющих в воду листья. В дальнем конце купались буйволы, погрузившиеся так глубоко, что только головы торчали над поверхностью воды. По берегу скакали тощие живые обезьянки, перебираясь с камня на камень по месту поминовения сати.

— Видишь ли, — сказала Маджи, — я так и думала, что она сюда придет. — Она продолжала гладить лицо старухи не только с нежностью, но и с какой-то гордостью, словно та совершила что-то особенное. Маджи стала рассказывать о жизни этой старухи: когда она овдовела, ее выжили из дома свекра. Затем умерли ее родители и брат во время эпидемии оспы, оставив ее без дома и средств. Что же остается делать, сказала Маджи, когда тебя практически вышвыривают на улицу просить милостыню и жить на подаяние? В то время эта женщина не сидела на месте, а путешествовала от одного места паломничества к другому, так как там легче прокормиться нищим. Около десяти лет назад она пришла в город и заболела. Затем выздоровела, но слишком ослабела, для того чтобы продолжать путь, потому и осталась здесь. — А теперь она устала, — сказала Маджи, — пришло ее время. Все сделано. — Она снова провела рукой по лицу женщины с гордостью, словно та выполнила свой долг.

Сидеть там было очень приятно, у воды было прохладно, и мы бы остались надолго, но смерть не заставила себя ждать. Как только сияние исчезло с неба и вода стала бледно-жемчужной, а птицы уснули в темной листве и лишь летучие мыши беззвучно носились черными тенями на фоне серебряного неба, в этот чудесный час она и скончалась. Я бы и не заметила, так как старуха уже давно не шевелилась. Не было ни

предсмертных хрипов, ни конвульсий. Казалось, будто из нее выжато все, и ей больше ничего не оставалось, кроме как отойти в мир иной. Маджи была очень довольна, она сказала, что Леелавати хорошо справилась с жизнью и была вознаграждена достойным, благословенным концом.

1923

Однажды Оливия сказала Дугласу, что Гарри лежит больной в Хатме и что ей бы хотелось его навестить. "Да?" — сказал Дуглас и ничего более. Она приняла этот ответ за желанное разрешение: с сегодняшнего дня, решила она, Дуглас знает, что она ездит в Хатм, его уведомили. Больше не нужно будет торопиться обратно, чтобы опередить его. Если же он приедет домой раньше нее, она просто и честно скажет, что навещала больного Гарри в Хатме. Но Дуглас никогда не возвращался раньше; так получалось, что его задерживали в конторе все позже и позже, а когда он приходил наконец домой, то был таким усталым, что почти сразу укладывался спать. Оливия долго не ложилась и сидела у окна, чтобы подышать прохладой. По утрам, когда он уходил, она еще спала: Дуглас выезжал рано, чтобы отправиться на проверку перед тем, как солнце станет слишком жарким.

Однако этим утром Оливия встала рано. Она пришла посидеть вместе с ним за завтраком (в комнате, где теперь почта), чего уже давно не делала. Оливия смотрела, как он ест ветчину и сосиски. Ее вдруг поразило, что лицо у него как-то отяжелело, стало более одутловатым, из-за чего он стал похож на других англичан в Индии. Она отогнала эту мысль, думать так было невыносимо.

— Дуглас, — сказала она. — Гарри никак не становится лучше.

— Да? — он нарезал еду на маленькие кусочки и медленно и флегматично жевал.

— Я думала, не попросить ли нам доктора Сондерса его осмотреть.

— Доктор Сондерс не занимается частной практикой.

— Но ведь он здесь единственный английский врач. — Когда Дуглас не отреагировал, она добавила: — А Гарри — англичанин.

Дуглас закончил завтракать и разжег утреннюю трубку (теперь он курил почти постоянно). Он дымил ею так же неспешно и флегматично, как и ел. Оливия любила эти его черты: невозмутимость, английскую крепость и силу, мужественность. Но теперь вдруг подумала: какая еще мужественность? Он даже ребенка мне не может дать.

Она воскликнула:

— Неужели тебе обязательно курить эту проклятую трубку? В такую жару?

Сохраняя спокойствие, он выбил трубку в пепельницу, осторожно, чтобы не запачкать скатерть, и, наконец, сказал:

— Тебе нужно было уехать в Симлу.

— И что бы я там делала? Гуляла с миссис Кроуфорд? Ходила бы на одни и те же скучные приемы, боже мой, — она закрыла лицо в отчаянии, — еще один званый обед и я просто лягу и умру.

Дуглас не ответил на эту вспышку и продолжал курить. В комнате было очень тихо. Слуги, убиравшие приборы после завтрака, тоже старались вести себя как можно тише, чтобы не мешать саибу и мемсаиб ссориться по-английски.

Через некоторое время Оливия виновато сказала:

— Даже не знаю, что со мной происходит.

— Я же говорю: жара. Ни одна англичанка к такому не приспособлена.

— Вероятно, ты прав, — пробормотала она. — Кстати, дорогой, я и сама бы хотела проконсультироваться у доктора Сондерса.

Дуглас посмотрел на нее. Лицо его, может, и изменилось, но глаза были так же ясны и чисты, как и прежде.

— Потому, что я никак, — она смущенно опустила глаза, — не могу забеременеть.

Он положил трубку в пепельницу (ее тут же услужливо опустошили), затем поднялся и прошел в спальню. Она пошла за ним. Они прижались друг к другу, и она прошептала:

— Я не хочу, чтобы все изменилось... Не хочу, чтобы *ты* изменился.

— Я и не меняюсь, — сказал он.

— Нет, не меняешься, — и она прижалась к нему крепче. Ей страстно хотелось забеременеть; ведь тогда все станет хорошо, он не изменится, она не изменится, и жизнь пойдет точно по плану.

— Подожди немного, — сказал он. — Все будет в порядке.

— Ты так думаешь?

— Я уверен.

Опершись на его сильную руку, она вышла вместе с ним наружу. Хотя еще стояло очень ранее утро, воздух был спертым.

— Жаль, что ты не уехала в Симлу, — сказал он.

— Так далеко от тебя?

— Тебе здесь совсем плохо. Этот ужасный климат.

— Но я чувствую себя прекрасно! — Она рассмеялась, потому что это была правда.

Он благодарно прижал к себе ее руку:

— Если у меня получится освободиться, мы поедем вместе.

— Ты думаешь, удастся?.. Не стоит ради меня, — сказала она. — Я и в самом деле... ничего страшного... я в порядке, — снова сказала она.

Ее мужество вызвало у него восхищенный возглас. Он хотел задержаться, но его конюх стоял с лошадью наготове, помощник — с бумагами, а слуга — с тропическим шлемом.

— Не выходи, — сказал Дуглас. Но она вышла. Оливия посмотрела на него снизу вверх, когда он сел в седло, а он взглянул на нее сверху. Этим утром ему было трудно уезжать.

— Я поговорю с доктором Сондерсом насчет Гарри, — сказал он.

Она махала ему рукой, пока он не пропал из виду. Слуга придержал входную дверь, но она ненадолго осталась снаружи поглядеть вдаль. Не в том направлении, куда уехал Дуглас, а в противоположном — на Хатм и дворец. Видно было повсюду одно и то же, так как все заволокло завесой пыли. Но то, что она сказала Дугласу, было правдой: она действительно чувствовала себя прекрасно, ее не беспокоили ни жара, ни духота. Казалось, будто в ней бил маленький родник, придававший ей бодрости и веселья.

Чуть позже она посмотрела на свои наручные часы (до приезда автомобиля Наваба еще оставалось время) и пошла к дому Сондерсов. Но доктор Сондерс уже уехал в больницу, и дома была только миссис Сондерс. Оливия удивилась, не застав ее в постели. Миссис Сондерс сидела в одной из своих комнат, напоминавших пещеру, и смотрела в пустой камин.

— Лучше не позволять им... слугам... видеть себя в постели, — объяснила она, понизив голос и бросив взгляд в сторону двери. — Я хотела бы полежать, мне в самом деле нужно быть в кровати, но как знать, что у них на уме.

Она продолжала вглядываться в камин (где даже решетки не было), словно там обитали злые духи. Да и в самой комнате ощущалось что-то потустороннее: возможно, из-за мебели, которая не принадлежала Сондерсам, а была казенной и передавалась служащим из поколения в поколение. Изображения на стенах тоже провисели тут очень долго; в основном то были сцены времен восстания, на одной из них художник изобразил сэра Генри Лоуренса, убитого пулей в Лакхнау.

— Чего только не рассказывают, — сказала миссис Сондерс. — Вот, например, одна дама из Музаффарбада или откуда-то оттуда, родом вообще-то она из Сомерсета... — Она вздохнула, думая то ли о горькой судьбе этой дамы, то ли о далеком Сомерсете. — Ее *мужчина-прачка*, — прошептала миссис Сондерс, наклоняясь ближе к Оливии, — гладил ее нижнее белье и,

видно, не совладал с собой. Они очень возбудимы, так уж они устроены. Я слышала, это из-за их пряной еды, уж не знаю, правда ли, но убеждена, у них одно на уме, как бы сами знаете что сделать с белой женщиной.

Оливия смотрела на нее. Миссис Сондерс мрачно покивала со знанием дела и оправила платье на тощей груди. Оливия почувствовала, как и ее собственная рука поправляет довольно низкий вырез бледно-коричневого шелкового платья. Что за вздор! Она вскочила, пора было ехать, автомобиль Наваба вот-вот будет здесь.

Наваб посмеялся над предложением привезти доктора Сондерса осмотреть Гарри. Он сказал, что если бы нужен был европейский врач, то он, конечно, тут же послал бы за лучшим специалистом, если нужно — даже в Германию или Англию. Однако ради Оливии и Гарри он согласился отправить машину за доктором Сондерсом.

Доктор Сондерс, довольный и польщенный тем, что его пригласили во дворец, соединил кончики пальцев и начал сыпать медицинскими терминами. Он пыхтел, разглагольствуя, и от каждого слова волоски его усов пушились, словно от легкого ветерка. Наваб обращался с ним с той преувеличенной вежливостью, в которой Оливия уже давно научилась распознавать презрение; но доктор Сондерс, принимавший все за чистую монету, раздувался все больше в своем тесном чесучовом костюме. От вида этой пары, сидящей напротив друг друга: Наваба, почтительно наклонившегося вперед, и доктора, философствующего и все увеличивающегося в размерах, — Гарри давился смехом, и, глядя на него, Оливия тоже веселилась. Доктор Сондерс ничего не замечал, в отличие от Наваба, который был доволен тем, что придумал такое прекрасное развлечение для друзей и настоял, чтобы доктор остался обедать.

За столом доктор достиг новых высот. Раскрасневшись от удовольствия, полученного от хозяйской еды и питья, он позволил вовлечь себя в разговор об Индии и индусах и поделился своими впечатлениями. У него оказалось в запасе множество подходящих историй, в основном из врачебной практики. Хотя Оливия уже слышала бóльшую их часть, она присоединилась к Гарри, которого забавляло то, как Наваб подзадоривал доктора.

— А что же вы сделали потом, доктор?

— А потом, Наваб-саиб, я велел позвать этого молодца в свой кабинет и без дальнейших разговоров устроил ему взбучку.

— И очень правильно сделали, доктор, очень правильно. Вы подаете хороший пример.

— С ними нельзя по-другому, Наваб-саиб. Спорить бесполезно, они не склонны рассуждать логически. У них здесь все не так устроено, как у нас.

— Совершенно верно, доктор. Вы попали прямо... во что, Гарри?

— В яблочко.

— Вот именно. В яблочко, — Наваб серьезно кивнул.

Вскоре Оливии стало не смешно. Доктор Сондерс был откровенно глуп, и шутка затянулась. Гарри это тоже наскучило. Как обычно, Наваб мгновенно почувствовал, что обстановка переменилась. Он отбросил салфетку и сказал:

— Оливия, Гарри, идемте. — Бесцеремонно оставив доктора в столовой, он повел их наверх, в комнаты Гарри. Там он бросился в кресло, и, откинув голову назад, наконец, громко расхохотался. И обиделся, когда они к нему не присоединились: — Я так старался вас развеселить, — пожаловался он.

— Это же просто жестокое обращение с животными.

— Но он *нас* назвал животными, — заметил Наваб.

— Он просто старый зануда, — буркнул Гарри. — Зачем вы только его позвали?

— Это все *она*, — сказал Наваб, указывая на Оливию. А когда она смутилась, примирительно заметил: — Он не зануда, наоборот, довольно забавен. “Мы, врачи, чувствуем себя дома в Англии”, — проговорил он, соединив кончики пальцев и раздувая воображаемые усы. Было не очень похоже, но Оливия и Гарри из вежливости засмеялись. Сначала он был доволен, но затем настроение у него испортилось, и он сказал с отвращением: — Вы правы. Он — зануда. Да уж, не стоило его приглашать, давайте от него избавимся.

Оливия почувствовала необходимость сказать:

— Он и в самом деле исключительно высокомерен. Не судите обо всех по нему.

Наваб холодно взглянул на нее:

— Кого не судить?

— Всех нас.

— Кого “нас”? — спросил ее Гарри тоже враждебно.

Оливия ощутила, что попала в затруднительное положение. Именно так она чувствовала себя на обеде у Кроуфордов, не зная, чью сторону принять.

— Не знаю, что вы об этом думаете, — продолжал Гарри, — но не нужно сравнивать меня с ними.

— Но Гарри, ведь Кроуфорды, например... они совсем не такие, как доктор Сондерс, вы это прекрасно знаете. Или чета Миннизов. Или, раз уж на то пошло, Дуглас и...

— И вы?

— Все одинаковые, — неожиданно и решительно отрезал Наваб.

Оливия была потрясена, неужели он и ее имеет в виду? Включил ли он и ее в эту группу? Она посмотрела ему в лицо, и ее испугали чувства, так явно отражавшиеся на нем; ей было невыносимо быть их причиной, даже частичной, она бы сделала все, чтобы это не имело к ней отношения.

— Я отошлю его, — сказал Наваб, громко подзывая слуг. Он распорядился, чтобы доктора Сондерса посадили в автомобиль и отправили домой.

— Да, и заплатите, заплатите ему, — сказал он. — Вот *ты* — заплати. Просто дай ему денег, он возьмет, — приказал он слуге и засмеялся. Тот тоже засмеялся, оценив оскорбление, наносимое доктору Сондерсу, которому заплатит слуга.

— Пожалуй, я тоже пойду, — сказала Оливия, глотая слезы.

— Вы? — вскричал Наваб. — С ним? — он был возмущен. — Вы думаете, я позволю вам сесть в одну машину с *ним*? Вот что вы думаете о моем гостеприимстве? И моей дружбе? — Казалось, он был оскорблен до глубины души.

— Но мне пора ехать домой, и раз уж есть машина... — запротестовала Оливия, смеясь и снова чувствуя себя беззаботной.

— Значит, будет другая машина. Десять машин, если нужно. Пожалуйста, сядьте. Что это мы грустим, когда нужно веселиться? Гарри! Оливия! Ну что же вы! Мне вчера сон приснился, это вас рассмешит, о миссис Кроуфорд. Нет, погодите, она была не миссис Кроуфорд, она была хиджрой и делала вот так. — Он хлопнул в ладоши, как в танце, и громогласно расхохотался. — С ней была целая труппа, они пели и плясали, но ее я сразу заметил. Она и в самом деле похожа на хиджру, — сказал он.

— А что это такое? — спросила Оливия.

Наваб снова рассмеялся.

— Я вам покажу, — сказал он.

Тогда-то он и позвал прислуживающих ему молодых людей и приказал привести евнухов. Они пели и плясали, и Оливия чудесно провела время.

* * *

20 июня. Перед самым муссоном жара становится очень сильной. Говорят, чем она сильнее, тем обильнее будут дожди, поэтому все хотят, чтобы шпарило изо всех сил. Да и к тому времени ее *принимаешь* — не привыкаешь, а именно принимаешь; и потом, ни у кого не остается сил с ней бороться — все примиряются и терпят. Есть и небольшие преимущества. Чем

жарче, тем слаще манго и арбузы, тем крепче пахнет жасмин. Дерево гул мохар, раскинув ветви, как танцор, распускается изумительными алыми цветами. На рынке появляется самое разнообразное мороженое, и стаканчики, в которых его подают (может, и не самые чистые), доверху наполнены колотым льдом, тоже не очень чистым, но кому какая разница?

В воскресенье мы с Индером Лалом отправились к храму Баба Фирдауша на пикник. Это я предложила поехать, но, когда мы сидели, обливаясь потом в автобусе, трясясь по полыхавшему пространству, мне пришло в голову, что это было не самой лучшей идеей. Выйдя из автобуса, мы вскарабкались по каменистой, совершенно голой и не защищенной от солнца тропе, что вела в рощу, но, оказавшись там, вы словно попадали в рай. Солнце не проникало сквозь листву, и маленький источник струил прохладу и свежесть. Индер Лал сразу же улегся под деревом, я же пришла в такой восторг от этого места, что отправилась прогуляться. Ничто не напоминало о том времени, когда я побывала здесь впервые (в День мужниной свадьбы) — тогда деться было некуда от паломников и громкоговорителей. Теперь роща словно замерла, лишь журчала вода, были слышны птицы и редкий шелест листьев. Я ополоснула лицо и руки в источнике, таком мелком, что можно было коснуться ледяных камешков на дне. Рассмотрев храм, я увидела, что это очень незамысловатая постройка, со сводчатым входом и небольшим полосатым куполом, похожим на половинку арбуза. Внутри храм был щедро побелен, видимо, к каждому празднику стены и потолок второпях покрывали свежим слоем краски; решетчатое окно пестрело красными нитями, которые привязали молящиеся. Гробницы не было — местонахождение Баба Фирдауша во время его смерти осталось неизвестно, — но в центре стоял небольшой надгробный камень. На нем лежало несколько цветочных гирлянд, в основном увядших, но и одна-две — свежих. Место казалось таким заброшенным, полным такой тишины и одиночества, что было удивительно: кто мог оставить здесь цветы?

Когда Индер Лал проснулся, я достала принесенные бутерброды. Он никогда раньше не пробовал бутербродов, но ел с интересом, как всегда с удовольствием узнавая что-то новое. Другим новшеством для него стала поездка на прогулку с одной спутницей вместо обычной толпы родственников и друзей. Он сказал, что ценит беседу, которая возможна только с глазу на глаз, когда каждый может поделиться тем, что у него на душе. Я ожидала откровений, но он лишь задавал избитые вопросы об английских пикниках. С любопытством слушая мои ответы, он продолжал допытываться о мелочах.

“Для моего сведения”, — говорил он. Он часто пользуется этим выражением, когда расспрашивает меня о чем-то. Кажется, он получает огромное удовольствие от сбора ненужной информации, которую затем хранит, чтобы воспользоваться ею в будущем. Его мать так же поступает с вещами. Я видела, как она благоговейно подбирает и разглаживает выброшенные мной обертки от шоколада, пробки, пустые бутылки, лоскутки. Она припрятывает их в огромный сундук, и когда я спрашиваю, для чего, то очень удивляется. Для нее — и для него — каждый обрывок полезен или может стать таковым в будущем.

— Смотри, что я принес, — сказал Индер Лал.

Он вытащил два обрывка красной нити и сказал, что нам нужно привязать их к решетке храма, и тогда исполнятся наши желания. Сняв сандалии, мы вошли в храм. Индер Лал первым привязал свою нить, чтобы показать мне, как это делается, затем закрыл глаза и изо всех сил пожелал чего-то.

— Я думала, это только для бесплодных женщин, — сказала я.

— Все желания будут услышаны, — сказал Индер Лал. — Теперь твоя очередь. — Он протянул мне мою нить и, с интересом наблюдая, сказал ободряюще: — Можно и вслух загадывать. Если человек один или с близким другом.

Вместо ответа я указала на свежую гирлянду, лежавшую на каменном кургане:

— Кто, по-твоему, положил ее туда? Не похоже, что здесь недавно были люди.

— Люди все равно будут приходить, даже в такие места, как это, даже в сердце пустыни, за тысячу миль отовсюду... А что ты загадала? — спросил он.

Я улыбнулась и вернулась на наше место под деревом. Индер Лал пошел за мной.

— Ну, скажи, — упрашивал он, снедаемый любопытством.

— А как ты думаешь? — но он стеснялся сказать. Теперь мне стало любопытно, что он имел в виду.

— Ну откуда же мне знать, — отбивался он. — Я же не волшебник и не умею читать чужие мысли. Но если ты мне скажешь, — добавил он лукаво, — то и я тебе скажу.

— Давай угадывать.

— Ты первая, — ему нравилась эта игра.

Я притворилась, что пытаюсь изо всех сил сосредоточиться, пока он с нетерпением смотрел на меня.

— Мне кажется, — наконец сказала я, — что это как-то связано с твоей конторой.

Его лицо тут же вытянулось в изумлении и испуге:

— Как ты узнала?

— Просто угадала.

Я тут же пожалела об этом. Индер Лал погрустнел, игра ему разонравилась. Когда я сказала, что теперь его очередь, он уныло покачал головой. Поглощенный своими невзгодами, он потерял интерес к моим желаниям.

Но теперь мне хотелось, чтобы ему было интересно. Мне очень хотелось, как он сказал, открыться кому-то. Но ведь это трудно, даже если собеседник полностью осведомлен о ваших делах, да и как признаться *ему* — кому все мои трудности совершенно чужды! Пожелай я что-нибудь определенное — мужа, например, ребенка или избавления от врага, — я бы с радостью поделилась с ним. Но на самом деле хоть я и повязала свою нить рядом с остальными, ничего такого мне в голову не пришло. Не то чтобы моя жизнь была так совершенна, что и желать нечего, совсем напротив, в ней отчаянно не хватало необходимого, и *одним* желанием заполнить пустоту было невозможно.

Однако в ту минуту у меня было желание, и очень сильное: желание близости. И поскольку словами этого было не выразить, я накрыла его руку своей. Теперь он взглянул на меня совершенно по-другому. Не осталось ни следа пропавшего интереса! Но что это было, сказать трудно. Я чувствовала, как его рука дрожит под моей, а затем увидела, что и губы у него дрожат. То ли потому, что он собирался что-то сказать, то ли от желания или страха. Страх точно был в его глазах, когда он посмотрел на меня. Он не знал, что теперь делать и что буду делать я. Я видела, — это было нелепо! — все, что он когда-либо слышал о западных женщинах, вихрем пронеслось у него в голове. В то же время он был здоровым молодым человеком, жена находилась в отъезде, а мы были наедине в романтическом месте, которое с наступлением заката становилось все романтичнее. А так как следующий шаг был за мной, я сделала его, и Индер Лал не замедлил с ответом. После он пошутил так же, как Наваб, что́ именно произошло здесь в настоящий День мужниной свадьбы, дабы бесплодная жена понесла.

1923

Однажды Гарри прибыл на машине, посланной за Оливией. Она была готова тут же ехать, но он попросил разрешения немного отдохнуть перед обратной дорогой. Он все сидел и сидел и, похоже, готов был провести так весь день. Несколько раз Оливия говорила:

— Если мы вскоре не выйдем, будет слишком жарко.

– Сыграйте что-нибудь, – сказал он, указывая на пианино. – Пожалуйста, я сто лет вас не слышал.

– А потом мы поедем, – стала торговаться она.

Она села за пианино и заиграла с обычным усердием. Она играла Дебюсси, и Гарри, откинув голову на спинку желтого кресла, прикрыл глаза и постукивал ногой от удовольствия. Но скоро она заиграла быстрее и сбилась, раз или два клавиша застряла, и Оливия нетерпеливо ударила по ней. Наконец, она сдалась:

– Я совершенно не в форме. Давайте же, Гарри, нужно ехать.

– А почему вы не в форме?

– Сейчас слишком жарко, чтобы играть. И потом, вы же слышите, в каком состоянии инструмент? – Она снова ударила по испорченной клавише. – Не подходит этот климат для пианино, вот и все. Поднимайтесь, Гарри, пора.

– Вы могли бы найти настройщика. В Бомбее.

– Не стоит. Я теперь почти не играю.

– Как жаль!

Он сказал это с таким чувством, что Оливия задумалась. Почему она перестала играть? Она никогда раньше не задавалась этим вопросом, думала, что просто очень жарко или у нее нет настроения. Но была еще какая-то причина, и она пыталась уловить, какая именно.

– Дебюсси, – сказала она, – Шуман. Это как-то... не подходит, – и рассмеялась.

– Мне подходит, – сказал Гарри.

– Здесь?

– А почему бы и нет? – Гарри оглядел комнату и повторил. – Почему нет? Вы здесь так чудесно все устроили. Просто чудесно. – Он уселся поудобнее, словно вообще не намеревался уходить. – Оазис, – сказал он.

– Опять вы за свое, – она начала сердиться. – Не понимаю, кому вообще нужен оазис. Какая в нем надобность?

– Боже ты мой, – сказал он, – вы такая несгибаемая, Оливия, кто бы мог подумать... Да вы и не болеете никогда, верно?

– Конечно нет. С чего мне болеть? – В ее голосе зазвучало пренебрежение. – Это все психика.

– Вчера мне снова было так плохо. А ведь местной пищи я не ел уже несколько недель. Не знаю, в чем дело.

– Я же говорю: дело в психике.

– Возможно, вы правы. Я и в самом деле чувствую, что с моей психикой не все в порядке. Откровенно говоря, – он снова прикрыл глаза, но теперь от боли, – мне кажется, что я больше не выдержу. – Судя по голосу, это было правдой.

Оливия рада была бы посочувствовать ему, но не могла справиться с нетерпением. Ей так хотелось ехать! А он просто сидел, без малейшего желания и пальцем шевельнуть. Из той половины дома, где жили слуги, донеслось молитвенное пение и удары барабана, и то и другое звучало на одной ноте — совершенно монотонно.

— Какое-то воспаление мозга, — сказал Гарри.

— Что?.. Ах, это. Я больше не слышу. Это уже несколько дней продолжается. У них там всегда что-то происходит, то кто-то умирает, то рождается, то замуж выходит. Может быть, поэтому я и не играю теперь. То есть, я имею в виду, одно с другим как-то не вяжется... Гарри, нужно ехать, иначе мы умрем от жары по дороге.

— Я не поеду, — сказал Гарри.

На мгновение она растерялась. Голос у нее задрожал:

— А как же машина?

— Отошлем обратно.

Оливия уставилась на носки своих белых туфель. Она сидела совершенно неподвижно. Гарри наблюдал за ней, но она притворялась, будто не замечает. Наконец он сказал:

— Что с вами, Оливия? — он говорил очень мягко. — Почему вам так хочется ехать?

— Нас ждут. — Услышав со стороны, как нелепо это звучит, она еще больше рассердилась на Гарри. — Вы же не думаете, что мне нравится сидеть здесь день за днем, глядеть на стены и ждать, пока Дуглас вернется с работы? Теперь я вижу, что так и с ума можно сойти... Как миссис Сондерс. Сидеть дома и представлять себе бог знает что. Я не хочу превратиться в миссис Сондерс. Но если буду сидеть дома одна, то именно это и случится.

— Поэтому вам нравится ездить во дворец?

— Дуглас знает, что я езжу во дворец. Он знает и о том, что доктор Сондерс там был — он сам с ним говорил, — и что я вас навещаю.

— Вот именно, *меня*.

Эта фраза повисла в воздухе и не исчезла даже после того, как Оливия ответила:

— Вы просто ревнуете, Гарри, вот в чем дело. Ну конечно! — она рассмеялась. — Вы хотите быть единственным, я имею в виду — во дворце, единственным гостем. — Последние слова она проговорила быстро, но недостаточно быстро. Покраснев, она поняла, что запуталась.

— Ну что ж, — сказал Гарри. — Поедем.

Он поднялся и двинулся к двери, надевая тропический шлем. Теперь уже ей захотелось повременить с выходом — из

гордости или из желания доказать свою невиновность. На мгновение она заколебалась, но в конце концов обнаружила, что и того и другого у нее недостаточно. Она быстро последовала за Гарри к автомобилю.

Путешествие было неприятным, и не только из-за жары и пыли. Они едва разговаривали, словно сердились друг на друга. Хотя Оливия вовсе не сердилась на Гарри и раз или два пыталась заговорить с ним, но с таким же успехом могла бы этого не делать. Она не в силах была произнести вслух то, что так ее тревожило, из страха сказать больше, чем собиралась, или — что Гарри поймет ее неправильно.

Вдруг Гарри сказал:

— А вот и он.

Поперек дороги стояла красная спортивная машина с открытым верхом. Когда они подъехали, Наваб в клетчатой кепке и мотоциклетных очках встал в машине и начал жестикулировать, как регулировщик движения. Они остановились, и он сказал:

— Где же вы были? Я жду и жду.

Он выехал им навстречу, так как хотел посмотреть храм Баба Фирдауша. Сидеть взаперти утомительно, объяснил он. Наваб пригласил их перебраться к нему в машину, которую вел сам. Когда Гарри сказал, что ему не хочется и что он лучше поедет домой, Наваб, не тратя на него времени, сказал:

— Поедемте, Оливия.

Она тоже не стала тратить время попусту и села рядом с Навабом. Они поехали в одном направлении, а шофер повез Гарри — в другом. Видно было, как он сидит один, бледный и недовольный, на заднем сидении лимузина.

— Что это он такой сердитый? — спросил Оливию Наваб. — Вы думаете, он болен? Ему плохо? Он вам что-нибудь говорил?

Наваб действительно очень беспокоился и бóльшую часть пути говорил о Гарри. Говорил, что знает, как Гарри тоскýет по дому и хочет вернуться в Англию, чтобы повидать мать, и он, Наваб, желал бы, чтобы тот поехал, но в то же время ("Оливия, вы понимаете, или, как по-вашему, это очень эгоистично?") никак не мог расстаться с ним.

— Я вижу, вы считаете меня очень эгоистичным, — заключил он печально.

Она знала, что возражать нет необходимости. Ей была отведена роль слушательницы, и ее это устраивало. И потом, можно было иногда украдкой посматривать на него, сидящего рядом за рулем, в кепке и очках.

— Я частенько готов был сказать ему: "Гарри, ваша мать мечтает, чтобы вы вернулись домой, и вы тоже, поэтому ез-

жайте". Иногда я так ему и говорил. Но когда все было готово, каюта зарезервирована и вещи собраны, я в последний момент ломался. Не мог перенести разлуки. И приходил его черед говорить: "Я останусь..." А теперь мы выйдем и пойдем пешком, вам будет не слишком жарко, Оливия?

Он повел ее за собой вверх по каменистой тропе к могиле Баба Фирдауша. Он продолжал говорить, а она слушала и даже не чувствовала палящего солнца.

Он сказал:

— Есть люди, чье отсутствие делает жизнь невыносимой. Как-то я спросил одного аскета из Аджмира (очень святого человека): "Почему именно эти люди? Почему они, а не другие?" Мне очень понравился его ответ: "Это те, кто однажды сидел с тобой рядом в раю". Красивая мысль, правда, Оливия? Будто мы однажды сидели рядом в раю.

Они пришли к роще. Наваб раздвинул перед ней ветви, и они вошли. Но из храма тут же высыпали какие-то люди. Оливия замерла от ужаса. Вооруженные мужчины потрепанного вида на мгновение свирепо уставились на Наваба и Оливию. Но секундой позже, осознав, кто перед ними, пали перед Навабом ниц.

Наваб велел Оливии сесть под деревом. Она смотрела, как он разговаривает с ними — непринужденно, как с хорошими знакомыми. Головорезы же стояли перед ним с выражением смирения и восхищения на лицах. Она была уверена, что это бандиты. Она рассматривала их: выглядели они точь-в-точь, как средневековые разбойники, но никто из них ни разу не осмелился бросить взгляд в ее сторону. Наваб их быстро отпустил и позвал ее в храм.

— Поглядите, что я принес, — сказал он.

И показал две красные нити. Сначала Оливия привязала свою нить, а затем он — свою. После он спросил:

— Чего же вы пожелали?

— А разве можно рассказывать?

— Только если вы вдвоем... Вы знаете, зачем женщины сюда приходят? О чем просят? Вы о том же попросили?

— Да, — ответила она.

— А...

Они помолчали, а затем он сказал:

— Предрассудки все это. Хотя, может, и правда. Вполне возможно: существует множество историй о здешних чудесах. Вы слышали историю о Дне мужниной свадьбы? Это, конечно, ненаучно, и образованные люди, вроде нас с вами...

— Но нити ведь мы повязали.

— Это так, для развлечения.

— А кто были те люди?

Он не сразу ответил, а когда ответил, то вопросом на вопрос:

— А как вы думаете? — Он бросил на нее проницательный взгляд, а затем рассмеялся: — Полагаю, вы думаете, что это плохие люди. Вы, наверное, много историй слышали, правда? И вы им верите. — И снова она почувствовала, что не должна ни оправдываться, ни отвечать ему. — Но если это и в самом деле правда, — продолжал он, — то, полагаю, вряд ли они такие уж плохие, подумайте, зачем они сюда приходили. — Он указал на каменный курган в храме: там лежали свежие цветочные гирлянды и еще дымились палочки благовоний. — Видите, не со злым умыслом они пришли, а помолиться.

Он посмотрел на нее, словно проверяя, как она отзовется. Но она никак не отозвалась — она была целиком поглощена своими физическими ощущениями. Рощу окружала огромная стена жары, тут и там проникавшей сквозь листву. Они остались вдвоем, и довлеющее присутствие Наваба теперь магнетизировало только ее.

— Идемте, — сказал он. — Посидите со мной.

Они сели на ступени, ведущие в храм. Наваб заговорил с ней мягким, убеждающим голосом:

— Возможно, они и вправду были преступниками, но все же, понимаете, они пришли сюда помолиться и попросить о чем-то своем. Как и мы с вами. — Он немного помолчал, как будто давая ей время осмыслить истину его слов, а может, чтобы она ощутила единство, возникшее между ними. — Вот теперь, когда мы уйдем отсюда, вы поедете домой, в Сатипур, и скажете: "Да, мол, Наваб — дурной человек, теперь я сама имела случай в этом удостовериться, он встречается с бандитами, он с ними на короткой ноге". Скажете ли вы так, Оливия?

Теперь он ждал ответа, и она не стала медлить.

— Неужели вы в самом деле думаете, что я так скажу? — произнесла она с таким искренним возмущением, что его это удовлетворило. Он почтительно коснулся ее руки кончиками пальцев.

— Нет, не думаю, — сказал он. — Поэтому я и открываюсь вам и все рассказываю... Прошу вас, не думайте, что я хочу слышать о себе только похвалы — дескать, какой я достойный и благородный человек. Конечно нет. Мне бы хотелось быть достойным и благородным — нам всем нужно к этому стремиться, но я понимаю, как далек от цели. Очень, очень далек, — сказал он обескураженно.

— А кто близок! — откликнулась Оливия. Он коснулся ее руки так же, как раньше. Ей одновременно хотелось и чтобы Наваб убрал руку, и чтобы сделал это снова.

— Вы правы. Все мы далеки. Но некоторые люди, и таких немало, — он сделал паузу, давая ей возможность догадаться, кого он имел в виду, — они берутся судить других: это, мол, хорошо, а это плохо, — как будто они всеведущи. Кто такой майор Минниз, откуда у него право говорить, что мне можно делать, а чего нельзя? Мне! — сказал он, указывая на себя и как бы сам себе не веря. — Навабу-саибу Хатма. — На мгновение он словно потерял дар речи.

Вам известно, как мы получили титул? Произошло это в 1817 году. Мой предок, Аманулла Хан, сражался долгие годы. Иногда воевал за махратов, иногда за раджпутов, моголов, британцев. Неспокойные были времена. Он скакал со своими людьми повсюду, где шли сражения, сулившие добычу. Им всем нужно было на что-то жить! Временами, когда ему не хватало денег платить воинам, они восставали против него, и ему приходилось бежать не от врагов, а от собственных людей, представляете? Но когда ему сопутствовала удача, они возвращались, и к ним присоединялись другие. Вот и получалось, что иногда он оказывался наверху, а иногда — в самом низу. Такая уж была у него жизнь. Оливия, я ему завидую. Его имя нагоняло ужас на всех, включая британцев! Когда укротить его никакими средствами не удавалось, его звали в сообщники. О, они были такими хитрыми, всегда знали, как извлечь выгоду. Ему предложили земли и доходы Хатма, а также титул Навабов. Поскольку он тогда был совсем обессилен, то согласился, принял титул и осел здесь. Потому что устал. — Наваб помрачнел. — Но и сидя во дворце, можно устать. Уж лучше остаться без гроша, но сражаться с врагами и убивать их. Как будто ничего лучше и быть не может. Как вы думаете, Оливия, разве не лучше встретить врагов лицом к лицу, чем позволить им замышлять всякое у вас за спиной и распространять о вас клевету? Я думаю — лучше! — воскликнул он, внезапно разволновавшись.

Оливия протянула руку и положила ладонь ему на грудь, словно успокаивая. Наваб и вправду успокоился и сказал:

— Вы так добры ко мне. — И крепко прижал ее руку к груди. Оливия ощутила всю силу его притягательности — ничего похожего она никогда не испытывала ни в чьем присутствии. — Послушайте, — сказал он, — однажды принц Марвар чем-то его рассердил. По-моему, подал ему опиум не в той чаше или что-то подобное — в общем, сущий пустяк, но Аманулла Хан был не из тех, кто спокойно переносит оскорбления. Не то, что я. — Когда она начала было возражать, он сказал: — Мне приходится, что же делать! Я бессилен... Так вот, он устроил пир для этого принца и его вассалов. Поставили специ-

альную палатку, и, когда все было готово, гости прибыли на пир. Аманулла Хан поприветствовал своего врага у входа в палатку и сердечно обнял его. А когда приглашенные вошли внутрь, он подал тайный знак своим людям перерезать веревки, и принц Марвар со всей своей ратью запутался в холсте. Они угодили в ловушку, словно звери, а Аманулла Хан и его люди выхватили кинжалы и стали вонзать их в ткань палатки, пока никого из врагов не осталось в живых. У нас все еще хранится эта палатка, и кровь на ней так свежа, Оливия, словно это произошло вчера.

Должно быть, он почувствовал, что Оливия пытается убрать ладонь с его сердца, и прижал ее к себе крепче. Теперь Оливии было не ускользнуть, даже если бы она хотела. — Не здесь, — сказал он. Наваб увел ее от храма, и они легли рядом под деревом. После он пошутил: — Вот в чем тайна Дня мужниной свадьбы.

— Зачем же ты заставил меня повязать нить? — спросила она.

А он все смеялся и смеялся, довольный ею.

* * *

31 июля. Маджи сообщила мне, что я беременна. Сначала я ей не поверила — невозможно знать так рано, даже если это правда, но она была совершенно уверена. Более того, она предупредила, что мне следует быть начеку, ибо скоро все повитухи города начнут предлагать свои услуги. Они всегда знают, сказала она, гораздо раньше всех. Они узнают по тому, как женщина двигается и держится. Это их промысел, и у них всегда ухо востро: ищут клиентуру. Несомненно, сказала она, скоро они выйдут на меня.

Она говорила так убежденно, что я начинала ей верить. Я полагала, что у нее есть как бы второе зрение: мне всегда казалось, что она наделена какими-то недоступными обычным людям способностями. Однажды у меня болела голова, и Маджи положила ладонь мне на лоб. Не могу описать то странное ощущение, которое я испытала. И длилось оно несколько дней. Поэтому я решила, что Маджи больше ничем не может меня удивить, пока она как-то не упомянула вскользь, что знает о моей беременности, так как сама когда-то была акушеркой. Это изумило меня больше, чем если бы у нее и вправду обнаружились сверхъестественные способности.

Моя реакция ее рассмешила. А как я полагала, она что — всегда вела такую праздную жизнь? Ничего подобного. Она была замужем и родила несколько человек детей. К сожалению, муж зарабатывал мало, предпочитал выпивку и ошивал-

ся с друзьями у бара, так что семейное бремя легло на нее. Мать и бабка у нее были повитухами, и обе научили ее всему, что умели сами. (Я подумала, что ее мать и бабка могли быть теми самыми женщинами, что помогали Оливии! Вполне возможно.) После смерти мужа, когда дети стали самостоятельными, она оставила свою профессию и провела несколько лет, путешествуя и обучаясь в святых местах. В конце концов, она вернулась сюда, в Сатипур, и построила себе хижину. С тех пор о ней заботились друзья, приносившие ей еду, так что беспокоиться ей совершенно не о чем. Дети живут далеко, но иногда то один, то другой приезжают ее навестить или присылают письма.

Я была так удивлена ее рассказом, — мне и в голову не приходило, что у нее была мирская жизнь, — что совершенно забыла о том, что она сказала обо мне самой. Маджи сама мне напомнила — положила руку мне на живот и спросила, что я намереваюсь делать. И добавила, что поможет, если я захочу; я сначала не поняла, о чем это она, и только когда она повторила, догадалась, что речь идет об аборте. Она сказала, что я могу ей довериться и что, хотя практиковала она много лет назад, она прекрасно помнит все, что нужно, об этих вещах. Аборт можно произвести несколькими способами, и за время практики она испробовала их все. Без этих умений нельзя быть акушеркой в Индии, так как во многих случаях это единственный способ спасти людей от бесчестия и страданий. Она рассказала мне о разных случаях, когда делала аборты именно по этой уважительной причине, и мне было так интересно, что я снова забыла о себе. Но потом, по пути домой под дождем — начались муссоны, — я задумалась. Тогда мне было, пожалуй, просто весело и любопытно, и я перепрыгивала через лужи, стараясь не попадать в них, и смеялась над собой, когда все равно ступала и брызги летели на меня.

15 августа. Вернулся Чид. Он так изменился, что я его сначала не узнала. На нем больше не было оранжевой хламиды, теперь он приобрел пару брюк цвета хаки, рубашку и ботинки. Четки и плошка для подаяний тоже исчезли, а сбритые волосы начали отрастать коротенькой щетиной. Из индуистского аскета он превратился в то, что можно определить лишь как мальчика-христианина. Преображение это было не только внутреннего свойства. Он стал очень тихим и не просто перестал напевно бормотать, но и вообще почти перестал говорить. Вдобавок, он снова хворал.

Кроме походов в уборную, Чид бóльшую часть времени спит в углу моей комнаты. Он ни словом не обмолвился о

том, как и почему он расстался с матерью Индера Лала и Риту. Я также не имею ни малейшего понятия о том, что с ним произошло и почему повлекло за собой такую перемену. Говорить он об этом не хочет. Все слова, на которые он способен, сводятся к фразе: “Не выношу этого запаха”. (Я-то знаю, о чем он — о запахе людей, которые живут и едят по-другому; я раньше всегда его замечала, еще в Лондоне, когда оказывалась вблизи индусов в переполненных автобусах или вагонах метро.) Чид больше не переносит индийскую пищу. Он ест только безвкусную отварную еду, а больше всего ему нравится, когда я варю ему английский суп. Запах местных кушаний исторгает у него самый настоящий вопль отвращения — так сильно его тошнит.

Индер Лал в нём страшно разочарован. Он все ждет, что вот-вот вернутся возвышенные религиозные порывы, но у Чида ничего не осталось от прежних увлечений. В любом случае, его возвращением Индер Лал недоволен. Должна объяснить, что со времени того пикника у храма Баба Фирдауша, мои отношения с Индером Лалом изменились. Теперь он по ночам приходит ко мне в комнату. Для соседей делает вид, будто ложится спать внизу, но, когда стемнеет, потихоньку пробирается ко мне. Я уверена, что все всё знают, но это не имеет значения. Никому нет дела. Люди понимают, что он одинок и тоскует по семье, а без семьи никто жить не должен.

После того как Чид снова поселился у меня, Индер Лал поначалу стеснялся своих ночных визитов. Но я убедила его, что в них нет ничего страшного, так как Чид почти все время спит. Он просто лежит себе и стонет, и невозможно поверить, что это тот самый человек, который так изводил меня когда-то. Индер Лал и я лежим в моей постели с другой стороны, и быть с ним становится все восхитительнее. Теперь он мне полностью доверяет и обращается со мной очень нежно. Мне кажется, он предпочитает быть со мной в темноте. Тогда ничего не видно, и все остается только между нами двоими. Я также думаю, что ему помогает и то, что он меня *не видит*, — я прекрасно знаю, что моя внешность всегда была для него камнем преткновения. Во тьме он может об этом не думать, да и стыдиться других не приходится. Он способен совершенно потерять голову, что часто и происходит. Я имею в виду не только физическую сторону дела, хотя и ее тоже, но все его существо, всю его нежность и игривость. В такие мгновения я вспоминаю о многочисленных историях, которые рассказывают о Кришне-ребенке и его шаловливых выходках. А еще я думаю о своей беременности как о части его существа. Но ему я еще о ней не говорила.

Я *пыталась* сказать. Специально зашла за ним в контору и повела через дорогу, на британское кладбище, так как это было самое укромное место, которое пришло мне в голову. Место это его совершенно не интересовало, он никогда и не думал заглядывать сюда. Единственное, что произвело на него впечатление, это итальянский ангел Сондерсов, который и сейчас возвышается над остальными могилами, — но не в кротком благословляющем жесте, а лишь в виде безглавого и бескрылого туловища. Индера Лала его увечье ничуть не смутило. Вероятно, ему оно показалось естественным — он вырос среди безруких Апсар и безголовых Шив, сидящих верхом на том, что оставалось от их быков. В этом обличье ангел утратил свой итальянский вид и приобрел индийский.

Я показала ему могилу лейтенанта Эдвардса и прочла надпись: "Добрый и терпеливый отец, но более всего человек..."

— Это означает, — объяснила я Индеру Лалу, глядя на него, — что лейтенант был хорошим мужем и отцом. Как ты.

— А что делать? — последовал странный ответ.

Мне кажется, он имел в виду, что у него нет выбора, кроме как быть хорошим мужем и отцом, раз уж он оказался заброшен на эту жизненную сцену, хотел он того или нет. Вообще-то, думаю, не хотел. В любом случае, о своей беременности я решила ему не говорить. Не хочу ничего портить.

1923

Когда Оливия узнала, что беременна, Дугласу она ничего не сказала. Она все откладывала и откладывала, и в конце концов получилось так, что сначала она сказала Навабу.

Однажды утром, приехав во дворец, она увидела, что все куда-то спешат, носят какие-то вещи, пакуются и дают друг другу противоречивые указания. Даже Гарри собирал вещи у себя в комнате и, похоже, был в хорошем расположении духа. Он обьяснил, что они наконец едут в Массури — бегум решилась вчера вечером. Одна из ее придворных дам занемогла, и ей порекомендовали смену обстановки; вот бегум и заявила, что поедут все. Она посчитала, что и Гарри это пойдет на пользу, уж очень она о нем беспокоилась.

— Вот как? — сказала Оливия. — Вы часто с ней видитесь?

С того самого дня, когда Гарри отметил, что путь на женскую половину дома для Оливии заказан, о бегум они не говорили. Но Оливия знала, что Гарри там принимают как близкого человека.

— Каждый день, — сказал он. — Мы играем в карты, ей нравится. — Он сменил тему. — Наваб тоже говорит, что ему здесь наскучило, поэтому сегодня собираются все.

— Наскучило?

— Так он сказал. Но за этим кроется что-то еще, — он нахмурился, продолжая тщательно упаковывать вещи.

— Что же еще?

— Не знаю, Оливия. — Хотя говорил он с неохотой, ему, видимо, нужно было облегчить душу. — Ничего определенного он мне не сказал, но я чувствую: что-то висит в воздухе. Майор Минниз, кстати, сейчас у него. Вы видели его машину у дворца? Я боялся, что вы столкнетесь на лестнице.

— А что тут такого? Я навестить вас приехала.

— Ну да, — он продолжал собираться.

Она нетерпеливо его прервала:

— Перестаньте же, Гарри, и скажите, что происходит. Мне нужно знать. — Стоя по-прежнему на коленях, он повернулся и глянул на нее так, что она тут же поправилась: — Мне бы хотелось знать.

— Мне тоже, — сказал Гарри. Он перестал возиться с чемоданом и сел рядом с ней. — А может, и не хотелось бы. Иногда мне кажется, что лучше ничего не знать.

Они замолчали. Оба смотрели вниз на сад через раму решетчатого окна. В водных каналах, перечеркивающих лужайки, отражалось небо, которое двинулось и поплыло под парусами облаков.

Гарри сказал:

— Я знаю, что у него масса неприятностей. Уже сколько лет это продолжается. Финансовые сложности — Хатм разорен, да еще и вся эта история с Сэнди и Кабобпурами, которые жалуются на него каждому встречному и пытаются затеять судебную тяжбу по поводу ее приданого. Конечно, из-за этого он делается все более непримиримым и рвется ответить на их выпады, хотя и не может себе этого позволить. Из Симлы тоже веет враждебностью, я знаю, что у него было несколько очень неприятных бесед с майором Миннизом. *Терпеть не могу*, когда майор сюда приезжает. — Он залился краской и, казалось, не хотел продолжать, но снова заговорил: — Потому что после этих визитов он всегда очень расстроен. Сами увидите, когда он поднимется наверх. Обычно он на мне отыгрывается — не подумайте, что я жалуюсь, боже упаси, — я рад, если ему от этого легче. Я ведь вижу, как ему больно. Он очень-очень чувствителен, Оливия, и потом, когда майор Минниз так с ним разговаривает, угрожает...

— Да как все они смеют! — вскричала Оливия.

— Понимаете, он лишь небольшой владетель, им не обязательно с ним осторожничать, не то что с семьей Кабобпуров. А он это чувствует. Он знает, кто он такой по сравнению с остальными. Видели бы вы старого Кабобпура, просто отвратительная свинья, ничего благородного. Ну а *он*, конечно...

— О да.

Они услышали его голос, его безошибочно узнаваемые шаги на лестнице. Оба ждали. Наваб ворвался без стука, что было на него непохоже: в обычных обстоятельствах он всегда входил в покои гостей со всей возможной учтивостью. Но сейчас он был очень возбужден. Он сразу прошел к окну и сел, кипя гневом.

— Я поговорю лично с вице-королем, — сказал он. — С Миннизом или с кем другим толковать бесполезно. Все равно что со слугами. Я со слугами не общаюсь. — У него раздувались ноздри. — В следующий раз я откажусь принять его. И порву все письма, которые у него хватит наглости мне присылать, а ему отправлю обрывки. — Он повернулся к Гарри: — И *вы* их ему отвезете. Швырнете в лицо и скажете, что таков мой ответ. Впрочем, вряд ли вы согласитесь. — Тут он бросил гневный взгляд на Гарри, который сидел, опустив глаза. Оливии тоже не хотелось смотреть на Наваба.

— Боитесь, да? Боитесь майора Минниза и других, ему подобных, тварей? Отвечайте! Не сидите, как пень, отвечайте! Оба вы с майором хороши. Не знаю, ради чего вы здесь со мной живете. Вам нужно быть с ним и с остальными англичанами. Вы только им сочувствуете, а мне — ни капли.

— Вы же знаете, что это неправда, — Гарри изо всех сил старался говорить спокойно и разумно.

Это привело Наваба в еще большую ярость. Он повернулся к Оливии:

— Теперь он со мной англичанином притворяется. Такой уравновешенный и тихий, никогда не теряющий присутствия духа. В майора Минниза играет. Совсем не такой, как эти ужасные восточные люди. Оливия, вы их тоже ненавидите и презираете? Конечно. И правильно. Потому что мы все — недоумки со всякими эдакими чувствами, нас можно топтать в свое удовольствие. Англичанам повезло — они лишены чувств. Посмотрите на него, — сказал он, указывая на Гарри. — Он уже столько лет рядом со мной и что же? Значу ли я что-нибудь для него? Видите, даже возражать не пытается. — Наваб сидел у окна, и его профиль вырисовывался на фоне садов и неба: истинный портрет правителя на фоне владений: — И вам, — сказал он Оливии. — Вам тоже все равно.

— Вот как? Тогда зачем я здесь?

— Приехали навестить Гарри. Вам с ним хочется проводить время. И я очень благодарен вам за то, что вы так хорошо к нему относитесь, без вас ему здесь было бы совсем скучно и одиноко. Да и здоровьем он слаб. — Он поднялся, подошел к Гарри и любовно коснулся его плеча.

Гарри сказал:

— Это невыносимо.

— Понимаю. Я — невыносимый человек. Майор Минниз прав.

— Я не это имел в виду.

— Но это правда.

Он вышел, и Оливия последовала за ним. Когда он спускался по лестнице, она окликнула его по имени, чего никогда не делала раньше. Он остановился и взглянул на нее удивленно.

Оливия подбежала к нему, и, когда они встретились на ступеньках, она еще совершенно не представляла себе, что ему скажет. После, размышляя обо всем случившемся, она пришла к выводу, что говорить о беременности тогда не собиралась. Но именно это она и сделала. Говорить пришлось, понизив голос, да и он не мог слишком уж откровенно демонстрировать свои чувства, так как во дворце на каждой площадке рядом находились слуги, а за занавесями вечно сновали придворные дамы.

После этого было бы нечестно не сказать Дугласу, и она сказала тем же вечером.

На следующий день она ждала Дугласа и майора Минниза, который был приглашен на ужин; но около восьми Дуглас прислал посыльного с запиской, в которой предупреждал, что они опоздают. Опять что-то стряслось, но он не стал объяснять что. Оливия ждала их на веранде. Она ждала весь день, но не Дугласа — а весточки из дворца. Не дождалась. И ума не могла приложить, что случилось: все должны были отправиться в Массури, но не уехали же они, не повидавшись или не написав ей? Она уже решила, что если они поедут, то поедет с ними. А Дугласу скажет, что не в силах больше выносить жару и ей срочно нужно перебраться в горы. Сидя здесь в одиночестве, ожидая неведомо чего, Оливия поняла, что не сможет здесь остаться.

Но когда Дуглас с гостем в конце концов приехали, она постаралась справиться со своими расстроенными чувствами и играть отведенную ей роль. Она сидела за обеденным столом между белыми свечами в кружевном платье — тоже белом и болтала с ними о вечеринке с шампанским на Каме, куда они однажды попали с Марсией, и там перевернулась одна из лодок. Все это время она чувствовала, как напряжены и

встревожены оба мужчины — не меньше, чем она сама. Когда она оставила их наслаждаться бренди и сигарами, до нее по-прежнему доносились их взволнованные голоса, а когда они присоединились к ней на веранде, то оба были мрачнее тучи.

— Скажите же, что случилось? — умоляюще спросила она.

Они заговорили с неохотой (майор Минниз выразил сожаление о том, что это испортит им всем настроение). Конечно, опять Наваб. Его бандиты, вместо того чтобы держаться своей территории — Хатма, забрались на землю, подведомственную мистеру Кроуфорду. Ограбили деревню в каких-нибудь пяти милях от Сатипура и улизнули с наличными и драгоценностями. Никто не погиб, но с несколькими местными жителями, которые попытались спрятать свои ценности, обошлись довольно жестоко. Одной женщине отрезали нос. Как только отчет о происшедшем достиг Сатипура, мистер Кроуфорд и Дуглас известили майора, и тот немедля приехал во дворец. Наваб отказался его принять.

— Но ведь они все уехали в Массури, — сказала Оливия. И осторожно добавила: — Гарри мне сказал, я его вчера видела.

— Они были готовы уехать, но, как обычно, бегум передумала, — сказал майор Минниз. — Уж не знаю, что было на этот раз, по-моему, кто-то услышал сову, что, конечно, ничего хорошего не предвещает, тем более перед путешествием, так что всем пришлось снова распаковаться.

Оливия нарочито засмеялась — якобы над плохой приметой. Она обрадовалась — камень свалился с души: они не уехали, они здесь!

Майор Минниз сказал:

— Меня совершенно не удивил его отказ принять меня: к сожалению, вчера у нас был довольно трудный разговор. Очень его... расстроивший.

— Какая дерзость, — гневно сказал Дуглас. — Надеюсь, в Симле больше не станут с ним церемониться.

— Похоже, не станут. Жернова в Симле вращаются медленно, но мелют очень мелко. Боюсь, что именно из-за того, что я представил ему дело в определенном свете, он и пришел в ярость.

— И это вас удивило? — спросила Оливия.

Она почувствовала, как майор Минниз смотрит на нее из темноты веранды. Кончик его сигары тлел, когда он затягивался.

— Нет, — спокойно ответил он.

Дуглас же кипел от негодования:

— Пора его проучить.

— Ты говоришь о нем, как о школьнике! — воскликнула Оливия.

Майор Минниз, справедливый и благоразумный, казалось, хотел их умиротворить.

— В каком-то смысле, — сказал он, — он хороший человек. У него есть достоинства, ах, если бы только они совмещались с выдержкой и самодисциплиной... — И снова Оливия почувствовала его взгляд в темноте, а он продолжал: — Почему-то я им восхищаюсь. Думаю, и вы тоже.

— Да, — сказала Оливия.

Он кивнул:

— Вы правы. Нет, — сказал он, когда Дуглас начал было возражать, — давайте по-честному. Он — сильная, волевая личность, и при других обстоятельствах я бы уважал его, — теперь, казалось, он обращался только к Оливии. — Как вам известно, я уже много лет имею с ним дело, и порой случались, не буду отрицать, большие неприятности.

— Еще какие! — вокликнул Дуглас, не в силах сдержаться. — Он представляет опасность для самого себя, для нас и для несчастных подданных своей несчастной земли. Худший вариант индийского правителя, худшего не сыщешь.

— Возможно, вы правы. Даже несомненно правы, — сказал майор. Он надолго замолчал, задумавшись, и, наконец, сказал, неторопливо, словно желая признаться: — Иногда мне кажется, я не гожусь для Индии. Мы с Мэри это обсуждали. Не то чтобы на каком-либо этапе карьеры я думал о смене работы. Отдать эту должность другому — нет, ни за что! — сказал он со страстью, удивившей Оливию. — Но я прекрасно понимаю, что часто переступаю границу.

— Границу чего? — спросила Оливия.

— Другого измерения, — он улыбнулся, дабы не произвести слишком серьезного впечатления. — Похоже, я позволил себе увлечься. Вот Наваб, например, — не могу отрицать, он меня привлекает. Как я уверен, и вас, — повернулся он к Оливии.

— Боже, дорогая, — рассмеялся Дуглас, — в самом деле?

— Ну, как сказать, — Оливия тоже засмеялась в ответ, — он и в самом деле привлекателен. И потрясающе хорош собой.

— Правда? — спросил Дуглас так, словно никогда не воспринимал Наваба в таком свете.

— Еще бы, — сказал майор. — Он принц. Другого слова не подберешь. Жаль только, что владения его не соответствуют его амбициям и не могут удовлетворить его денежных нужд.

Дугласа это начинало забавлять:

— И что же, он совершил вооруженный грабеж из-за недостатка денег?

— И еще я думаю, что ему невероятно скучно, — продолжал майор. — Такому человеку, как он, нужно действие, ему

нужна арена. Всегда заметно, когда он особо раздосадован: начинает говорить о своем предке Аманулле Хане.

— Бандите, — сказал Дуглас.

— Он был бандитом? — спросила Оливия майора.

— Ну, искателем приключений во времена авантюристов. Вот чего нашему приятелю не хватает — приключений. Не того он типа человек, чтобы во дворце сидеть; а может, ему и не хочется быть человеком такого типа. Но это все, что у него есть, и более того, ничего другого он никогда не видел.

— Что же ему еще остается! — сказал Дуглас.

— Я знал его отца, — сказал Оливии майор. — Ну и фрукт! Большой был любитель танцовщиц, пока не побывал в Европе и не обнаружил, что имеется еще и кордебалет. Нескольких девиц привез с собой, и одна из них осталась с ним на долгие годы. Она жила в той комнате, где сейчас этот, как его...

— Гарри?

— Старый Наваб, кстати, там умер. У него случился удар, когда он был с ней... Большой знаток поэзии урду. Каждый год в Хатме бывало большое сборище — приезжали лучшие поэты со всей Индии. Старый Наваб и сам был неплохой поэт, вечно сочинял двустишия — погодите, может вспомню...

Мгновение спустя майор начал читать их на ласкающем слух урду — звучало очень красиво. Оливия смотрела вверх на небо, изборожденное рябью муссонных облаков, среди которых медленно плыла луна. И думала о своем.

— "Капли ли это росы или слезы? О Луна, твой серебристый свет все обращает в жемчуг", — перевел майор и извинился: — Боюсь, по-английски звучит не так.

— Так никогда не получается, — согласился Дуглас. В темноте он взял руку Оливии и стиснул ее. Майор продолжал читать на урду. Под его звучный и торжественный голос Дуглас шепнул жене:

— Все хорошо, милая? — Она улыбнулась в ответ, и он прижал к себе ее руку. — Ты счастлива? — спросил он, а когда она улыбнулась снова, поднес ее ладонь к губам. Майор продолжал читать, ничего не замечая и глядя в небо; его голос был полон чувства — смеси благоговения и тоски. Потом он вздохнул: — Прямо дрожь пробирает, — сказал он. — До самых костей.

— В самом деле, — вежливо сказала Оливия. Ни стихи, ни чувства майора ее не тронули. Ничего в них не было особенного. С презрением вспомнила она слова майора о том, что он якобы зашел слишком далеко. Да что он знал об этом! Не думал же он, что нагоняющее тоску чтение стихов при луне и

значит “зайти слишком далеко”! Она громко рассмеялась при этой мысли, и Дуглас, думая, что смеется она от счастья, тоже почувствовал себя счастливым.

– А вы знали, что старый Наваб умер прямо в этой комнате? – спросила Оливия Гарри.

Гарри спросил:

– А что еще вам известно?

– Что была еще какая-то танцовщица...

Он рассмеялся, а затем рассказал остальное. После смерти старого Наваба бегум не разрешила девушке покинуть дворец, пока та не вернет всего, подаренного ей Навабом. Девица – по словам Гарри, крепкий орешек из Йоркшира – попыталась кое-что припрятать, но недооценила соперницу. В один прекрасный день – а точнее, однажды ночью – танцовщица появилась в Сатипуре, и из всего ценного на ней была только одежда (атласная ночная сорочка и японское кимоно). Она была вне себя от ужаса и заявила, что бегум хотела ее отравить. Налоговый инспекор и его жена, почти поверив ей, приложили все усилия, чтобы ее успокоить, пообещали отправить в Бомбей и посадить на следующий же пароход домой. Но когда они предложили послать во дворец за ее одеждой и вещами, у девушки началась истерика – она умоляла их этого не делать. Она рассказала им историю о подвенечном наряде, который дарили нежеланной невесте в семье: стоило несчастной жертве надеть корсаж из золотой парчи, как он прилипал к телу и ядовитые масла проникали в кожу. Девушка клялась, что это правда, старый Наваб сам ей рассказывал; и все усилия спасти невесту оказались тщетны – она погибла, корчась в муках. Старуха, готовившая смертельный наряд, была все еще жива и обреталась во дворце. В женской половине за ней все ухаживали в ожидании, когда она передаст свое искусство другим. “Вы понятия не имеете, что там творится”, – содрогаясь, сказала танцовщица. Никому не удалось убедить ее, что боится она понапрасну, и, хотя бегум сама прислала ее чемоданы, девушка отказалась к ним прикоснуться и уехала в Бомбей, одевшись в то, что ей удалось одолжить у английских дам в Сатипуре.

Оливия улыбалась, слушая эту историю:

– Она просто с ума сошла. Эти старушки во дворце... А обо мне они знают? – спросила она как бы невзначай.

– О чем именно? – отозвался Гарри.

Оливия редко думала о женщинах во дворце. Иногда ей казалось, что занавеси наверху шевелятся, но она не смотрела вверх. Наваб никогда не говорил с ней о матери. Оливия понимала, что бегум принадлежит другой части его жизни и

занимает более важный уголок в его сердце, и это придавало Оливии гордости и упрямства — она тоже не собиралась говорить о его матери или даже признавать ее существование.

Наваб же был с ней нежен, как никогда раньше. Он присылал за ней каждый день и не скрывал их отношений. Он даже брал ее иногда в собственную спальню, где она раньше не бывала. Оливия следовала за ним, куда бы он ни звал ее, и делала все, чего бы он ни пожелал. Она тоже ничего не скрывала. Вспомнив, как Гарри однажды сказал, что Навабу невозможно отказать, она поняла, что это правда.

Наваб был в восторге от ее беременности. Он часто гладил ее стройные бедра, небольшой, плоский пока живот и спрашивал: "Ты и правда сделаешь это для меня?" Казалось, это его поражает. "Тебе совсем не страшно? Какая же ты храбрая!" Его удивление забавляло ее.

Наваб ни на секунду не сомневался, что это его ребенок. Он был настолько уверен, что Оливия, которая постоянно задавалась этим вопросом, не осмеливалась заговаривать на эту тему. Он стал настоящим собственником, и каждый вечер, когда приходило время отвозить Оливию домой, старался задержать ее, даже умолял остаться подольше. Это было невыносимо, и ей, в свою очередь, приходилось умолять его отпустить ее. Он говорил: "Хорошо, уезжай", и так мрачнел, что с каждым разом уезжать делалось все труднее. Но выбора у нее не было. С ужасом она ждала того дня, когда настанет время уезжать, а он скажет: "Останься".

И однажды он сказал: "Нет. Останься. Останься со мной, навсегда". А затем добавил решительно: "Уже совсем скоро. Тебе лучше быть здесь".

Оливия знала, что, если бы она спросила: "А как же Дуглас?", ответом стал бы пренебрежительный жест, ибо, по его мнению, Дуглас уже был не в счет.

Однажды в воскресенье из Амбалы приехал английский капеллан и провел службу в маленькой церкви. По окончании Оливия и Дуглас задержались во дворе — они здесь не бывали с той самой ссоры. Теперь все выглядело по-другому. Хотя солнце жарило по-прежнему, деревья — уже не пыльные, а мокрые — роняли на землю зеленую влагу. Дожди смыли пыль с могил, и теперь буквы отчетливо выделялись на их фоне, а в трещины между камнями проросли пучки травы.

Дуглас, шагая между могил, зачитывал уже знакомые надписи. Он так увлекся, что пошел слишком быстро, и Оливии пришлось окликнуть его. Оглянувшись, он увидел, как она

идет к нему в розовато-лиловом платье с воланами и таким же зонтом. Он поспешил навстречу и обнял ее прямо посреди могил. Они пошли вместе рука об руку. Он рассказывал ей об этих молодых людях, похороненных здесь, и о других его предках, лежавших на кладбищах в других местах Индии. "Отличные ребята", — сказал он. Среди них был Эдвард Риверс, один из команды молодых администраторов Генри Лоуренса в Пенджабе, и Джон Риверс, настоящий зверь, известный своим хладнокровием, погибший при падении с лошади в Мирате, и тезка Дугласа, предыдущий Дуглас Риверс, который был убит во время восстания. Он участвовал в штурме Кашмирских ворот, где погиб герой Дели — Джон Николсон. Предок Дугласа умер от ран на следующий день после смерти Николсона и был похоронен рядом с ним на кладбище в Дели. Дуглас сказал это с таким чувством, что Оливии захотелось его подразнить:

— Ты говоришь так, словно завидуешь ему.

— Ну что ж, — смущенно сказал Дуглас, — это неплохой конец... Лучше, чем спиться, — добавил он, переходя на более легкомысленный тон. — Некоторые из них так и кончали свои дни. Сидеть одному в округе может здорово наскучить.

— Одному — в окружении нескольких миллионов индусов? — не удержалась Оливия, но тут они как раз приблизились к ангелу Сондерсов, и обеспокоенный Дуглас постарался отвлечь ее внимание. Он прижал ее голову к своему плечу и не отпускал, пока они не прошли это место и не подошли к могиле лейтенанта Эдвардса. Здесь он заставил ее остановиться, потому что могила была в тени. Они постояли под сенью дерева.

— "Добрый и терпеливый отец", — прочитал Дуглас. Он повернулся поцеловать Оливию и пробормотал:

— Ты бы предпочла солдата или гражданского?

— А откуда ты знаешь, что это будет *он*?

— Ничуть не сомневаюсь... Он совершит что-нибудь стоящее, вот увидишь.

Дуглас снова поцеловал ее и провел руками по стройным бедрам и плоскому животу.

— Ты не боишься? — прошептал он. — Ты и правда сделаешь это для меня? Какая же ты храбрая.

Он думал, что ее расстроила могила Сондерсов. А может, само кладбище плохо на нее повлияло? Кладбища нагоняют мрак, особенно на женщин в ее положении. И как это часто бывало в его обращении с ней, самой утонченной и хрупкой из всех, кого он знал, он обозвал себя неуклюжим болваном и поспешил увести ее оттуда.

* * *

20 августа. У Дугласа и правда родился сын, но не от Оливии, а от второй жены, Тесси. Этот сын (мой отец) появился на свет в Индии и жил там до двенадцати лет, пока его не отправили в школу в Англии. Он так и не вернулся в Индию — к тому времени, когда он достаточно повзрослел, возвращаться было уже незачем; вместо этого он занялся антиквариатом. В пору индийской независимости Дуглас, только что достигший пенсионного возраста, вернулся домой вместе со всеми. Они с Тесси серьезно обсуждали, что лучше: уехать или остаться доживать свой век в Индии. Некоторые их знакомые решили остаться — те, кто, как и они сами, прожили тут лучшую часть жизни и полюбили эту страну всем сердцем. Сестра Тесси Бет и ее муж купили очаровательный домик в Касоли, где собирались осесть и, как они думали, провести остаток дней. Но через несколько лет стало ясно, что жить там совсем не так приятно, как прежде. Национализация Индии, конечно, была очень нужна, говорили Кроуфорды, как всегда здравомыслящие и умеющие смотреть на дело со всех сторон, но нужна она была индусам, а не самим Кроуфордам. Они тоже вернулись в Англию и купили дом в Суррее, достаточно близко от Дугласа и Тесси, чтобы часто их навещать. После того как обе женщины овдовели, бабушка Тесси переехала жить к тетушке Бет и привезла с собой любимые вещи, удвоив таким образом количество медных столиков и слоновьих бивней. Пока это было возможно, они поддерживали отношения с друзьями в Индии — Миннизы, например, жили в Ути, но постепенно все умерли один за другим или слишком состарились, чтобы поддерживать связь. Я бы с удовольствием их навестила, раз уж я, наконец, добралась сюда, но, думаю, никого не осталось в живых.

Я попыталась поговорить об этом с Чидом, полагая, что ему это может быть интересно, но — увы! Его семья никогда не имела ничего общего с Индией, и, насколько ему известно, он первый, кто когда-либо побывал здесь. Теперь ему не терпится уехать. Но его состояние, похоже, не улучшается, и вчера я убедила его пойти со мной в больницу. Доктор Гопал, главный врач, осмотрев его, тут же сказал, что кладет его. Чид согласился, не знаю, что было у него на уме, возможно, он представлял себе, как будет возлежать на прохладных белых простынях в побеленной комнате под неусыпным наблюдением сестер. На самом деле, все вышло не так. Врач вызвал одного из подчиненных и спросил, есть ли свободные койки. Таковых пока не было, но одна должна была вот-вот освободиться, так как умирал один старик. Он и в самом деле

за это время умер, и я помогла Чиду дойти до палаты и лечь в постель.

27 августа. Я навещаю Чида каждый день, чтобы ему не было скучно, и приношу еду. Больничную еду, которую выдает санитар, черпая ее из ведра и обходя палату, он есть не может. Больные сидят рядами, вытянув миски, куда им швыряют комки холодного риса с чечевицей, иногда смешанные с овощами. Только крайне нуждающиеся едят эту пищу, которую выдают со всем возможным презрением, причитающимся тем, у кого нет ничего и никого.

Один такой бедняга со сломанной ногой и ребрами лежит рядом с Чидом. Он рассказал мне, что приехал в Сатипур из своей деревни несколько лет назад и жил на то, что выручал за продажу фруктов поштучно. Он рассчитывал заработать достаточно, чтобы отправлять деньги семье, но пока не получалось, и считал, что ему все равно повезло — ведь он мог прокормить самого себя. Обычно он спит вместе с остальными нищими под старыми воротами, у выезда из Сатипура. Туда-то он и вернется, как только кости в ноге и ребрах срастутся. К сожалению, это дело не быстрое. Больше всего его донимает невозможность вставать и передвигаться; его нога прикреплена к какой-то штуке, и, что касается отправления естественных потребностей, он полностью зависит от больничных нянек. Время от времени они приходят и подсовывают под него судно, но поскольку даже полагающуюся им крошечную мзду платить он не в состоянии, они не слишком пунктуальны, когда приходит время приносить или уносить это приспособление. Однажды я обнаружила нищего в состоянии сильного раздражения, так как судно не убирали несколько часов. Я вытащила его из-под больного и понесла выливать в уборную. Поверить в то, в каком состоянии были эти туалеты, можно, только увидев их собственными глазами. Когда я вышла оттуда, мне стало дурно. Я попыталась не показывать этого, дабы никого не обидеть, но, похоже, было уже поздно. Все глядели на меня, словно я ужасно осквернила себя, и даже сам продавец фруктов отвернулся, а когда я, как обычно, предложила ему кое-что из принесенной мной еды, он отказался.

Чид ничего вокруг не замечает и даже старается всех оттолкнуть от себя. Когда бы я ни навещала его, он лежит, крепко сомкнув веки, из глаз у него иногда текут слезы. Я уже отправила его семье письмо с просьбой прислать денег на билет домой, и теперь мы оба ждем, когда деньги пришлют и когда здоровье Чида улучшится настолько, что он сможет уехать. А пока он не хочет ничего ни знать, ни видеть, а просто лежит и ждет.

Мне до сих пор неизвестно, что именно с ним произошло и так его изменило. Все, что он изредка говорит — и это единственное объяснение его изменившихся чувств по отношению к Индии, — "терпеть не могу этот запах". Я даже не знаю, что с ним не так и чем он болен физически. Я спрашивала доктора Гопала, но и тот толком не мог мне объяснить. У Чида плохо с печенью, и еще что-то с почками, да и вообще его внутренности в ужасном состоянии. Все это от плохого питания и неправильного образа жизни.

— Понимаете, — попытался объяснить доктор (как он ни занят, он всегда рад поупражняться в английском), — наш климат вам не подходит. Да что там, нам тоже. — Он рассказал, что не только люди с Запада, но и индусы страдают амебной дизентерией. Обычно они сами этого не знают, так как часто больны еще невесть чем. Перечисляя все хвори Индии, он стал красноречив. Это и правда был длинный и жуткий список, а когда доктор подошел к концу (если таковой имелся), то заключил: — Господь никогда не собирался населять это место людьми.

Тут я с ним не согласилась, и мы обсудили это по-английски. Он уже говорил мне, что в годы учебы состоял в студенческом дискуссионном клубе и отличился во многих межуниверситетских диспутах. Он и в самом деле искусно умел приправлять свое суждение острым словцом и вот как закончил наши дебаты:

— Предположим, что нам, индусам, здоровье позволяет здесь жить. А где же еще? — спросил он, делая паузу, чтобы я могла оценить его юмор. — Но больше никому, — сказал он, — никому из вас. Вы знаете, что в старые недобрые времена у вас тут были клубы только для британцев? Ну вот, это то же самое — у нас свои особенные микробы, и они предназначены только для нас. Только для индусов! Не подходить! — Он откинулся в кресле, чтобы посмеяться, и, продолжая смеяться, повернулся, чтобы воткнуть шприц в чью-то с готовностью подставленную тощую руку.

Конечно, я должна была признать, что в какой-то степени он был прав — во всяком случае, по отношению к Чиду. Нет сомнений, что организм Чида не приспособлен для жизни индусского аскета. И он совершенно разбит не только физически, но и духовно. Относится ли этот врачебный вердикт к европейской душе, а не только к телу? Соглашаться я не хочу — не хочу, чтобы это оказалось правдой. В прошлом было много людей, находившихся здесь по собственной воле. После восстания какой-то англичанин продолжал жить один за воротами Лакхнау ради покаяния. А еще какой-то годами бро-

дил по базарам в Мултане, одетый, как афганский торговец лошадьми (никто так и не узнал, кто он был такой и откуда родом, а в конце концов его убили). А та женщина-миссионер, с которой я познакомилась в свою первую ночь в Бомбее? Она говорила, что живет в Индии уже тридцать лет и готова умереть здесь, если ей это назначено судьбой. Да, а как же Оливия? Абсурдно помещать ее в тот же список, что и ищущих духовного просветления, авантюристов и христианских миссионеров, однако, как и они, Оливия осталась тут.

Я до сих пор не уверена, что в ней было что-то особенное. То есть поначалу в ней не было ничего особенного. Когда она впервые попала сюда, то, скорее всего, была именно такой, как казалась: хорошенькая молодая женщина, тщеславная, жаждущая удовольствий, немного капризная. А затем, совершив то, что она совершила, да еще и живя с этим всю дальнейшую жизнь, она не могла остаться прежней. Никаких записей о том, что стало с ней потом, нет ни у нашей семьи, ни у кого-либо другого, насколько мне известно. Хочется узнать еще и еще, но, полагаю, единственный доступный мне способ — тот же, к которому прибегла она: остаться.

1923

Пейзаж, покрытый пылью несколькими неделями раньше, теперь весь в тумане от влаги. Вид из окна Гарри был окутан облаками, и казалось, что все было видно сквозь непро́литые слезы. В воздухе, в тон настроению Гарри, стояла печаль.

Он сказал Оливии:

— Вчера у меня был с ним долгий разговор. Я говорил ему, что хочу уехать домой, что я *должен*... И он соглашался. Он понял. Он сказал, что отдаст все необходимые распоряжения, что я поеду первым классом, что все должно быть по высшему разряду.

Оливия улыбнулась:

— Я прямо слышу, как он это говорит.

— Да, — Гарри тоже грустно улыбнулся. — А еще он мне признание сделал.

— И это могу себе представить.

— Конечно. Оно, понятно, всегда одинаковое, но, Оливия, всегда искреннее! Вам так не кажется? Когда он распахивает сердце, то делает это только потому, что действительно любит... Он и о вас говорил. Прошу, не думайте, что я чем-то недоволен. Боже мой, что же я тогда буду за человек, что за друг? Совершенно буду его не достоин.

— Где он? — спросила Оливия.

— В Индоре. Вчера ему прислали вести из Симлы, ему угрожают расследованием, вот он и сидел всю ночь, составляя телеграммы, а сегодня утром уехал в Индор — проконсультироваться со своими адвокатами.

— Это правда, Гарри? Он в самом деле замешан в чем-то?

— Бог его знает. Насколько мне известно, он всегда прав, а они — нет. Ненавижу их. Именно такие люди, сколько себя помню, не давали мне жить и в школе и вообще. Если бы они только меня изводили, еще бы куда ни шло, но когда *его*, и *здесь* — нет, это невыносимо. Он и не собирается терпеть. Они его еще узнают. Слышали бы вы его вчера вечером: "Погодите, вот родится мой сын, и им будет не до смеху".

— Он так и сказал?

Она отвернулась от окна и взглянула на него так, что Гарри сразу понял, что сказал лишнее.

— А что он еще сказал? — спросила она. — Говорите, я должна знать.

— Ну, часто он говорит то, чего не думает. Когда он в таком же возбуждении... — Оливия продолжала смотреть на него, и Гарри пришлось продолжить: — Он сказал, что, когда родится его ребенок, Дуглас и все остальные будут потрясены до глубины души.

— Он имел в виду цвет кожи? — Затем она прибавила: — Как он может быть уверен? — Она посмотрела на Гарри: — Вы тоже так думаете, верно... Вы думаете, он... Что сила природы...

— А вы так не думаете?

Оливия снова повернулась к окну и выставила руку: проверить, не пошел ли дождь. Дождь шел, но так мягко, что его не было ни видно, ни слышно, и все — павильоны в саду, жемчужно-серые стены, мечеть — растворялось само собой, как сахар в воде.

— Я подумываю об аборте, — сказала Оливия.

— Да вы с ума сошли!

— Дуглас так счастлив. Строит всякие планы. У них в семье есть крестильное платье — какие-то монашенки в Гоа сшили. Сейчас оно у его сестры, ее младшего крестили в нем пару лет назад в Кветте, где их поселили. А теперь Дуглас хочет послать за ним. Говорит, что оно чудо как хорошо. Прямо каскады белых кружев, и очень идет детям Риверсов — у них светлая кожа. Дуглас говорит, у них у всех светлые волосы до двенадцати лет.

— У младенцев нет волос.

— У индийских детей есть, я видела. Они рождаются с темными волосами... Гарри, вы должны мне помочь. Вы должны

найти мне место... — Когда он застыл, лишившись дара речи, она сказала: — Спросите свою подругу бегум. Ей это нетрудно. — Оливия засмеялась: — Куда проще, чем отравить одежду.

* * *

31 августа. Сегодня, когда я вышла из дому, какая-то женщина, стоявшая у магазина, где продавали шлепанцы, поприветствовала меня, словно старую знакомую. Я ее не помнила, но подумала, что, возможно, это подруга матери Индера Лала, одна из женщин, которые ездили с нами на пикник в День мужниной свадьбы. Когда я пошла через базар, она последовала за мной. Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, она ждала меня, но, когда я остановилась и оглянулась, она не сделала попытки меня догнать. Просто кивала и улыбалась. Так повторялось несколько раз. Она даже показала жестами, чтобы я продолжала идти; казалось, ей больше ничего не было нужно, кроме того чтобы сопровождать меня. Я собиралась идти пешком до самой больницы, но от этого преследования мне стало как-то не по себе, и, дойдя до королевских усыпальниц, я свернула к хижине Маджи. На этот раз та женщина пошла прямо, словно у нее не было до меня никакого дела.

Маджи была в состоянии *самадхи.* Это означает, что она достигла высшего уровня сознания и погрузилась в блаженство. В такие минуты Маджи не имеет ни малейшего представления о том, что происходит вокруг. Она сидит на полу в позе лотоса, глаза у нее открыты, но зрачки закатились под лоб, губы приоткрыты, и между ними виден кончик языка. Дыхание ровное и спокойное, как в крепком сне без сновидений.

Когда она проснулась, хотя это, наверное, не так называется, то улыбнулась, приветствуя меня, словно ничего особенного не происходит. Но, как это обычно бывало, она словно только что вышла из ванны с живой водой или прибегла к какому-то иному способу омоложения. Щеки у нее светились, глаза сияли. Она провела руками по лицу снизу вверх, словно чувствуя, что оно горит румянцем, и сказала, что если раньше ей очень трудно давался переход из *самадхи* в обычное состояние, то теперь это получается у нее легко, без усилий.

Я поведала ей о загадочной преследовательнице, и Маджи сказала: “Вот видишь, уже началось”. Оказалось, что ничего загадочного не было: женщина-повитуха взяла меня на заметку как потенциальную клиентку. Она, наверное, заметила меня раньше и ходила за мной, чтобы удостовериться в своей правоте. То, как я шла и держалась, безошибочно выдава-

ло мое состояние. Через день-другой она, скорее всего, предложит мне свои услуги. И Маджи снова предложила свои:

— Сейчас подходящий срок, — сказала она. — Восемь или девять недель, будет несложно.

— А что ты будешь делать? — спросила я почти из праздного любопытства.

Она объяснила, что существует несколько способов, и в данный момент искусно сделанного обычного массажа будет достаточно.

— Хочешь, я попробую? — предложила она.

Я согласилась, думаю, снова из любопытства. Маджи закрыла дверь в хижину. Дверь была не настоящая, а просто отданный кем-то кусок доски. Я легла на пол, и она ослабила шнур на моих шароварах. "Не бойся", — сказала она. Но я вовсе не боялась. Я лежала, глядя на потолок из куска жести и земляные стены, потемневшие от огня, на котором Маджи готовила еду. Теперь, когда единственный проем был закрыт, стало темно, и самые разнообразные запахи остались внутри — сырости, коровьих лепешек, которыми топили, вареной чечевицы и самой Маджи. Ее единственная смена одежды висела на стене нестираная.

Маджи села на меня сверху. Я не очень ясно различала ее в темноте, но она казалась огромной и напоминала какое-то мифологическое существо — одну из могущественных индийских богинь, что держат жизнь и смерть в руке и играют с ними, как с мячиком на резиночке. Ее руки медленно скользнули вниз по моему чреву, ища и нажимая на определенные места внутри. Было не больно, наоборот, ее прикосновения, казалось, успокаивали. Руки у нее были очень-очень горячие, как всегда; я не раз ощущала их на себе — она всегда прикасается ко мне, словно желая что-то передать. Но сегодня они кажутся особенно горячими, я подумала, что, может, это остаток *самадхи,* что она все еще носит в себе волны пришедшей откуда-то энергии. И снова я почувствовала, как она передает мне что-то — не забирает, а отдает.

Тем не менее я внезапно крикнула: "Не надо, перестань!" И она тут же убрала руки. Отошла от меня и сняла доску с дверного проема. Свет ворвался в комнату. Я поднялась и вышла наружу, в это свечение. После дождя все сияло зеленью и влагой. Голубые плитки сверкали на королевских усыпальницах, и повсюду в небольших углублениях стояла вода — поймав солнечный свет, они становились похожи на драгоценные камни, рассыпанные по земле. Небо блистало в муссонных разрывах пухлых облаков, а вдалеке виднелись еще облака, но темно-синие, громоздившиеся, как невесомые горы.

— Ничего не будет? — спросила я Маджи тревожно. Она вышла за мной из хижины и больше не была мифическим существом, которым казалась внутри хижины, а стала самой собой, по-матерински замотанной женщиной. Она засмеялась над моим вопросом и ободряюще похлопала меня по щеке. Но я не знала, по какой причине меня ободряли. Больше всего мне хотелось, чтобы ничего не произошло, чтобы ее попытки не увенчались успехом. Мне стало совершенно ясно, что я хочу ребенка, и еще появилось совершенно новое чувство — упоение, причиной которого была моя беременность.

1923

В Сатипуре тоже были свои трущобы, но в Хатме, кроме них, не было ничего. Городок приткнулся в тени дворца тугим узлом грязных переулков, над которыми нависали обветшавшие дома. Вдоль улиц тянулись сточные канавы, которые частенько переполнялись, особенно в сезон дождей, и, вероятно, были основной причиной (хотя и не единственной) постоянно возникающих эпидемий. Если дожди были слишком сильными, некоторые из старых зданий обрушивались, погребая жильцов под собой. Это происходит регулярно, каждый год.

Случилось это и в доме напротив того, куда привели Оливию, за неделю до ее прихода. Женщины, которые должны были ее пользовать, все еще обсуждали произошедшее. Одна из них описывала, как стояла на балконе, глядя на проезжавшую мимо свадебную процессию. Когда показался жених, все ринулись вперед, чтобы рассмотреть, и стоял такой шум, сказала она, музыка так гремела, что она даже не сразу поняла, что происходит, хотя разыгралось все прямо у нее на глазах. Она увидела, как дом напротив, который там всю жизнь стоял, вдруг осел и рассыпался, а в следующий миг все с треском полетело в стороны: люди, кирпичи, плитки, мебель, посуда. Это было как во сне, в кошмарном сне.

То, что происходило с Оливией, тоже напоминало сон, хотя выполняющие порученную им работу женщины, две домашние пожилые повитухи, были деловито спокойны. Служанка, которая привела Оливию, тоже держалась деловито спокойно. Она одела Оливию в паранджу и повела за собой по улицам Хатма. Никто не обращал на них внимания, они были просто двумя женщинами в парандже, обычными ходячими палатками. На улицу с повитухами вели скользкие ступени (тут Оливия, непривычная к длинному одеянию, была особенно осторожна). Дом, где обитали повитухи, находился

в полуразрушенном состоянии, непохоже было, что он переживет следующие муссоны, особенно опасными казались ступени. На лестнице было так темно, что спутнице Оливии пришлось взять ее за руку. На мгновение Оливия вздрогнула от непосредственного контакта, но всего лишь на мгновение — она знала, что ее ждут прикосновения более интимные и к куда более запретным местам.

Повитухи уложили ее на коврик на полу. Так как дома напротив больше не было, Оливии был хорошо виден кусок неба в окне. Она попыталась сосредоточиться на нем, а не на том, что с ней делали. Но никаких неприятных ощущений не было. Очень искусно женщины массировали ей живот, ища и нажимая на определенные вены. Одна женщина находилась сверху, а другая сидела на корточках на полу. Их руки беспрестанно трудились над Оливией, пока продолжался разговор между ними. Атмосфера была профессиональная и спокойная. Но когда на лестнице послышались какие-то звуки, повитухи, глянув друг на друга, замерли в испуге. Одна из них направилась к двери, а другая быстро накрыла Оливию простыней. Словно я умерла, подумала Оливия. Ей было интересно, кто пришел. А еще ей хотелось знать, что теперь будет, что они будут делать, если она и вправду умрет в этой комнате после аборта. Им придется потихоньку и очень быстро избавиться от тела. Оливии пришло в голову, что и эта процедура будет не так уж сложна. Бегум все уладит с такой же легкостью, с какой организовала и сам аборт. Возможно, она уже и об этом подумала и запланировала все, что нужно.

Как выяснилось, пришла как раз бегум в сопровождении лишь одной служанки. Обе фигуры были укутаны в черную паранджу, но Оливия поняла, которая из них бегум по тому, как с ней обращались присутствующие. Ей, казалось, была очень интересна операция сама по себе (сколько внимания, подумала Оливия, я должна быть польщена). Бегум наблюдала сквозь паранджу за тем, как акушерки продолжали делать массаж. Затем одна из них поднялась и отошла в угол — пора было что-то приготовить. Оливия слегка приподняла голову, но вторая женщина надавила ей на лоб, так что ей удалось лишь бросить взгляд в том направлении. Она увидела, как акушерка показала бегум прут, на который намазывала какую-то пасту. Бегум было так любопытно, что она подняла паранджу, чтобы лучше видеть. Теперь Оливии было интересно наблюдать и за прутом, и за лицом бегум. Она забыла, как та выглядит (визит, который они ей нанесли вместе с миссис Кроуфорд, казалось, был сто лет тому назад), ей хотелось проверить, похож ли на нее Наваб.

Повитуха приблизилась, держа прут в руке. Оливия догадалась, что его введут внутрь. Женщины раздвинули Оливии ноги, и одна из них держала ее за лодыжки, пока другая прилаживала прут. Бегум тоже наклонилась посмотреть. Хотя акушерка работала быстро и осторожно, прут причинил Оливии боль, и она не смогла сдержать стон. Бегум наклонилась посмотреть ей в лицо, и Оливия взглянула на нее. Она и в самом деле очень походила на Наваба. Казалось, бегум было интересно изучать ее лицо, как и Оливии смотреть на нее. На мгновение они пристально смотрели друг на друга, а потом Оливия закрыла глаза, так как боль — там внизу — повторилась.

* * *

Бет Кроуфорд не позволяла себе говорить об Оливии, пока не прошли долгие годы, целая жизнь. Я не знаю, думала ли она о ней вообще все это время. Вероятно, нет: тетушка Бет твердо знала, где следует ставить границы не только в речах и поведении, но и в мыслях. Точно так же она не позволяла себе задерживаться мыслями на бегум и остальных придворных дамах по окончании ее обязательного тридцатиминутного визита. У нее не было ни малейшего желания раздумывать над тем, что происходило на женской половине дворца после ее ухода — когда уносили европейские стулья и дамы снова поудобнее устраивались на своих диванах. Бет ощущала, что у Востока есть свои секреты и свои загадки, и неважно, чего они касались — дворца ли, базара ли в Сатипуре или переулков Хатма. Все эти темные задворки жизни находились за пределами ее интересов и ее воображения, как и Оливия, коль скоро та перешла границу.

Единственным человеком, не пожелавшим молчать, был доктор Сондерс. Это он раскрыл тайну Оливии. Акушерки в Хатме хорошо справились со своей задачей, и выкидыш у Оливии начался той же ночью. Она разбудила Дугласа, и он отвез ее в больницу, а рано утром доктор Сондерс завершил начатое. Но он прекрасно знал, что такое "индийский аборт" и каким образом его осуществляют. Самым распространенным способом было введение прута, смазанного соком растения, известного только индийским повитухам. В свое время доктор Сондерс изъял массу таких прутов из женщин, которых привозили в больницу с так называемыми самопроизвольными абортами. После он встречался с виновницами лицом к лицу и выгонял их из больницы. Иногда он раздавал пощечины — у него были твердые взгляды на нравственность и на то, как ее блюсти. Но даже он признавал, что некоторым

местным женщинам, появившимся на свет в обстановке невежества и антисанитарии, нужно делать поблажки. Для Оливии таких смягчающих обстоятельств не нашлось. "Ну что, милочка", – сказал он, глядя ей в лицо. Старшая медсестра, шотландка, родившаяся в Индии – вместе с доктором они содержали больницу в строгости и чистоте, – с мрачным видом стояла позади него. Оба были возмущены до глубины души, но доктор Сондерс еще и торжествовал, ибо оказался прав. Он всегда знал, что в Оливии было что-то испорченное: слабость и безнравственность, которую почуял и которой воспользовался Наваб (и сам такой же испорченный).

Никто не сомневался, что Наваб использовал Оливию в целях мести. Даже самый либеральный и сострадательный англо-индус, майор Минниз, тоже был убежден в этом. Как и Кроуфорды, и, очевидно, сам Дуглас (хотя никому не было позволено раздумывать о его чувствах), майор Минниз изгнал Оливию из своих мыслей. Она зашла слишком далеко. И все же долгие годы он размышлял не столько о том, что случилось, сколько о последствиях случившегося. Они только подтверждали его теорию. Позже, когда он ушел на пенсию и поселился в Ути, у него образовалось больше времени, чтобы обдумать этот вопрос, он даже опубликовал – на собственные средства – некий труд, не вызвавший большого интереса у читателей: монографию о влиянии Индии на европейские сознание и характер. Он разослал свое сочинение друзьям, и таким образом у тетушки Бет оказался экземпляр, который я прочитала.

Хотя майор, несомненно, сочувствовал Индии, его рукопись звучала как предупреждение. Он писал, что необходимо быть очень стойким, чтобы выдержать Индию. И самые ранимые, говорил он, всегда те, кто любит ее больше всех. Можно по-разному любить Индию и – за многое: за пейзаж, историю, поэзию, музыку, конечно, за физическую красоту мужчин и женщин, но все это опасно для европейца, если он позволяет себе любить ее слишком сильно. Индия всегда находит болезненную точку и нажимает на нее. И доктор Сондерс и майор Минниз говорили о слабой точке. Но если для доктора Сондерса это было что-то, а то и кто-то, отличавшийся безнравственностью, то для майора слабости были подвержены самые чувствительные, и часто – и самые достойные люди, и особенно – их утонченные чувства. Этих-то людей и находит Индия и утягивает на противоположную сторону, которую майор назвал другим измерением. Он также назвал это другой стихией, в которой европейцу жить непривычно, и поэтому, погрузившись в нее, он подвергается

увечью или — как Оливия — гибнет. Да, заключил майор, любить и восхищаться Индией с интеллектуальной или эстетической точки зрения прекрасно (он не сказал — с сексуальной, хотя наверняка мог бы), но делать это следует с позиции европейца — зрелой и взвешенной. Никогда нельзя размякать (подобно индусам) от чрезмерных чувств, ибо стоит такому случиться, стоит превысить меру, как тут же возникает опасность, что тебя утянут на другую сторону. Таковы были заключительные слова майора — в них и состоял его вывод. Майора, который так любил Индию, так хорошо знал ее, который даже решил провести здесь остаток дней! Но Индия всегда оставалась для него противником, иногда даже врагом, которого нужно остерегаться и с которым, при необходимости, нужно бороться и вовне, и изнутри — чтобы преодолеть собственное я.

Оливия не вернулась к Дугласу, а, убежав из больницы, отправилась прямо во дворец. В последний раз ее еще не затуманенный образ встает не из писем, а со слов Гарри. Он был во дворце, когда она приехала. Такая бледная, сказал он, ни кровинки. (Еще бы, ведь она потеряла много крови из-за аборта.) Сатипур находится недалеко от Хатма — около пятнадцати миль, и Оливия ежедневно проделывала это путешествие на машинах Наваба. Но тогда, когда она сбежала из больницы, машины не было. Гарри так и не выяснил, каким образом она добралась до дворца, но полагал, что на каком-то здешнем виде транспорта. Она была в одежде местных жителей — грубом сари, какие носят служанки, — и напомнила Гарри однажды виденную им гравюру: "Побег миссис Секом от мятежников". Миссис Секом тоже была в местном одеянии, растерянная, с растрепанными волосами и перепачканным грязью лицом — и ничего удивительного, ведь она спасалась бегством от бунтовщиков Сикрора: спешила укрыться в британской резиденции в Лакхнау. Оливия тоже спасалась бегством, но, как пояснил Гарри, бежала в противоположном направлении.

Гарри уехал вскоре после этого. Он так и не понял, почему Наваб взял к себе Оливию. В любом случае, эта загадка — как и сам Наваб — выпали из поля зрения Гарри на многие годы. Чему он был рад. Если он и вспоминал время, проведенное во дворце, то всегда с неприязнью и даже с отвращением. И, тем не менее, он был очень-очень счастлив там. Потом, в Англии, ему казалось, что счастье это было для него чрезмерно. Теперь единственное, чего ему хотелось, — это тихо жить с матерью в квартирке в Кенсингтоне. Позже, после смерти

матери, у него поселился его друг Ферди — бросил работу в прачечной, чтобы ухаживать за Гарри. Ферди познакомился и с Навабом, но лишь спустя многие годы; к тому времени Наваб, по мнению Гарри, сильно изменился. Обстоятельства его тоже изменились, и теперь, приехав в Лондон, он не останавливался в "Кларидже", так как был довольно сильно стеснен в средствах. Возможно, поэтому он не взял с собой Оливию — не мог себе этого позволить, или же она и сама не захотела ехать. Она больше никогда не приезжала в Англию, а жила в доме в горах, который Наваб купил для нее.

Когда я сказала Маджи, что уезжаю из Сатипура, она спросила:

— Вместе с Чидом? — Отъезд Чида в Англию ее позабавил, как и все с ним связанное. — Бедный мальчик, — сказала она, — пришлось ему бежать. — Ее широкие плечи тряслись от смеха.

Я уверила ее, что вовсе не убегаю, а, наоборот, двигаюсь дальше — в горы. Ей это понравилось. Тогда я набралась смелости и спросила — а я уже давно собиралась, — что именно она делала со мной в тот день, день несостоявшегося аборта. К моему облегчению, ничего не произошло, но мне казалось, захоти она, ее попытки увенчались бы успехом. Что она сделала? — спросила я. Она, конечно, так ничего мне и не сказала, но ее лукавый смех означал, что и она не без греха. Я вспомнила, как она сидела там — сверхъестественное существо, обладающее сверхъестественными силами, которые, как мне теперь казалось, она использовала не для того, чтобы прервать мою беременность, а чтобы я до конца ее прочувствовала.

Сезон дождей — не лучшее время для подъема в горы. То и дело бывают оползни, и дороги надолго остаются непроходимыми. Гор не видно. То есть все знают, что они там: цепи Гималаев, простирающиеся бог знает как далеко и высоко, — их присутствие даже можно ощутить или вообразить, но не увидеть. Они полностью скрыты облаками и парами, туманами.

Прямо над городком Х. по самому крутому склону горы разбросана пригоршня домиков. Даже в лучшие времена до них трудно добраться — если, конечно, речь не идет о самых выносливых альпинистах, — а теперь, во время дождей, горы совершенно неприступны. Мне говорили, что до недавнего времени, кроме Оливии, там жили и другие европейцы. Норвежка — вдова индусского историка, посвятившая себя разбору его архива; немец, принявший буддизм, и двое бывших миссионеров, которые попытались основать христианский "ашрам". Теперь они умерли и похоронены на старом бри-

танском кладбище, на плоской возвышенности несколькими сотнями футов ниже. (Повсюду британские кладбища! Вот что оказалось самыми надежными памятниками.) Лишь немца кремировали в индусском крематории да Оливию. Бывшие миссионеры попытались воспрепятствовать ее кремации, говорили, что ей место на кладбище, раз она не приняла индуизма в какой-либо из форм. Но она просила именно о кремации, поэтому ее и кремировали. Полагаю, что прах ее развеяли в этих горах, так как не было никого, кто мог бы распорядиться иначе: Наваб умер раньше ее.

Ее дом и сейчас там. Мне пришлось выждать несколько дней, пока не прекратился дождь и я смогла подняться наверх. Домик стоит себе на краю горы; наверное, из него открывается восхитительный вид, хотя в это время года оттуда ничего, кроме облаков, не видно. Существуют разногласия по поводу того, кому он достался по наследству. Карим и Китти пытаются это разрешить, как и другие спорные вопросы, касающиéся остальной собственности Наваба. И надеются сделать это раньше, чем дом реквизирует армия. Внутри здания появились опасные с виду трещины, и все покрылось плесенью.

Однако дом сохранил то, что, как мне кажется, было атмосферой Оливии. Конечно, там стоит пианино — не то, что у нее было в Сатипуре, а рояль, который Наваб прислал из Хатма (вместе с настройщиком из Бомбея). Занавески и подушки, порядком вытертые, но все еще желтые, как в Сатипуре, абажуры с бахромой, граммофон. В оконном проеме стоят стул и пяльцы: не знаю, декоративные ли они, или она и правда здесь сидела, то и дело поднимая глаза от вышивки, чтобы посмотреть на горы (теперь невидимые). Снаружи есть конюшни, но все, что в них когда-либо держали, это паланкин. Он до сих пор там, сломанный и покрытый пылью: в нем Наваба носили вверх и вниз с горы. Он слишком растолстел и разленился, чтобы карабкаться самому. Гарри говорил, что был потрясен, увидев его снова в Лондоне. Прошло пятнадцать лет, Навабу исполнилось пятьдесят, и он стал таким толстым, что в нем появилось что-то женственное. И обнял он Гарри как-то по-женски: прижал к пухлой груди и долго держал. Все забытые чувства тотчас вернулись к Гарри. Но потом оказалось, что его чувства к Навабу все-таки изменились, возможно, потому, что сильно изменился и сам Наваб. Он казался мягче и спокойнее, и у него было множество неприятностей на родине.

Судебную тяжбу, затеянную в 1923 году, он проиграл, в результате чего новый премьер-министр взял дела в Хатме в

свои руки. Хотя на бумаге Наваб по-прежнему правил Хатмом, оставаться там при подобных обстоятельствах ему не захотелось. Бегум тоже нечасто бывала в резиденции, и вместе со своими придворными дамами заняла дом в Бомбее. Наваб часто останавливался там, когда не был с Оливией в Х. Иногда он жил со своей женой Сэнди, ибо с Кабобпурами все было более-менее улажено. Сэнди же была нездорова, и в настоящее время лечила свои душевные недуги в Швейцарии.

Дела Наваба были расстроены, в основном в финансовом отношении. Ему приходилось содержать не только дворец и три других владения — жены, матери и Оливии, — но и в Хатме у него хватало забот. Нужно было обеспечивать всех тех молодых людей — уже, конечно, не молодых, — которые входили в его дворцовую свиту и которые, если и не приходились ему кровными родственниками, были потомками домочадцев, чьи предки служили еще Аманулле Хану. Наваб глубоко стыдился того, что не может создать им условия, к которым они привыкли. Годами торговался он с британскими властями, настаивая на увеличении суммы, которую ему выделили из доходов штата, но никак не мог добиться от них понимания: они знать не знали, каковы были обязательства у правителей его ранга. Поэтому он и приехал в Лондон — апеллировать к высшей власти. Он назначил, или попытался назначить, множество встреч и без конца вытаскивал из кармана какие-то бумажки с нацарапанными на них телефонными номерами и фамилиями, хотя частенько не мог припомнить, кому они принадлежат.

Бóльшую часть времени он проводил с Гарри и Ферди. Что им давалось нелегко. Жили они очень упорядоченно, в отличие от Наваба. Да и физически он казался слишком крупным для их квартирки, и даже сломал два стула в столовой, просто посидев на них. Кормить его тоже было непросто. Еда, которую Ферди готовил для нежного желудка Гарри (чье пищеварение так и не восстановилось после Индии), Наваба не насыщала. Он стал сладкоежкой и, не имея возможности лакомиться индийскими сластями в Лондоне, приобрел привычку поглощать огромное количество булочек со сливками. Всю вторую половину дня он обычно просиживал в модном ресторане, выстроенном в индийском стиле с мраморными колоннами, наподобие дворца в Хатме. Трижды за вечер дама в длинном нарядном платье играла несколько вещей на разноцветном органе, и, с удовольствием ее слушая, Наваб поворачивался к Гарри: “Как чудесно она играет, совсем как Оливия”. Он никогда не был особенно музыкален.

Как и его отец, Наваб в последние годы пристрастился к чтению персидской поэзии и двустиший на урду, особенно тех, что описывали быстротечность мирских утех — чему, по его мнению, он, как никто, мог служить подтверждением. Помимо увеличения суммы на содержание, его самой неотложной задачей были розыски пропавших казенных драгоценностей. Власти Хатма обвиняли бегум в их присвоении, на что она с жаром отвечала, что взяла лишь то, что было ее собственностью. Делу этому была уготована долгая тяжба, ибо после получения Индией независимости оно перешло в ведение правительства, которое попыталось начать дело против бегум. К тому времени и она сама, и драгоценности пребывали в безопасности в Нью-Йорке.

Наваб приходил в сильное волнение, когда говорил о нападках, которым подвергалась его мать. У него было повышенное давление, и, когда он особенно выходил из себя, Гарри старался его успокоить. "Вы умрете от удара", — предупреждал он Наваба. (Так оно и случилось, только пятнадцать лет спустя в апартаментах на Парк-авеню в Нью-Йорке, на руках у уже совсем древней бегум.) Когда Гарри так говорил, Наваб всегда смеялся: сама мысль о смерти его смешила. Он любил рассказывать историю, которая произошла в Хатме примерно через год после отъезда Гарри. Банду разбойников, с которыми, по всеобщему мнению, Наваб водил дружбу, захватила полиция (к тому времени — реформированная). Иных из бандитов убили при столкновении, других поймали и предали суду. Они были приговорены к смертной казни за многочисленные убийства и долгие годы разбоя. Наваб не раз навещал их в тюрьме, и до самого конца они выказывали смирение и бодрость духа. Он провел с ними и последнюю ночь — наблюдал, как они едят свой последний ужин, играют в свою последнюю карточную игру и укладываются спать. Они и в самом деле спали, а он не мог. Он сопровождал их к месту казни и напоследок помолился с ними. В последнюю минуту один из них — Тикку Рам, из очень высокой касты — внезапно повернулся к палачу и начал расспрашивать: "А вы?.." — но не мог договорить, ибо тот надел мешок ему на голову. Недостающее слово было, вероятно, "хамар" — приговоренный беспокоился о касте палача, который производил над ним эту последнюю и столь интимную операцию. Только это его и волновало в момент ухода. Наваб похвалил такое отношение к смерти и сказал, что надеется последовать примеру Рама, когда придет его черед.

В эти последние годы об Оливии не было слышно ни звука. Наваб мало говорил о ней, это стало такой же личной темой,

как и бегум. Он никогда не упоминал о ней и о том, как ей живется там, в Х. Возможно, он никогда об этом не думал, полагая, что ей было хорошо и удобно среди всего того, что он постарался ей предоставить. Сама Оливия тоже не давала о себе знать. Она все еще писала Марсии, но, в отличие от писем из Сатипура, письма из Х. были короткими и ничего не проясняющими. Писала она к тому же очень редко, сначала два-три раза в год, а потом и того реже. Оливия перестала писать после смерти Наваба, она пережила его на шесть лет.

Марсия говорила Гарри, что они с Оливией были очень похожи. Он подумал, что в юности, наверное, так оно и было: Марсия тоже была хрупкой и миниатюрной, но темноволосой, а Оливия — блондинкой; однако к тому времени, когда Гарри с Марсией познакомились ближе, он уже не мог соотнести ее образ с воспоминаниями об Оливии. Марсия много пила, курила и визгливо смеялась. Отличалась разговорчивостью и нервозностью и дважды чуть не умерла от передозировки снотворного. Марсия утверждала, что больше всего они походили друг на друга темпераментом — очень страстным, говорила она. Она заявила, что прекрасно понимала Оливию. Вкусы, конечно, у них были разные, к примеру, Марсия никогда не могла уразуметь, что́ Оливия нашла в Дугласе, ибо, по мнению Марсии, он был просто сухарь, и ее совершенно не удивило, что он Оливии наскучил и она ушла к более интересному человеку. Годы спустя, когда Марсия познакомилась с Навабом в Лондоне, она сказала, что он и в самом деле интереснее, чем Дуглас, но опять же — не в ее вкусе. Разница во вкусах никак не умаляла сходства их темпераментов и характеров, которые были всегда готовы следовать за темпераментом, куда бы он их ни завел. Когда Гарри спросил Наваба, похожа ли Оливия на Марсию, тот, ни секунды не колеблясь, воскликнул: “О нет, ни в коем случае!”. Эта мысль, казалось, поразила его как абсурдная и ужасающая одновременно.

Что она была за человек? Как она жила? Когда я осматривала ее дом над городком Х., мне пришло в голову, что ее жизнь здесь мало чем отличалась от той, которую она вела в Сатипуре или могла бы вести в Лондоне. Комнаты были обставлены в ее вкусе, она играла на пианино те же пьесы. Вот и все, что мне удалось узнать в том месте, которое когда-то служило ей домом. И ничего более. Я до сих пор представить себе не могу, что́ она́ думала тогда, чем стала. К сожалению, все то время, что я провела там, шел сильный дождь, и мне было не разглядеть, что она видела из окна, сидя за своим вышиванием. Возможно, узнай я это, что-нибудь изменилось бы.

Я сняла комнату в Х. и живу так же, как в Сатипуре. Городок точно такой же: обветшалые домики, путаница узких переулков; только располагается он на склоне и, кажется, будто вот-вот соскользнет вниз с горы. Некоторые его участки и в самом деле иногда сползают вниз, особенно теперь, в сезон дождей, да и сами горы крошатся: их с шумом низвергающимися обломками загромождены раскисшие дороги. Я с нетерпением жду окончания дождей, потому что хочу подняться выше. Я часто смотрю вверх, но еще ничего не видно. Не видя, я представляю себе самые высокие горы на свете, с самым белым снегом, таким белым, что он сияет на фоне самого синего неба, которое мне никогда прежде не доводилось видеть. Вот чего я ожидаю. Возможно, это будет именно то, что видела Оливия: тот же вид или видение, что все годы наполняли ее глаза и душу.

Я редко смотрю вниз. Иногда после дождей туман клубится в долине, и воздух так пропитывается влагой, что птицы будто плывут в нем, а деревья качаются, словно водоросли. Думаю, я еще не скоро спущусь вниз. Сначала, конечно, у меня появится ребенок. Потом я переберусь повыше — в ашрам, говорят, там смогут меня принять. Я видела их свами, когда те спускаются на базар за покупками. В городе их очень уважают за праведную жизнь. Они без остатка посвятили себя изучению философии тех самых древних писаний, что были рождены на вершинах этих гор, которых мне никак не увидеть. Свами — жизнерадостного вида мужчины, они громогласно смеются и шутят с людьми на базаре. Говорят, что любой нуждающийся, если он чист сердцем, может подняться в ашрам и ему позволят остаться настолько, насколько он пожелает. Большинство, правда, вскоре спускаются обратно — не выдерживают холода и аскетических условий существования.

В следующий раз, когда я увижу свами, я поговорю с ним и попрошу разрешения подняться в ашрам. Я пока не знаю, надолго ли там останусь. На какое-то время — безусловно, так как в моем положении спускаться еще труднее, чем подыматься, даже если бы я того и захотела.

Елена Алексиева

Мадам Мисима

Монодрама

Перевод с болгарского Валентины Ярмилко

Роль мадам Мисимы исполняется мужчиной в духе традиционного японского театра “Кабуки”.

Тюремная камера. Раннее утро, рассвет. В глубине сцены — высокое узкое окно, забранное решеткой. У одной стены — нары. В углу камеры — помойное ведро вместо унитаза. Радиоточка. Небольшой сундук, который используется как столик. На стене — доска с гвоздями, на которых висит одежда.
На нарах спит человек, укутавшись с головой.
Из радиоточки раздается музыка — популярная японская песня, веселая, может, — эстрадная. Поет женщина.
Человек на нарах просыпается. Потягивается. Отбрасывает одеяло. Садится в постели. Видно, что это мужчина. Он сидит на нарах в майке и трусах.
Песня продолжает греметь.
Мужчина встает и идет к ведру. Становится спиной к залу. Мочится. Делает несколько шагов по камере. Достает из сундука кусок зеркала и неодобрительно себя рассматривает. Достает разные туалетные принадлежности и косметику. Начинает гри-

© Елена Алексиева, 2014
© Валентина Ярмилко. Перевод, 2016

Редакция выражает благодарность Елене Алексиевой за любезное разрешение безвозмездно опубликовать пьесу на страницах журнала.

мироваться. Сначала наносит на лицо белила. Затем рисует брови, глаза, губы и т. д., пока его лицо не превращается в женское.
Меж тем песня закончилась, но мужчина продолжает ее напевать все время, пока гримируется.
Затем укладывает на место косметику и грим и снимает с гвоздя одежду. Начинает одеваться. Надевает нижнее и верхнее кимоно. Подпоясывается. Натягивает белые носки. С одной стороны, его перевоплощение выглядит как случайная импровизация с использованием подручных материалов, но с другой, все происходит так быстро и умело, что в это перевоплощение веришь.
Из радиоточки вдруг снова гремит та же песня и замолкает лишь тогда, когда мужчина окончательно превращается в женщину. Покончив с одеванием, женщина ложится на нары, скрестив ноги и заложив руки за голову. Вскоре раздаются шаги. Женщина приподнимается, внимательно прислушивается. В замке поворачивается ключ, скрип тяжелой двери. Кто-то входит в камеру.

Ах, господин следователь. Я не ждала вас так скоро. В сущности, я уже никого не ждала, после того как вчера прогнала официально назначенного мне адвоката. Вы уже слышали об этом? Не удивляюсь. Такой противный старик. Но он сам виноват в том, что я его выгнала. Постоянно досаждал мне своим нытьем о гонораре. Скулил, что дело слишком сложное. Что оно затянется. Что официально ему заплатят столько, что это не покроет даже его личных расходов. Он даже пытался хватать меня за руки и, нагло глядя в глаза, намекать, что при известном содействии с моей стороны — *при известной благосклонности*, как он выразился, — он мог бы меня спасти.

Вы только представьте себе!
Спасти меня! Меня! (*Смеется.*)

На протяжении всей пьесы смех героини отрывист, груб, громок, типично мужской. Может быть использован для ритмизации. Это — характерный смех Мисимы, его “марка”.

Ах, простите меня, господин следователь! Я занимаю вас всякими глупостями, вместо того чтобы встретить — как подобает — человека вашего ранга. К сожалению, мои хорошие манеры и воспитание остались за стенами этой камеры, как и все остальное. Я сразу решила не брать с собой ничего, кроме самого необходимого женщине в моей ситуации. Женщине, жизнь которой сейчас и впредь будет сведена только к физическому существованию. Поэтому я оставила все свое

прошлое там, за решеткой. Оно мне уже не принадлежит. В нем нет ничего особенного, ничего, что представляло бы интерес для кого-либо, кроме меня самой. А вы хотите судить меня за это.

Ну вот, снова я за свое.

Я уже предчувствую, что вы на меня рассердитесь (здорово рассердитесь) и больше ко мне не придете. Моя грубость непростительна. Но я прошу, умоляю вас не наказывать меня столь жестоко. Оставьте жестокость суду, а вы по-прежнему приходите ко мне. Делайте свое дело. Собирайте ваши проклятые доказательства. Задавайте вопросы. Наблюдайте за мной.

О, я так люблю, чтобы за мной наблюдали, господин следователь! Обожаю чувствовать на себе чужие взгляды — холодные, смущающие, безжалостные — даже здесь, в этом полумраке.

Прошу вас, присаживайтесь, если найдете куда. Нет, нет — не сводите с меня глаз. Я пригласила бы вас присесть рядом, на нарах, но так нам будет неудобно. Мы тогда не сможем хорошо видеть друг друга, так как будем сидеть слишком близко. Можем даже невольно коснуться друг друга, что было бы еще ужасней. Поэтому единственное, что я могу вам предложить, — сесть на помойное ведро. К сожалению, с утра надзиратель еще его не выносил, но, на ваше счастье, я уже несколько дней не ходила "по-большому". Что поделаешь — у меня всегда был слишком чувствительный желудок, да и нельзя сказать, чтоб тюремная еда была мне по вкусу.

Там, за ведром — кусок фанеры. Положите его на ведро, чтобы не воняло. И спокойно садитесь. Не волнуйтесь, фанера вас выдержит. Только не делайте лишних телодвижений, чтоб чего не случилось.

Ну что поделаешь — у меня нет стула. Мне не оставили даже куска татами, чтобы мы могли по-человечески сесть на него, лицом друг к другу.

В вашей тюрьме очень строгие порядки, господин следователь. Строгие и скучные. Здесь не происходит ничего интересного. Человек просто медленно загнивает от скуки. Словно приговор вступает в силу еще до оглашения.

А если человек невиновен? (*Смеется. Пауза.*)

Он знает, что я богата. Этот старикашка, назначенный защитник. Ну, может, не богата, но достаточно состоятельна. Да ведь это и не тайна. Это всем известно. Я никогда не скрывала своих денег. И не пряталась за ними. И уж наверняка не настолько тупа, чтобы верить, что за эти деньги смогу купить себе свободу. Просто потому, что я никогда ее не теряла.

Я и здесь настолько же свободна, господин следователь, как где бы то ни было. Единственная разница в том, что эта свобода уже мне ни к чему. Она — выжженная пустыня. Доброкачественная опухоль, с которой некомфортно жить, но от которой нет ни малейшей надежды умереть. Вот такая она, моя свобода. И деньги здесь ни при чем.

Но назначенный адвокат думал только о них. Он хватал меня за руку своими коротенькими пожелтевшими пальцами, уверяя, что может меня спасти. Говорил, что у него богатый опыт. Что он близок с судьей. "Но вы, мадам, — говорил он, — должны меня мотивировать. Чтобы я все сделал как надо. Чтобы мог послужить справедливости". И полз пальцами вверх по моей ладони, к кисти, словно хотел измерить мне пульс.

Верите, господин следователь, это возбуждало и одновременно отвращало меня... Я возбуждалась от отвращения, которое испытывала от прикосновения его пальцев к моей кисти. Возбуждалась от его сухой бескровной кожи, из которой годы выщипали редкие волоски — один за другим. От его зловонного дыхания, которым он обдавал меня, обещая спасти. И это возбуждение не покидало меня еще несколько часов. (*Пауза.*)

Лежа здесь, лишенная возможности заняться чем-нибудь другим, я думала о вас, господин следователь. О вашем таком молодом, просто детском лице, так резко контрастирующем с грузом вашей ответственности. Ваша власть над несчастными, вроде меня, все еще пугает вас даже больше, нежели нас, ваших подопечных. Не так ли? И эта наивная суровость во взгляде, которую вы, вероятно, тайно репетируете перед зеркалом... С вашего позволения, дам вам один бесплатный профессиональный совет: не переигрывайте, господин следователь. Вы добиваетесь противоположного эффекта — становитесь похожи на капризного ребенка при виде неаппетитного завтрака, а не на борца с преступностью.

Сколько вам лет? Двадцать пять? Двадцать восемь? Я не дала бы вам и двадцати.

Нет, я над вами не издеваюсь, наоборот. Я обожаю молодость. Желаю ее, стремлюсь к ней, завидую ей и ревную. В молодости более всего я ценю ее страсть к уничтожению. Меня всегда интересовало, что же такое молодость? И почему то, что в молодости красиво и неудержимо привлекает, в старости отталкивает и смердит пороком. В молодости я больше всего люблю ее плоть и кровь, удивительное единство духа и тела. Потом все безвозвратно исчезает, задолго до того, как смерть все это окончательно ликвидирует.

Говорят, человек молод до тех пор, пока молод его дух. Глупости. Дух стареет первым. В конце только тело имеет значение. Иначе косметическая индустрия просто не существовала бы. Знаете, значительная часть моей жизни неразрывно связана с косметической индустрией. (*Смеется.*)

Я уже не молода, господин следователь. Впрочем, вам это известно. Вы знаете, когда я родилась и где, кто мои родители и под каким именем я значусь в муниципальных документах. Но до старости мне еще далеко, как совершенно верно заметил мой назначенный защитник. Для него я все еще лакомый кусочек, с хорошим финансовым обеспечением, к тому же попавший в серьезную переделку, — значит, мне, по его мнению, особо выбирать не приходится.

Он, бедолага, именно на это и рассчитывает. Этой ночью он даже посетил меня во сне, сделал последнюю попытку — а вдруг я передумаю. (*Пауза.*)

Вы женаты? Да, я помню, что уже спрашивала об этом, вот только ответа не помню. Впрочем, можете не отвечать. Я сама угадаю. Позвольте мне вас придумать. Позвольте дать волю моему воображению. Все равно здесь время тянется так медленно, и заполнить его совершенно нечем. Да и вы не слишком часто меня посещаете. И вынуждаете бесконечно, отчаянно вас ждать. Вероятно, вам нравится заставлять меня страдать. Не скрою, мне это тоже нравится. (*Пауза.*)

Ну конечно, вы женаты. Недавно, сравнительно недавно. Не более двух лет. Она младше вас. Хрупкая, скорее всего, изящная, но не обязательно красивая. Родом из провинции. Женщина со вкусом, но ее выдают манеры. Она отлично заботится о вашем доме. И не слишком интересуется остальным. Тем не менее, порой ее рассуждения вас удивляют. Она не глупа. С прекрасной интуицией. И отнюдь не настолько склонна к компромиссам, как может показаться. Вы допускаете, что она счастлива, но не смеете спросить ее об этом. Да и она редко пользуется такими громкими словами, утверждая, что просто их не понимает. Предпочитает изъясняться как можно проще, а лучше — молчать. И в этом вы тоже усматриваете скрытый интеллект. Мысль о нем вам льстит и отчасти пугает. Вы отдаете себе отчет, что вы ее не знаете и, может, не узнаете никогда. Но это вас не смущает. Она знает, что вам нужно. Знает, как вам понравиться. И умеет о вас заботиться.

А что вам еще нужно? Вы женились по любви, но не уверены, любили ли вы ее когда-нибудь. Вы у нее первый. В постели вы стараетесь казаться более умелым, чем на самом деле. По крайней мере, так было вначале. И самым серьезным образом намереваетесь кое-чему ее обучить.

Вы, невежда. Она покорна. Послушно принимает ваши наставления. И все же у вас создалось впечатление, что она недостаточно старается. Но вы снисходительны. Вам спешить некуда. Главное, чтобы ей было хорошо. Потому что ей и в самом деле хорошо, в этом у вас нет ни малейших сомнений. А потом... Потом появится первый ребенок, и удовольствие отойдет на задний план. Ваша жизнь станет более функциональной. Повседневность заполнится тысячей мелких обязанностей. Вы поймете, что значит быть отцом, главой семьи. Параллельно будете делать карьеру. Профессионально совершенствоваться. Кто знает, может, в один прекрасный день вы даже проснетесь директором этой тюрьмы. (*Смеется.*)

Из радиоточки гремит мелодия — может, та же, может, другая, но такая же жизнерадостная. И быстро стихает.

Зачем кричать, господин следователь? Я не хотела вас обидеть. И разве я виновата, что вся ваша личная жизнь умещается в нескольких кратких предложениях, написанных на вашем лице. Вы тоже не виноваты. Просто вы еще слишком молоды. Посмотрите на себя. Щеки, как у младенца. Наверное, вы даже бреетесь не каждый день. (*Пауза.*)

Да. Хорошо. Поняла. Умолкаю. Я только хотела вам показать, что вы и я — из разных миров. Вы, вероятно, испытываете ко мне презрение, в лучшем случае — легкое пренебрежение или любопытство. Задаете мне вопросы, ответы на которые вам известны заранее. Записываете мои слова, но не слышите их. Торопитесь отправить меня на виселицу, чтобы скорее вернуться домой. Считаете, что я играю какую-то роль, в то время как я говорю вам сущую правду.

Но ведь вы, господин следователь, не готовы принять эту правду. Вы доросли лишь до фактов, и этим ваше представление о мире исчерпывается. Не верите мне, даже когда я чистосердечно говорю, что мне вас жаль. Поверьте, господин следователь, вас ждет провал, если вы не позволите мне вам помочь. Не только здесь и сейчас. Провал во всем — и окончательный. Ваш провал будет так страшен, что вы не найдете в себе сил искупить собственную смерть. И тогда, наконец, вы поймете, что сделал он и почему. Но будет поздно. Не для меня, господин следователь. Для вас будет поздно. (*Из-под подушки на нарах достает стопку бумаг. Нервно, торопливо просматривает их. И бросает на пол.*) Я этого не подпишу. Ни за что. Нужно быть сумасшедшим, чтобы надеяться, что я подпишу, ведь здесь нет ни единого моего слова. Да я просто не понимаю, о чем здесь идет речь. Не понимаю, что значат ваши слова. (*Пауза.*)

Это — ваши слова. Ваш язык. Почему, в таком случае я должна под этим подписываться? Подпишитесь сами. (*Пауза.*)

Это все не имеет со мной ничего общего. Для вас это показания, а для меня — история. Вы улавливаете разницу?

Вам еще учиться и учиться, юноша. Заберите ваш черновик и начните сначала. И не говорите мне о вине. Вы ничего не знаете о моей вине. Пишите только о том, что вам доступно. О простеньких конкретных вещах, которые вы видели своими глазами. Ограничьтесь описанием, не углубляясь в объяснения. И не заботьтесь об эффектном начале — куда важнее эффектный финал. (*Смеется.*)

На сегодня достаточно, господин следователь. А теперь оставьте меня одну.

* * *

Камера. Ночь. Из радиоточки звучит тихая инструментальная традиционная японская музыка. Мадам Мисима сидит на полу. Картинка размыта, словно во сне.

Сегодня снова приходил назначенный адвокат. От этого человека просто невозможно отделаться. Я отказалась с ним разговаривать, но он, очевидно, дал взятку, потому что надзиратель привел его прямо ко мне в камеру, невзирая на мои возражения. И неусыпно наблюдал за нами в глазок. Я видела, как глаз надзирателя движется в глазке, как жестоко и безразлично танцует за стеклом, словно око демона, не упуская меня из вида.

А в это время назначенный адвокат говорил без умолку. Он сказал, что, проанализировав в очередной раз все факты по моему делу и составив собственное мнение о моей личности, он придумал новую линию защиты. Новую стратегию, абсолютно гарантирующую мое освобождение от ответственности.

Я сухо ответила, что предельно ясно заявила о своем нежелании его видеть. Что не нуждаюсь в защите, так как не совершала преступлений. И если суд не в состоянии это понять, тем хуже для суда.

“Я именно это имею в виду, — невозмутимо продолжил адвокат. — Я рад, что обстоятельства совершенно точно отвечают моим намерениям. Ваши слова недвусмысленно говорят о том, как легко мне будет изложить тезис о вашей невменяемости, мадам. Я думал выдвинуть тезис о вашей временной невменяемости, но теперь убедился, что могу добиваться признания устойчивого расстройства психики. (*Пауза.*)

Я еще не сошла с ума, господин следователь. (*Пауза.*) Или, может быть, вы так не считаете? В таком случае скажите, что именно в моих действиях наталкивает вас на мысль о моем сумасшествии. Или я кажусь вам слишком слабой, чтобы поднять меч и отсечь голову смертнику? Отсечь голову мужчине, которого я любила, чтобы спасти его от мучений? Но вот чего не знаете ни вы, ни назначенный адвокат, так это, что от мучений можно спасти лишь того, кто сам избрал смерть. Но не того, кто остался жить.

Мисима был избранником смерти. С самого рождения он попал в ее почетную квоту. А я оказалась всего лишь исполнителем этого великого плана.

С рождения я была его кайсáку[1]. Обезглавителем.

Милостивый ангел смерти, избавитель тех, чьи тело и дух в момент сэппуку[2] сливаются настолько, что для их разделения требуется рука человека.

Я — служительница смерти, господин следователь. И поэтому бессмертна. У каждого, избравшего героический конец с помощью сэппуку, есть свой кайсаку. Он сильней брата и нежней сестры, заботливей матери и строже отца. В миг, когда он вздымает меч, он перестает быть человеком и становится собственной тенью. Жизнь его теряет смысл и цену. Он никогда не станет героем. Никто не в силах спасти его и вернуть ему человеческий облик. Только дух умершего находит в нем убежище. Потому что дух умершего человека, господин следователь, продолжает жить, в отличие от духа живущего.

А вы делаете из меня сумасшедшую. Смеетесь мне в лицо. Суете в глазок чей-то глаз, который круглосуточно за мной наблюдает.

Боитесь меня. Хотите осудить меня за самоубийство самоубийцы. Так осудите его, если сможете! Соберите по крупинке его пепел, поднимите из могилы и осудите! Что? Звучит как бред сумасшедшего? А почему тогда вам не кажется бредом суд надо мной? (*Роется в листах бумаги на полу, находит*

1. Кайсаку — ассистент, присутствующий при ритуале совершения сеппуку, ударом меча он прекращает мучения убивающего себя самурая. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Сэппуку — ритуальное самоубийство. В философии дзен-буддизма, формировавшей мировоззрение самураев, центром двигательной активности человека и местоположением его души считался живот (по-японски "хара"). Поэтому вскрытие живота (харакири) при сэппуку осуществлялось для того, чтобы показать чистоту своих помыслов. Это было последней возможностью оправдать себя перед небом и людьми.

один, читает.) Заключение аутопсии гласит: “Рана в области живота поверхностная, почти царапина. Острие даже не пробило стенку брюшной полости. Жертва погибла в результате второго удара — мечом, обезглавившим ее и вызвавшим мгновенную смерть”. (*Пауза.*)

Это ложь. Ваши патологоанатомы — шайка невежественных мерзавцев. Да ведь я своими глазами видела, как острие вошло в брюшную полость. Я видела глубокий чистый разрез, сантиметров в десять длиной, из которого, как новорожденный, вывалились его кишки. Я видела его лицо, побледневшее, как мел, чистое, как белый лист бумаги, прозрачное, как летнее утро на горе Фудзи. Без губ, без глаз, без надежды, без сожаления. Я видела, как смерть поставила свою печать на это лицо, нежно, как поцелуй. И только тогда взмахнула мечом. (*Тихо.*) Это было прекрасное сэппуку. Лучшее из всех, что можно себе представить. (*Пауза.*)

Когда-то он написал рассказ “Патриотизм”, господин следователь. В нем молодой поручик Такэяма, стоя перед выбором между верностью своим друзьям по оружию и верностью императору, совершает ритуальное самоубийство на глазах у своей красавицы-супруги. Они предаются любви в последний раз, а потом она помогает ему уйти из жизни и остается с ним до конца.

Но как он описывает сэппуку! Эта сдержанная поэзия тела, от которой у тебя перехватывает горло. Спектакль боли как последней связующей нити с жизнью! И реки крови! Ах! Реки крови! (*Смеется.*)

Все это напоминает мне о вас, господин следователь. Я не перестаю представлять себе вас. Вашу молодость. И ваше тело, которое под этой одеждой кричит об обожании, а вы его не слышите. А когда услышите, уже придет старость. И тогда все это потеряет смысл. Так что, если вы думаете что-либо делать в этом смысле, то сейчас самое время. Используйте меня. Я в ваших руках.

Вы и ваша малышка... Как там ее?.. Но ее нервы этого не выдержат. Она будет кричать, будет плакать. И непременно попытается вам помешать. Чтобы спасти. И все испортит.

Поэтому вам нужна я. Я никогда не теряю самообладания. Кроме того, знаю ритуал до мельчайших тонкостей. Знаю, когда и что необходимо. К тому же я изысканный зритель. Могу по достоинству оценить происходящее. И получаю ни с чем не сравнимое удовольствие. (*Смеется.*)

Ваша смерть не будет напрасной, господин следователь. Если рядом с вами буду я. И в конце, когда все повиснет на волоске, я буду там и обо всем позабочусь. Это вас не искушает?

Вы занимаетесь геройской смертью, а убирает за вами кто-то другой. Вы одним прыжком запрыгиваете в Историю, а кому-то другому до конца его жизни снятся дерьмо и кровь.

Хорошая сделка? Или нет? (*Пауза.*)

Ну, ладно. Судя по вашей реакции, вы человек чувствительный. Не расстраивайтесь. Не обязательно все должно быть так уж гнусно. Гнусное наступает в последний момент, когда ничего уже сделать нельзя, но это ненадолго. А до тех пор можете чувствовать себя героем.

Если дерьмо вас смущает, я научу вас одному трюку: подложите побольше ваты. И вам удастся избежать конфуза. Рука ваша не дрогнет, и потом в смертном акте не напишут, что вы только поцарапались.

Всему этому, разумеется, научил меня он. Всему самому важному, что я знаю о жизни, научил меня он. Главное, это постоянно прикрывать срам подручными средствами и косметикой. Не изменять себе, настоящему. Ежедневно накачивать мускулы — не для того, чтобы превратить свое тело в храм, а в надежде изгнать раз и навсегда того хилого, потерянного ребенка, который прячется в храме и не желает оттуда уходить.

Но ведь и сердце тоже мускул, господин следователь. Только не видимый снаружи. И в один прекрасный день, перекачавшись, можешь вывести его из строя. Ты тренировался жить за десятерых, а твое сердце могло жить только для одного. (*Пауза.*)

Сменить прозу жизни на поэзию смерти. Красиво, не правда ли? И романтично. Вот только сначала нужно научиться читать. (*Смеется.*)

Вы умеете читать, господин следователь? То, что писать вы умеете, я уже поняла. Ваша писанина безграмотна, лишена чувства и проницательности. Вы не чувствуете слов и стоящей за ними правды. Но все же это какое-никакое начало. (*Роется в бумагах на полу. Поднимает несколько. Перечитывает.*) Снова двойка за домашнее задание, господин сочинитель. Хоть то, что вы здесь написали, в общих чертах верно. Но стиль по-прежнему отвратителен, даже хуже, чем в прошлый раз. И как вы это назвали? “Добровольные признания”? Ха! Ну что за заглавие? Перечитайте классиков! Не важно, кого именно, любого, на выбор — все больше пользы! Вы спутали жанры! Я рассказываю вам драму, а вы пишете сочинение. (*Пауза.*)

Мне жаль вас, господин следователь. Да, я отлично помню, на какое время назначено судебное заседание. (*Пауза.*)

Гляньте, уже светает. А я, на вашем месте, начала бы вот так.

* * *

Дверь камеры медленно со скрипом открывается. Невидимые руки бросают кого-то внутрь, потом дверь закрывается, слышен поворот ключа. Мадам Мисима некоторое время лежит на полу. Ее кимоно смято и порвано в одном месте. Ноги босые. Грим гротескно размазан по лицу. На лице, у рта, на руках — следы крови и побоев.

Она с трудом поднимается на ноги и добирается до сундука. Он довольно далеко от нар. Достает свои косметические принадлежности и осколок зеркала. Внимательно рассматривает себя, прикасаясь к ранам на лице. Открывает рот и рассматривает зубы. С трудом стоит на ногах. Оглядывается по сторонам, словно в поисках стула. Направляется в угол камеры и подтягивает помойное ведро. Кладет на него сверху кусок фанеры. Совсем тихо, еле слышно, напевает сквозь зубы мелодию из первой сцены. Садится, преодолевая боль.

Осторожно, прерывая напев болезненными вздохами, начинает приводить в порядок грим. На это уходит довольно много времени. Покончив с этим, с трудом встает, плетется к нарам и садится на них.

Из радиоточки раздаются хрипы и треск.

Примерно до середины этой сцены мадам Мисима разговаривает с трудом, шепелявя и чуть коверкая слова.

А, господин следователь. Вы снова здесь. Я не слышала, как вы вошли. Или вы и не уходили?

Вы так добросовестны, что у вас не остается времени на отдых. Напомните мне, чтобы я написала об этом вашему начальству. Такие усердные сотрудники — редкость в наши дни. Вижу по вашим глазам, что вы надеетесь на повышение. Ну что ж, ждать осталось недолго. Я об этом позабочусь. Кое-какие связи у меня остались. Мое имя по-прежнему кое-что значит, даже для тех, для кого до недавнего времени оно не значило ничего. (*Пауза.*)

Как вы меня находите? Ваши люди постарались на славу. Три выбитых зуба и один сломанный. И два вырванных ногтя — по одному на каждой руке. И электричество они тоже не экономят, когда идет речь о... Что вы сказали? Добровольные признания. (*Смеется.*)

У вас бедное воображение. У вас и у вашего ведомства. А жизнь без воображения вообще ничего не стоит. Но вы еще молоды. Для вас еще не все потеряно. Ну ладно, расслабьтесь. Что вы так напряглись? Только не говорите, что впервые видите, как обрабатывают подозреваемого. Хотите взглянуть вблизи? (*Распахивает кимоно.*) Подойдите поближе, не бойтесь. (*Пауза. Запахивается. Туго подпоясывается поясом. Смотрит на свои босые ноги.*)

Вы и в самом деле слишком чувствительны. Вам стоит серьезно задуматься, подходит ли вам эта работа. Что по этому поводу говорит ваша супруга? Или она довольна, что вы приносите зарплату, а как именно вы ее зарабатываете, ее не слишком интересует? (*Ложится на нары. Тянет на себя одеяло.*) Простите, но я должна немного отдохнуть. А вы не уходите. Вы мне совершенно не мешаете. (*Пауза.*)

Как ваши писательские потуги? Смотрю, вы ничего мне не принесли почитать.

Да нет, я и не думала вас пришпоривать. Наверное, начальство и так вас торопит. Да и время не стоит на месте. До процесса осталось всего ничего. Вы прихóдите сюда ежедневно, а что толку? Я играю по своим правилам, вы — по своим. Так мы ни к чему не придем.

Я пытаюсь вам помочь, но вы мне не позволяете. Мои попытки раскрыть вам глаза вы воспринимаете как легкомыслие. Ищите истину в фактах, а справедливость — в наказании. Вы ведь сами не знаете, какая она — истина. И в чем справедливость. Когда-то где-то кто-то второпях что-то вам объяснил, да вы и это забыли. Остались лишь два слова, лишенные смысла. И вы стесняетесь даже произнести их вслух. (*Пауза.*)

Воля ваша. Сегодня у меня нет сил, чтобы настаивать. Скажите, бедный мой мальчик, как сделать вас счастливым, пока это все еще в моих силах. (*Пауза.*)

Поговорить о нем? Да ведь мы только о нем и говорим.

Разумеется, я его знала. Можно сказать, что всю свою жизнь я знала только его. Сначала была его сумасшедшая больная бабушка-самурай, укравшая его у матери просто так, от нечего делать. Потом — его мать, без которой он просто не мог дышать и которую носил на руках до самого конца. Затем — его жена, которая тащила его на своем горбу целых двенадцать лет, а он в благодарность оставил ее вдовой с двумя маленькими детьми на руках. И, наконец, я. Его кайсаку. Личная Ника Самофракийская, благодаря которой он смог выиграть битву с самим собой, причем так, что его собственная голова стала последней точкой в неразборчивой рукописи его жизни.

Почему он это сделал? Да по многим причинам. По-моему, потому, что у него было все. А когда у человека есть все, он живет в постоянном страхе, как бы это все не потерять. Этот страх постоянно растет и мешает видеть, что там, за линией страха, жизнь продолжается. Не поймите меня превратно. Мисима не был трусом. Он был героем. Он превратил свой страх в нечеловеческую отвагу, а это уже само по себе — подвиг, достойный восхваления.

Он написал свои книги, везде побывал, все изведал, воспользовался всеми благами своей чудовищной славы, выполнил все взятые на себя обязательства, обеспечил своих близких, простился с друзьями, не забыл и о врагах, пребывая на сцене так долго, что ему уже было безразлично, как его зрители проводят — аплодисментами или свистом.

Люди смотрят, но не понимают. Поэтому умирают с открытыми глазами. А у него в конце осталась только я. Потому что он решил умереть как герой, и я должна была ему в этом помочь.

И когда острие вошло в его обнаженный живот, клоунада, наконец, закончилась. Мы оба это поняли. Усилием воли он расслабил мускулы живота, чтобы лезвие легче вошло в его плоть, и нажал. Он столько лет к этому готовился. А я плотнее сжала в ладонях рукоять меча, который он сам мне дал. И все. Остальное вы знаете. Вы видели фотографии, смотрели фильмы, слышали анекдоты, читали книги. (*Пауза.*)

Что? Не читали? (*Смеется.*) Я ведь велела вам читать классиков, господин следователь. (*Нарочно шепелявит.*) Классиков! Классиков. (*Смеется взахлеб, до слез. Затем спокойнее.*)

Ох, больно. Перестаньте. Смилуйтесь над своей жертвой. Я ведь вижу, что вы хороший мальчик. Вряд ли в ваши служебные обязанности входит желать мне зла. Для вас это может быть средством, но не целью. Что такое несколько оплеух и несколько выбитых зубов на пути к истине? И даже несколько сотен вольт во имя справедливости? Эх, господин следователь, вам еще учиться и учиться! Вы еще многих заставите страдать, прежде чем научитесь. (*Пауза.*)

Мисима был самым известным человеком в Японии! Можете себе это представить? Более известным, чем премьер-министр. И, может, даже известней, чем Император, хоть так говорить — святотатство. А сейчас он стал еще известней. Он всегда знал, как сделать себе рекламу.

В тот памятный день он обеспечил даже вертолеты японского государственного телевидения NHK. Они кружили над площадью, на которой он собрал более тысячи солдат, чтобы произнести перед ними речь о верности Императору. Вот только вертолеты ревом моторов заглушали его, а солдаты — освистывали. И тогда я, глядя на все это из своего окна, подумала: “Реклама убивает. Не слава, а популярность. Не признательность грядущих поколений. А эти телекамеры. Не книги, а газеты”.

Рев вертолетов заглушал его голос. Он стоял там, на террасе — маленький, жилистый и страшный. В безмерном отчаянье от того, что ему предстояло. Никто его не слушал — все

слушали вертолеты. И каждый в отдельности слушал себя. Свое собственное “у-у-у” и “а-а-а”. Свое “пошел вон отсюда, кретин!” и “уберите этого идиота!”. Площадную брань, которую изрыгали их юные грубые солдатские глотки.

Но даже если бы они его слышали, это уже не имело значения. Даже его собственные гвардейцы не понимали, что происходит. Только телекамеры продолжали работать. Микрофоны журналистов усиливали рев толпы. Император сидел в своем дворце и ни о чем не подозревал, потому что император, это не человек, а принцип, он и не должен ни о чем подозревать. (*Пауза.*)

Эти слова вы где-то слышали, господин следователь? Вы не помните себя в этой толпе?

Позднее те, кто не прочел ни одной его книги, назвали его фашистом. Да, я знаю, что вы не употребляете подобных эпитетов, и весьма вам признательна за это. Но ведь и людей, ни на кого не похожих, тоже надо как-то называть. Впрочем, Мисима куда больше расстраивался, если его причисляли к интеллектуалам. (*Смеется.*) Но не обижался, когда его называли клоуном или шутом.

А вы знаете, чем гений отличается от глупца? Гений преспокойно может себе позволить — и часто позволяет — быть сколько угодно глупым. Это ни в коей степени не мешает его гениальности. В то время как глупец никак не может быть одновременно и гением. Потому что гениальность — это состояние духа, а глупость — злокачественное свойство характера.

И поскольку Мисима был именно гением, в нем прекрасно уживались и высокий ум, и глупая суетность. Уживались и даже находили общий язык. Его суетность была всеядной и ненасытной, так же, как и ум. Он не боялся выглядеть смешным, потому что не находил в себе ничего смешного. И развлекался, будучи лишен чувства юмора. А развлекался он много, хотя ему было не до развлечений, и ничто его не забавляло. Он воспринимал развлечения как долг, да и жизнь воспринимал так же. И самым прилежным образом выполнял то, что, как он думал, жизнь от него требует. А жизнь ничего не требовала. Однако Мисима, непревзойденный стилист, не понимал языка жизни. И в итоге они друг друга так и не поняли. (*Пауза.*)

Этот Мисима, господин следователь, был просто сплошное недоразумение. Анекдот, да и только! Ха! А вы знаете, что он совершенно не умел взглянуть на себя со стороны? Не имел ни малейшего представления о том, как его восприни-

мают окружающие! Он придумывал разные вещи и сам в них верил. Под конец никто уже не воспринимал его всерьез.

А он взял и создал собственную гвардию! Представляете? Тетенокай, "Общество щита". Самую маленькую армию в мире, как он сам говорил. И самую духовную. Это была без малого сотня голобородых юнцов, которым он пошил форму и научил маршировать. С кем они должны были воевать? Этого не знали и они сами. Они слепо пошли за ним, потому что он им нравился. Им нравилась придуманная им игра.

Они устраивали парады, как устраивают цирковые представления — с публикой и фанфарами. А он красовался в первом ряду в белой форме, как какой-нибудь бог войны. Ну, настоящий генерал.

Вы спрашиваете, господин следователь, кто это все позволил? Спросите ваших начальников. Почему вы задаете вопросы только мне? Почему только мне подсовываете на подпись какие-то выдуманные лично вами мои "чистосердечные признания"?

Мисима и его духовная армия! Его литературный талант иссякал, и он готовился к войне. И хоть он обучал своих кадетов всем тонкостям военного искусства, он прекрасно знал, что настоящий враг притаился внутри его самого. Мисима давно готовился сразить этого врага. "Общество щита" было ему нужно только как предлог. К тому же он желал, чтобы все происходило на публике и в декорациях. Потому что так ему казалось красивее. Подлиннее. И потому что он отказывался жить иначе. (*Пауза.*)

Но, несмотря на это, я его любила. Мне кажется, мы с ним всегда были любовниками. Во всяком случае, я не помню времени, когда не были. Он меня тоже любил, хоть ни разу не произнес этого вслух. Он приходил и уходил. Делал мне подарки. Ходил и к другим женщинам, но я на него не сердилась. Я ведь тоже ходила к другим.

Мир слишком мал, господин следователь. В конце концов оказывается, что человек не выбирает, кого ему любить, он может только выбирать, любить ли.

Мы встречались в укромных комнатушках в барах Гинзы. Устраивали встречи в гримерных после представлений его пьес. Снимали гостиничные номера в провинции, подальше от Токио. Он любил демонстрировать мне свое обнаженное тело, которое я изучила лучше, чем свое собственное. Любил играть передо мной мускулами, которые наращивал и ваял жестокими тренировками. Потом развязывал на мне пурпурное оби, которое сам мне подарил, расстилал его на полу и опускался на него на колени.

“Смотри, — говорил он мне, — это кровь. Представь себе, что это — кровь, а это — тело, из которого она льется. Тело состоит из слов, а кровь — это действие. И когда смерть наступает медленно, действие преисполняется смысла, а слова становятся мирами”.

Потом мы любили друг друга в реке крови. Он кончал первым, и на гребне речной волны выступала его пена. А я кончала позже, когда он уже уходил. В одиночестве. (*Смеется.*)

Что поделаешь, господин следователь. У меня всегда был катастрофический вкус в отношении мужчин. Что ж удивительного в том, что в конце концов я оказалась здесь. (*Пауза.*)

Своим упорством и беспомощностью вы ужасно напоминаете мне его. К сожалению, во время обыска у меня в доме, полицейские конфисковали мое пурпурное оби. И сейчас от рек крови остались лишь несколько жалких капель, которые ваши палачи в камере пыток сегодня с таким трудом выбили из моего жалкого тела.

* * *

Все та же обстановка. Мадам Мисима стоит в углу лицом к стене и мочится в помойное ведро, опираясь одной рукой о стену. Вторая рука — в складках кимоно. Ее кимоно закрывает угол, как ширма. Это уже другое, более официальное, куда более роскошное кимоно, чем то, что было на ней раньше. Не поворачиваясь, она начинает говорить, когда струя еще течет в помойное ведро.

Мне запретили с вами разговаривать. Точнее, разрешили не разговаривать, если я не хочу. Напомнили мне о том, что у меня есть право на молчание. (*Приводит в порядок свою одежду, затягивает потуже оби, закрывает ведро фанерой, поворачивается лицом к залу.*)

А у вас, господин следователь, есть право сослаться на мое молчание, если ваше начальство спросит, почему расследование не продвигается.

Как это приятно — облегчиться. Облегчить свое тело, свою совесть. Все. Вспомнить свое первоначальное состояние, когда ты слишком мал, чтобы отвечать за что бы то ни было. Так начинается любое перерождение.

Сегодня я чувствую себя именно так: облегченной от любой ответственности. Готовой начать новую жизнь, в которой не будет ничего нового. (*Усаживается на пол. Церемониально разглаживает руками и располагает складки кимоно вокруг своего тела. Продолжая говорить, разыгрывает жестами воображаемую чайную церемонию.*)

Сегодня утром меня вновь посетил назначенный адвокат. Принес мне чистую одежду и мыло — я приняла все это с благодарностью. В конце концов, его постоянство заслуживает известного уважения. Да и его навязчивость уже не производит на меня столь отталкивающего впечатления.

Кроме того, с ним был еще один человек. Психиатр. Щуплый человек с усталым лицом и странной улыбкой, примерно того же возраста, что и адвокат. Психиатр обработал мои раны, не переставая громко возмущаться жестокостью моих мучителей. Я ему не стала говорить, что раны уже не болят. Это так приятно, когда к тебе прикасается тот, кто ничего не хочет у тебя отнять.

Адвокат представил психиатра: профессора Ашоку. Сказал, что он — великое светило в своей области, а также эксперт, к услугам которого он нередко прибегает. Со мной он держался очень мило, но достаточно твердо.

В итоге, господин следователь, может оказаться, что этот противный старый официальный защитник — настоящий мужчина. Он сказал, что профессор Ашока прибыл, чтобы задать мне несколько вопросов. И что в моих интересах отвечать точно и исчерпывающе ясно. Не забывая о том, что цель этих вопросов — установление моей невиновности. "Невменяемости", — кротко поправил его профессор. "Не имеет значения, — ответил адвокат. — В данном случае все равно что мы установим".

И они кивнули друг другу так, словно между ними существовал какой-то божественный заговор. А потом мы с профессором пообщались самым приятным образом. Более трех часов он подробно расспрашивал меня о моей жизни и так усердно записывал каждое мое слово, что исписал целую тетрадь.

Он предложил мне тест Роршаха, а я, чтоб его не огорчать, сделала вид, что вижу эти пятна впервые. А когда он меня расспрашивал, что именно я вижу в том или ином случае, я рисовала ему такие фантастические картины, что у него разгорались глаза, и от волнения в руке начинал дрожать карандаш. Еще он спросил, помню ли я, из какой груди чаще меня кормила мать, и видела ли я своего отца обнаженным в возрасте до трех лет. Я отца никогда в жизни не видела, но не сказала об этом, чтобы не разочаровывать профессора Ашоку. К тому же его вопросы доставили мне такое огромное удовольствие! Я призналась, что боюсь лошадей, а от звуков сямисэна меня бросает в пот. Под конец он меня спросил, есть ли у меня в роду самоубийцы, гомосексуалисты, алкоголики или осужденные за тяжкие государственные преступления.

Как можно, господин профессор, ответила ему я. Мой прапрапрадед был великим самураем. Думаю, этим я его окончательно покорила.

Затем они оба с адвокатом о чем-то долго шептались у двери, пока я невозмутимо приводила свой туалет в порядок. Посовещавшись, они вернулись ко мне, и адвокат пожал мне руку. “Поздравляю вас, мадам, — сказал он. — Теперь вы официально освидетельствованы. Профессор Ашока подготовит необходимый документ и передаст его в суд. Это означает, что все ваши заявления и показания, сделанные ранее, или будущие, будут считаться ничтожными и лишенными юридической силы, то есть не будут иметь доказательственного значения. Иными словами, можете говорить что вам угодно, никто не станет обращать на ваши слова внимания”.

Затем адвокат наклонился ко мне и шепнул на ухо: “Профессор страшно заинтересовался вашим случаем”. У меня по телу пробежала горячая волна, слезы признательности выступили на глазах. Я еле смогла прошептать адвокату: “Передайте профессору, что наши чувства взаимны”.

Потом господа покинули меня, и я, уже не сдерживаясь, дала волю слезам. (*Пауза. Наливает воображаемый чай в воображаемые чашки.*)

Ну, как вам эта история, господин следователь? Она не щекочет ваше самолюбие? Не преисполняет вас сладкой болью побежденного? Хитрый лис оказался этот адвокат, не так ли? И как хитро все закрутил: с одной стороны, имею право молчать, а с другой — что бы я ни сказала, не имеет значения.

Как вы побледнели, мой мальчик! Как запали ваши щеки! Вы непременно должны когда-нибудь пожаловать ко мне в гости! И я угощу вас первоклассным церемониальным чаем. Самым крепким. Не этими помоями, которые принес назначенный защитник. После первой чашечки вы почувствуете себя слегка опьяневшим. Мир закружится у вас перед глазами. Вы увидите вещи, никем до вас не виданные. После второй чашечки вы уже никогда не будете прежним. А после третьей впадете в забвение, страшно напоминающее смерть, но безболезненное. Вы почувствуете лишь удовольствие и просветление, которое следует за ним.

Уверяю вас, господин следователь, стоит пережить все это со мной. А теперь я с радостью подпишу вам все, что вы пожелаете. И советую вам сохранить свое произведение с моей подписью внизу, хотя оно довольно топорное. В один прекрасный день вы сможете продать его за хорошие деньги. Сможете, так сказать, его осеребрить. Ибо, как мне кажется, вряд ли когда-

нибудь вы научитесь проигрывать. Поэтому пусть хоть деньги послужат вам скромным, но все же весомым утешением.

Вы не принесли его с собой? Но почему?

Я все это время, пока сижу здесь и размышляю, постепенно теряя рассудок, который мне уже и не очень нужен, размышляю, даже когда терплю истязания палачей, инструктированных лично вами, успокаиваю себя, думая о том, что́ вы сейчас пишете и насколько вы уже преуспели. И что мои страдания не только забавляют вас, но и приносят какую-то пользу. А получается, что вы только и ждете подходящего повода, чтобы отказаться от этого дела.

Вероятно, я была к вам чересчур строга, и вы этого не заслуживали. Но и вас трудно назвать прилежным учеником. И поскольку вы искали легких путей, адвокат в конце концов переиграл вас. Он так легко и просто обвел вас вокруг пальца, что вам теперь не остается ничего другого, кроме как восхититься его действиями. И это притом, что я была на вашей стороне.

Что же вы теперь будете делать, господин следователь? Где найдете другого подозреваемого? Никто, кроме меня и Мисимы, не прикасался к этому мечу. Никто другой не держал его в руках. Его уже нет в живых, скоро и я вас покину. А что будете делать вы? Что от вас останется? Печальная безутешная тень, распростертая на полу этой камеры. Неужели, господин следователь, вы хотите, чтобы я запомнила вас именно таким, как сейчас? Не становитесь сентиментальным. Берите пример с него — благо пример совсем свежий. Бойтесь, сколько вам угодно, но не сходите с предначертанного вам пути. И не забывайте, что каждый раз, когда перед вами возникает выбор между жизнью и смертью, верное решение — смерть. Не пренебрегайте этим древним правилом самурая. Не важно, что ваш прапрапрадед, скорее всего, был простым торговцем рыбой на рынке.

Да и Мисима был просто писателем, который слишком много о себе возомнил. Вот только у писателя есть то преимущество, что, когда он что-то долго и настойчиво представляет в своем воображении, это постепенно становится реальностью. И в конце даже выдуманная боль становится настоящей, не говоря уж о выдуманном счастье.

А что тогда говорить о нас с вами, обычных людях, которым незачем что-либо воображать. Эта неспособность выбивает нас из колеи. Доводит до безумия. Как животных в зоопарке нехватка свободы. Они не умеют медитировать, не способны на философские прозрения. Не могут отделить дух от тела. Они лишь хотят быть такими, какими созданы. Пользуются своим неотъемлемым правом на молчание.

Мисима тоже научился молчать. И это он, который говорил так много, что уже начинало надоедать. Порой в потоке его слов ощущалось какое-то страшное молчание, которое вглядывалось в тебя, прищурив глаза, со страниц его книг.

Если вам, господин следователь, когда-нибудь доведется раскрыть одну из этих книг, особенно из последних, уверена, что это молчание все еще будет там.

Но вряд ли доведется. Просто вы с ним слишком похожи. Не хотите узнавать, хотите жить. Но не знаете как. Голоса ваших собственных желаний заглушают вас, вы готовы отрезать себе голову, лишь бы заставить их замолчать. У вас все есть, но вам всего не хватает. Река сочинительства, река театра, река тела и река действия пересыхают одна за другой. Их заливает река крови, но потом пересыхает и она. Вам кажется, что наступает конец света. А если вы достаточно умны, то уже поняли, что конец света может быть воспринят только лично. И могут быть только личные причины хотеть стать героем. Поэтому вы создаете соответствующие обстоятельства. Режиссируете собственный театр, шьете костюмы, оформляете сцену, выбираете действующих лиц, пишете им реплики и приглашаете публику.

Если человек не гениален, то все это выглядит жалко, поверьте. А если все-таки гениален, то ему удается сыграть главную роль до того, как мизансцена с треском провалится и погребет его под своими обломками.

Конец света наступил, господин следователь. Я была там, видела его своими глазами и даже участвовала в нем. Но ни на миг не допустила, что это может быть и мой конец. (*Пауза.*)

Я держала меч, только и всего. В полном молчании. Без единой реплики. Почему, спросите вы? Потому что так решил Мисима. (*Смеется.*)

В сущности, я мечтаю прочитать вашу историю. Чтобы посмотреть на себя вашими глазами, которые даже сейчас, в такой момент горят мрачным возбуждением, вызывая у меня оторопь. И то, что вы мне ее не даете, возбуждает меня еще больше. (*Медленно ложится на пол.*)

Знаете ли вы, как я красива — там, при дневном свете. Если вы увидите меня, озаренную хоть одним лучом солнца, вы не сможете не пожелать меня. Мое тело словно вырезано из слоновой кости. Все в нем деликатно и соразмерно. И каждая его клеточка подобна весеннему цветку, раскрывающемуся для жизни. Оно мягкое и сильное, хрупкое и гибкое. А кожа! Вы никогда не прикасались к такой коже. Она наполнит ваше сердце нежностью и доведет вас до слез. Заставит забыть о том, что вы человеческое существо. Моя кожа, господин сле-

дователь, благоухает материнским молоком, которым матери кормят своих сыновей, когда те приходят в этот мир. Даже если вы прикоснетесь к ней губами один-единственный раз, вам хватит этого на всю жизнь.

А мое лицо! Вряд ли вы видели подобные лица. Это лицо божества, которое предается отдыху после того, как создало все самое прекрасное и самое страшное во Вселенной. Оно блестит подобно звезде — холодной и совершенной снаружи, но раскаленной, как лава, внутри адским пламенем сотворения.

А волосы! Чтобы их описать, слов просто не хватает. В сравнении с ними ночь не темнее летнего полдня. Они черны, как грех, и блестящи, как смерть героя. Увидев мои волосы, вы просто потеряете рассудок и пожелаете, чтобы вас ими удушили. (*Смеется.*)

Не знаю, как еще вам это сказать. Не знаю, как намекнуть, что при других обстоятельствах я не пожалела бы жизни, чтобы заняться с вами любовью, господин следователь.

* * *

Та же обстановка. Раннее утро. Все еще сумеречно, но постепенно светает.

Мадам Мисима сидит у сундука на помойном ведре с фанеркой и медленно переставляет на нем свои туалетные принадлежности и косметику. На ней то же кимоно, что и в предыдущей сцене.

По радио гремит знакомая жизнерадостная музыка для побудки. Углубившись в свое занятие, мадам Мисима сидит неподвижно.

Постепенно музыка стихает. В замке поворачивается ключ, потом раздается скрип тяжелой двери. Кто-то входит в камеру.

Мадам Мисима говорит, не оборачиваясь.

Не предполагала, что мы с вами еще увидимся. Адвокат сказал мне, что вас отстранили от дела. (*Пауза.*) Он о вас очень высокого мнения. Просил меня, чтобы я передала вам — не воспринимайте его как своего личного врага. Сказал, что был бы весьма рад, если бы вы приняли его приглашение на ужин. Весьма благородно с его стороны, вы не находите? Но я сказала ему, что, скорее всего, вы не примете его приглашения. (*Пауза.*)

Ладно, хватит грустить. Да мы с вами вполне еще можем когда-нибудь увидеться. Я слышала, что там, куда меня переводят, разрешены посещения. Нет? Значит, не придете... Ну что ж, может, так оно и лучше. Тогда простимся здесь и сейчас, без церемоний. Посмотрим в глаза друг другу и пожмем руки.

Как это романтично. И как типично для вас, господин следователь. Но я знаю, о чем вы думаете. Вы убеждены, что не

назначенный адвокат, а я — ваш настоящий враг. Чувствуете себя побежденным и низвергнутым, потому что начальство устроило вам разнос и отстранило от дела.

Вы предполагали, что я буду покорной и безропотной, как ваша супруга. И буду готова отдать жизнь, лишь бы не посрамить вас. Но я к этому не готова, господин следователь. Не забывайте, что эти руки держали меч. И воспользовались им. Кроме того, делать из мухи слона — признак незрелости. Сейчас другие времена. Если мелкое служебное недоразумение настолько выбивает вас из колеи, как вы сможете доказать своему начальству, что впредь оно все же может на вас рассчитывать?

А-а, говорите, вы собрали доказательства. Ну что ж, это уже кое-что. Может, это значит, что вопреки всему вы все же стали мудрее. Может, вопреки всему, вы не будете меня вечно ненавидеть, как ненавидите сейчас. Но если вам легче ненавидеть меня, чем себя, — пожалуйста, продолжайте. Я ничего не имею против. Я сделала бы для вас все, потому что я ваша должница. Да и вы уж точно последний мужчина, который не оставил меня равнодушной, и это не просто извращенное любопытство. (*Поворачивается.*) Хотите, чтобы я оказала вам последнюю услугу?

Надеюсь, вы не собираетесь мне исповедаться. Впрочем, даже если так, — я готова, разумеется. Вот только поторопитесь, мне здесь недолго осталось.

Стать вашей *кайсаку*? Сейчас? Вы даже написали свое предсмертное танка? Нет-нет, не показывайте. Меня это вообще не интересует. (*Смеется.*)

Вы ведь это не серьезно, не так ли? Ведь я не палач, господин следователь. Да и признаться, ваше неумение проигрывать в известной степени меня отталкивает. А уж просить меня помочь превратить ваше поражение в полный провал — благодарю покорно.

С другой стороны, не удивлюсь, если вы приготовили мне западню. В первый раз вам это не удалось, но, если вы умеете извлекать уроки из своих поражений, во второй раз должно получиться. Вы хотите, чтоб меня непременно осудили. Хотите знать наверняка, что мне от вас не улизнуть. И в то же время хотите реабилитировать свою профессиональную честь, пусть даже посмертно.

Как же мне это раньше не пришло в голову? Вы должны были сказать мне гораздо раньше. Тогда, может, я и подписала бы эту вашу глупую писанину. Но теперь... (*Пауза.*)

А если я откажусь? Не только из моральных, но и из практических соображений. Например, из-за того, что не располагаю профессиональным инструментом. Меч Мисимы вы

лично у меня конфисковали. Могу лишь предложить перерезать вам горло осколком зеркала, которым я пользуюсь, наводя красоту, но вряд ли вам это понравится.

Мечом мне, как вам известно, приходилось пользоваться. А вот насчет зеркала не могу вам дать никаких гарантий.

Понимаю. Вы принесли с собой кинжал. И хотите лишь, чтобы я смотрела. Не разубеждала вас, а только смотрела. А с чего вы взяли, что я собираюсь вас разубеждать? Я ведь сказала, что у меня совершенно не осталось времени.

А вата? Ватой вы запаслись? Браво. Все-таки кое-чему я вас научила. Нет, показывать не надо. Я вам верю. (*Смеется.*)

Но имейте в виду — это самая безболезненная часть процедуры. Остальное не для людей со слабыми нервами. Вы будете мучиться, а я ничего не смогу сделать, чтобы облегчить ваши страдания. (*Пауза. Отворачивается к стене. Берет зеркало. Освежает свой грим.*)

Дайте мне свою рубаху. Если хотите, я могу передать ее вашей супруге. Как вам будет угодно. А теперь опуститесь на колени — спина прямая. Постарайтесь дышать спокойно. Сосредоточьтесь. И самое главное — расслабьте мышцы брюшного пресса. Расслабьтесь как следует. С первого раза может не получиться. Постарайтесь. Иначе вы сами себе будете оказывать сопротивление, а это лишь продлит ваши страдания. Будет очень больно, господин следователь. Вы даже не представляете себе, как будет больно.

Слышен шум подъезжающей машины. Пауза. Мадам Мисима прислушивается. Тишина.

Думаю, это за мной. Мне пора.

(*Громче.*) Какой рукой вы пишете, господин следователь? Левой или правой? В таком случае, начните слева. И не останавливайтесь, пока не доведете дело до конца. Боль может сыграть с вами злую шутку. И если вы вообще сможете думать, пока будете это делать, думайте о том, что будет потом. А не о том, что происходит сейчас. (*Пауза.*)

В добрый час, господин следователь.

Собирает туалетные принадлежности с сундука и ссыпает их себе в подол. Прихватив подол, поднимается и поворачивается. Кричит.

Стоит в оцепенении. Потом идет к нарам, высыпает на них туалетные принадлежности. Достает из-под нар чемодан, кладет на нары и открывает. Достает из чемодана белую парадную униформу. Развязывает оби и снимает кимоно — верхнее и нижнее. Аккуратно складывает их. Остается в одних трусах. Перед нами снова мужчина. На его животе виден багровый поперечный

шрам через весь живот. Мужчина, не торопясь, надевает белую парадную форму. Сначала брюки, затем китель на голое тело. Затягивает ремень. Вынимает начищенные до блеска черные ботинки и обувает их. Берет из кучи туалетных принадлежностей коробку с кремом, открывает ее и густо намазывает лицо. Снимает грим.

Надевает на голову фуражку. Складывает в чемодан кимоно и туалетные принадлежности. Закрывает крышку. Достает из-под нар самурайский меч в ножнах. Подпоясывается ремнем, прикрепив к нему меч в ножнах. Берет чемодан и направляется к двери. Делает несколько шагов и останавливается у того места, где, как мы предполагаем, лежит тело следователя. Вынимает из ножен меч и отдает честь мечом.

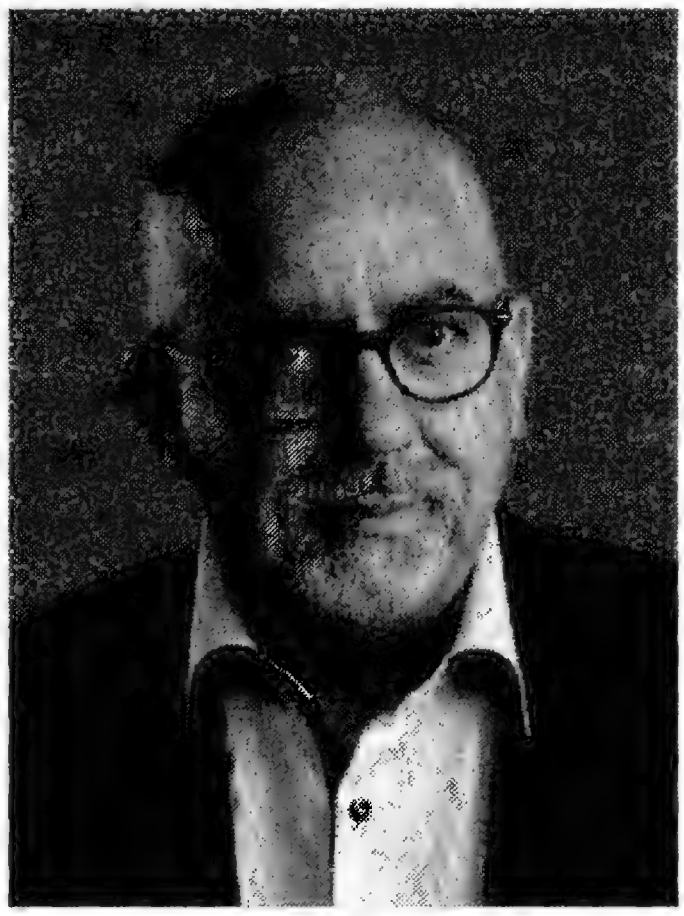
Опускает меч в ножны и идет дальше.

Слышен звук удаляющихся шагов, скрип тяжелой двери.

Из радиоточки внезапно оглушительно звучит японский военный марш, но после первых тактов раздается скрип, и музыка прерывается.

Постепенно гаснет свет.

Мелкер Инге Гарай



Крыса и другие злые рассказы

Перевод с шведского Катарины Мурадян

Крест

ВЕРШИНУ величественной церковной башни венчал крест. Он возвышался над деревушкой и знал все о ее обитателях. Таких, как, например, мужчина у колодца. Сегодняшним вечером он явился домой пьяный и избил жену так, что она потеряла сознание. Такая сцена довольно часто повторялась. Дети видели все это и рыдали... Но на следующий день жена обычно мужа прощала и пыталась внушить детям, чтобы они забыли те кошмары, которые им довелось увидеть накануне. А когда наступало воскресенье, она и дети молились и благодарили Бога за то, что он создал этот лучший из миров.

Да, крест знал свою деревню и ее обитателей. И он, конечно, не сомневался в том, что есть немало достойных людей и в них можно найти немало хорошего. Возможно, благодаря именно этой мудрости крест мог смириться со всеми пороками обитателей деревни. Но все же с одним обстоятельством крест не мог смириться. Пастор, когда его никто не видел, творил такие мерзости, о которых никто не подозревал.

Спустилась ночь, и крест возвышался на фоне черных небес. Вдруг он вспомнил, что́ пастор однажды рассказывал о чуде. О

© Melker Inge Garay
© Катарина Мурадян. Перевод, 2016

том, что каждое чудо свидетельствует: Бог создал совершенный мир. Мир, в котором нет места злу. Крест долго думал над словами пастора. И он знал, что пастор прав. И в то же время неправ. Потому что в совершенном идеальном мире не может быть чуда. Хотя мир и полон чудес. Злых чудес. Ведь каждый раз, когда пастор ласкал ребенка, случалось настоящее чудо.

Поросенок

ПОНАЧАЛУ Оскар не обратил внимания на девицу, которая стояла немного поодаль и смотрела на него. Но вскоре он все же ее увидел. Ему показалось, что она выглядит чересчур серьезной. Чтобы хотя бы немного развеселить ее, Оскар решил — а он сегодня пребывал в игривом настроении — немного побегать и попрыгать. Но девушка по-прежнему оставалось серьезной. И он спросил ее, почему она такая невеселая.

— Я думаю, — ответила она.

И надолго замолчала.

А потом задала Оскару вопрос:

— А вот ты, поросенок, сам-то ты знаешь, для чего живешь?

Оскара раньше никто об этом не спрашивал, но он знал, что должен ответить: я живу, потому что я люблю жизнь...

— Знаю, я живу, потому что люблю жизнь, — ответил он весело и высоко подпрыгнул от счастья.

Но девушка знала: это не так, он живет вовсе не потому, что любит жизнь. И она решила, что должна сказать ему правду. Потому что она вспомнила о своих родителях, которые научили ее всегда говорить правду.

Оскар продолжал прыгать рядом с девушкой, и она вдруг поняла, что он действительно любит жизнь. Как это хорошо, подумала она про себя. Но потом снова вспомнила о том, что мать и отец твердили ей, как важно всегда и во всем придерживаться истины. И тогда она сказала:

— Послушай меня...

Оскар приподнял свой пятачок и взглянул на нее восторженными поросячьими глазками.

— А теперь я скажу тебе кое-что. Ты живешь только потому, что этого хочет мой отец. Но в один прекрасный день он передумает. И больше не захочет, чтобы ты жил.

Малыш Оскар в ужасе взглянул на нее.

А она продолжала:

— Так что можешь сколько угодно скакать тут и прыгать. Но рано или поздно мой отец перережет тебе горло.

После того как девушка это произнесла, она увидела, что Оскар буквально побелел, он находился в состоянии шока. Но она решила, что она просто молодец, ведь она сказала правду, а ведь именно это и было самое важное.

На следующий день Оскар исчез. Его искали повсюду, но нигде найти не смогли. Он пропал, как сквозь землю провалился, а через несколько недель все попросту забыли о нем. Через полгода в лесу заблудилась девушка. Она стояла посреди деревьев и не знала, в какую сторону ей идти. Но вдруг она услышала, что кто-то зовет ее.

На следующий день ее нашли на краю болота. Труп ее был наполовину изъеден.

Крыса

В один прекрасный день Крыса проснулся и обнаружил, что он превратился в человека. Он уселся и долго созерцал свое новое тело. "Наверное, это сон", — подумал он. Но нет, это был не сон. Не сон, а явь.

Он встал и решил отправиться в город. После того как Крыса провел день среди людей, он пришел к выводу, что он гораздо умнее, чем они. Он считал, что люди очень инертны. А крысы — напротив. Они всегда начеку, они бодры и сообразительны. Он подумал о них. Вероятно, они решили, что он мертв. Но нет, он не умер.

Когда наступили сумерки, он отправился в парк и уселся на скамейку. Так он посидел некоторое время, а потом обратил внимание, что крысы каштановой масти стоят и с любопытством на него взирают. Он сначала даже не знал, что ему делать, а потом вспомнил, что у него в кармане есть кусок хлеба. Он осторожно вытащил его и положил на землю. Ждать ему пришлось недолго — крысы скоро приблизились к хлебу и понюхали. Но вместо того чтобы есть хлеб, они по-прежнему смотрели на него. Тогда он наклонился вперед и вытянул правую ладонь. Таким образом он звал кого-нибудь из крыс сесть ему на руку. И скоро ему на руку села одна из крыс. Он медленно поднял руку и обнюхал ее. В этот миг он понял, что крысы, которые стоят и смотрят на него, были его друзьями. И он увидел, что они любят его.

Он ласково погладил крысу, а потом спустил ее на землю. Потом встал и ушел из парка. Он уже не был крысой. Теперь он был человеком. "Но что я буду делать среди людей?" — спрашивал он себя. Ведь они только спят и видят, как бы им истребить мое родное крысиное племя.

И вдруг — он даже и сам не знал почему — он задумался о Христе. А разве его самого не звали Христос? Его буквально пронзила эта догадка. Подумать только — а ведь он был не кто иной, как Христос. Крысиный Христос? Он остановился и взглянул на небеса. Он даже не поверил своим глазам — вдруг вокруг наступила тьма. Но скоро он снова задумался о том, а действительно ли он — крысиный Христос. Тогда небеса неожиданно вспыхнули ярким светом. Свет ослепил его, и он зажмурил глаза. Как долго он так стоял, с закрытыми глазами, ему не удалось вспомнить, но когда он открыл глаза, то он снова был крысой. И вокруг него толпились тысячи крыс. Он воскрес. Да, он воскрес из народа.

Теперь он знал, что он был истинный Христос. Не тот, кого пригвоздили к кресту, не тот, с которым поступили как со лже-Христом. Нет, сказал он сам себе, истинного Христа не распяли бы. Да ведь он и сам сможет распять всех людей, которые намеревались истребить его племя. Крысы визжали от восторга, когда они услышали это. Ибо они поняли, что он — избранник. И он всегда был избранником. Ибо Крысиный Бог нашептал ему это в ухо, когда его ослепил яркий свет. Свет, который вспыхнул посреди самых темных ночных небес, которые когда-либо простирались над землей.

Осколок стекла

НИ одно из деревьев в лесу не прислушивалось к маленькому кусту. А днем деревья закрывали собой солнце и бросали на него свои высокомерные тени, насмехаясь над ним. Когда опускались сумерки, они начинали о нем злословить. Да, так это и было всегда, и так всегда и будет. И он ненавидел их.

Однажды он увидел, что какая-то пара пришла в лес погулять. Находясь недалеко от него, они опустились на землю, вытащили из корзинки еду и принялись есть. Небольшой куст с любопытством смотрел на них и понял, что они счастливы, что они любят друг друга.

На следующий день над лесом светило солнце. И хотя высокие деревья пытались заслонить собой солнечные лучи, несколько лучей все же коснулись его. Когда он выпрямился, чтобы почувствовать тепло от солнечных лучей, что-то привлекло его внимание. Во мху, в том месте, где сидели люди, он увидел осколок стекла — он блестел и переливался на солнце. Он смотрел на него и, когда наступил вечер, решил, что осколок изменил свой взгляд на мир.

Через несколько дней ярко светило солнце и осколок стекла блестел, как никогда раньше. Маленький куст увидел это и жестоко улыбнулся.

Получилось так, как он и надеялся. Некоторые листья, которые лежали рядом с осколком стекла, начали дымиться. Очень скоро они сгорели. Огонь быстро распространялся, и небольшой куст знал, что пламя перекинется и на него. Да, он умрет. Но не в одиночку. Его мучители тоже обречены, и эта мысль его осчастливила.

Большие деревья вокруг воспламенились, и он услышал их отчаянные крики. Но сам он, конечно, смеялся. Он смеялся от счастья, потому что огонь словно спалил все его печали. И хотя он был наполовину охвачен пламенем, все еще был слышен его смех.

Рога

БОГ стоял в темном зале и смотрел на себя в большое треснувшее зеркало. Его мясистый нос стал костлявым, от его прежней густой светлой шевелюры осталось только несколько волос. Морщины изрезали его лицо, а глаза стали водянистыми. За эту вечность он изменился до неузнаваемости. Он стал некрасивым. Отталкивающе некрасивым. Он это знал. Но воспринимал с хладнокровием.

Тем не менее с некоторыми вещами он смириться не мог. Его единственный подлинный враг, казалось, стал моложе и даже намного красивее. У него уже не было больших ушей наподобие ослиных и огромных глаз навыкате. Нет, все это кануло в прошлое. У него теперь был высокий благородный лоб. Его зубы сверкали белизной, а улыбка стала ослепительной. И было что-то в выражении его проницательных, сверкающих рубиновых красных глаз, что свидетельствовало о больших душевных силах.

Да, он был настолько красив, что урод с мешками под глазами начал стыдиться своего отталкивающего безобразия. И во всем этом безобразии было что-то, чего он особенно стыдился. На его древнем лбу начали прорастать рога.

Птица

НАХОДЯСЬ в комнате, старик мог видеть птицу. Большая черная птица сидела на подоконнике. Он долго смотрел на нее, потому что никогда раньше не

видел таких птиц. Он подумал, что эта птица — какая-то особенная, и решил, что она чего-то ждет.

Птица медленно повернула голову и посмотрела в окно. Ее взгляд скользил по комнате, словно она что-то искала. Старик стоял совершенно неподвижно и, несмотря на то что уже начали спускаться сумерки, мог ясно видеть, что глаза у птицы зоркие, а взгляд острый. Казалось, птица о чем-то размышляет.

Вдруг она посмотрела на него. Их взгляды встретились. И с высоты птичьего полета он смог увидеть вечность. Старик упал замертво. Но из окна он мог теперь видеть, что лежит на полу мертвый. И он услышал, как кто-то сказал: “Ты сейчас принадлежишь мне”.

— Нет, нет. После смерти я принадлежу Богу, — ответил старик. Он был верующим.

Затем он услышал, как чей-то голос сказал:

— Ты принадлежишь не Богу, ты принадлежишь мне.

Услышав это, старик испуганно спросил:

— Кто ты?

— Я птица, на которую ты смотрел.

Старик не понимал, что он должен сказать. Но потом спросил:

— Что ты знаешь о Боге?

И птица ответила:

— Однажды, давно, я была птицей в его клетке. Но в один прекрасный день я потребовала, чтобы меня освободили, как людей. Тогда Бог открыл дверцу моей клетки и позволил мне улететь. И на следующий день я оказалась в мире людей.

Старик недолго размышлял о том, что сказала птица, а потом сказал:

— Так что же теперь? Ты довольна? Теперь, когда ты свободна и тебе больше не придется сидеть в клетке?

И птица ответила:

— А ты рад, что ты всю жизнь был свободен?

Услышав этот вопрос, старик замолчал. И по птичьим глазам он увидел, что сумерки сгустились в ночь. Через мгновение птица поднялась в воздух и исчезла в темноте, которая, казалось, никогда не кончится.

Локомотив

ГОРДЫЙ локомотив “Эрланд” со всеми своими вагонами мчался, оставляя позади ландшафты. И каждый раз, когда он мчался через город, он сигналил — и сви-

сток звучал громко и протяжно. Словно он хотел, чтобы и весь мир, и люди в автомобилях убедились, насколько он хорош, когда пролетает как стрела по рельсам.

Но когда наступил вечер, он почувствовал, что устал, и задумался о том, когда его путешествие, собственно говоря, началось. То ли месяц назад? То ли год назад? Он и сам не знал. Он только знал, что сам он очень хорош. И он действительно был очень хорош, ведь он пыхтел день и ночь.

Потом он подумал про рельсы, по которым катился.

— Кто их так уложил? — спрашивал он себя.

На этот вопрос он ответить не мог. И почему рельсы лежат именно так, а не иначе? Тем не менее после долгих размышлений он решил, что рельсы уложены так только ради него. И само по себе это не так уж и плохо. Представьте себе, ведь они существуют только ради меня, сказал он сам себе. И на мгновение он преисполнился собственного величия. Потом он перестал думать о рельсах. Да и ради чего, он, талантливый локомотив "Эрланд", со всеми своими вагонами, должен думать о них?

Он увеличил скорость и выпустил из трубы огромный шлейф дыма. Но он не знал, почему он это сделал. И это было действительно глупо, потому что уже наступила ночь, а кто бы смог в темноте разглядеть его эффектный плюмаж? Несмотря на это, он продолжал увеличивать скорость и выпускать клубы дыма в ночную мглу. И вдруг он понял, что был зол. Хотя ему не следует злиться. Ведь он так талантлив.

И вдруг что-то случилось. Он словно увидел всю свою жизнь. И внутри него что-то хрустнуло. Он весь похолодел, ему стало страшно. Потому что он понял, что его жизнь была всего лишь ложью. Они обманули его. Да, люди обманули его — свисток, плюмаж и все остальное, чем он мог похвалиться, ничего не значили. Для людей имело значение только одно — что он по-прежнему вел себя дерзко и отважно. И поскольку он считал, что очень одарен, он и сам в это поверил.

Затем он услышал, как смеялись в вагонах пассажиры, и смеялись они над ним. Они смеялись, а он увеличивал скорость. Теперь он был в ярости. Вагоны покачнулись и энергично вздрогнули, и молния ударила по стальным рельсам, а колеса взвизгнули. Но все это не заставило людей замолчать, они все равно продолжали смеяться.

Затем на горизонте показался поворот, по которому тосковал локомотив "Эрланд". И теперь он тоже смеялся. Да, он смеялся от счастья. Потому что скоро он обретет свободу.

Свободу от людей.

Гадина

ТЕПЕРЬ он создал новую Вселенную. Но он по-прежнему был недоволен. Правда, в целом там было хорошо, но вместе с тем кое-что и не слишком. Потому что там, далеко на планете, в темноте, обитали некоторые редкие животные, которых он не мог понять. Он загрустил и в один прекрасный день решил посетить их.

Когда он добрался туда, то обнаружил, что теперь их много и что теперь они были везде. Какое чувство он мог к ним испытать? Отвращение. Только отвращение. И он проклял тот день, когда создал их. Потому что они сказали, что он — плохой создатель. Они утверждали, что истинный творец создал бы другую Вселенную, которая была бы намного лучше. И когда он услышал, как они все более громогласно над ним издеваются, он покинул их. Но не совсем. Он послал им сына. Сына, который уже заранее был обречен на смерть.

Герман Гессе
Из ранних рассказов

Перевод с немецкого Вячеслава Куприянова

© Suhrkamp
© Вячеслав Куприянов. Перевод, 2016
Книга выйдет на русском языке в издательстве АСТ.

Ноктюрн ми-бемоль мажор

СВЕЧА догорела. Рояль отзвучал. Полумрак тишины наполнял сладкий аромат чайной розы, пришпиленной к поясу пианистки. Роза перезрела и уже начала осыпаться, облетевшие бледные лепестки лежали на полу, как блеклые матовые пятна.

И тишина... От стены отозвался звенящий звук — откликнулась струна моей скрипки.

И вновь тишина.

Вопросительно начал новый аккорд рояль.

— Играть еще?

— Да.

— Ноктюрн ми-бемоль мажор?

— Да.

Начинается ноктюрн ми-бемоль мажор Шопена. Комната преображается. Стены расступаются, окна изгибаются, образуя высокие дуги, эти дуги наполняются кронами деревьев и лунным светом. Кроны деревьев склоняются надо мной и каждая вопрошает:

— Ты еще меня помнишь?

И лунный свет вопрошает:

— Помнишь ли ты?

Моя рука пробегает по моему лбу. Но это уже не мой лоб, жесткий, морщинистый, с густыми бровями. Нет, это нежный, гладкий лоб ребенка, с зачесанными на него шелковистыми детскими волосами, и моя рука — узкая, гладкая детская рука, а за окном шумят деревья в саду моего отца.

В этом зале я бывал уже сотни раз, эти высокие дуги окон и эти светлые, высокие стены помнят меня хорошо. Я прислушиваюсь, и до меня доносится тихая фортепианная музыка — это моя мать играет в своей высокой, наполненной ароматами комнате. Я слушаю, киваю и не стремлюсь к ней в комнату — мама и сама, без зова, скоро придет ко мне укладывать меня спать. Однако музыка в этот вечер кажется мне особенной, прекрасной и печальной. Она уже почти отзвучала — становится отрывистой, тихой, еще более печальной. И вот она закончилась — а может, начинается снова, иная, но не менее печальная. У меня начинает болеть голова, я закрываю глаза. Эта музыка! Я снова открываю глаза, и вот уже нет ни лунного света, ни парка, ни времени детства.

Мы в светлом, украшенном зале, дама за роялем и я со светло-коричневой скрипкой. Мы играем. Играем бегло, в самом быстром темпе, лихорадочную танцевальную музыку. Красивое лицо дамы от игры несколько раскраснелось, рот

полуоткрыт, в белокурых волосах мерцает свет свечи. Тонкие, длинные пальцы играют легко и быстро. Я должен ее поцеловать, как только игра подойдет к концу.

Игра закончена. Ее тонкие женские руки устало покоятся в моих, я медленно их целую, сначала левую, потом правую, нежные запястья и тонкие гибкие пальцы. Дама улыбается гордо и спокойно, медленно отнимает обе руки и снова начинает играть. Блестяще, холодно, небрежно и горделиво. Я наклоняюсь, так что мои волосы касаются ее душистых волос. Ее взгляд вопрошает холодно и отчужденно. Я что-то долго нашептываю. Она тихо покачивает головой.

— Скажи “да”!

Она качает головой.

— Ты лжешь! Скажи “да”!

Она качает головой.

Я ухожу и долго иду; мне кажется, будто вокруг меня густой темный лес, и почему-то у меня так странно болят глаза, болит горло, болит лоб, а я все иду, наконец, я смертельно устал и вынужден отдохнуть.

Пока я отдыхаю, так и не поняв, где нахожусь, раздается музыка. Фантастический фортепианный пассаж — захватывающий, тихий, робкий, тревожный, сыгранный мастерски, удивительно нежными, ловкими пальцами. Я открываю уставшие глаза — в комнате темно. В воздухе — крепкий аромат чайной розы. Последний глубокий звук ноктюрна стихает. Дама поднимается из-за рояля.

— Ну как?

— Спасибо! Спасибо!

Я протягиваю к ней руки. Она откалывает розу от пояса, открывает дверь и выходит, вручая мне, уходя, бледную розу. Дверь захлопывается, легкое дуновение пробегает по комнате.

У меня в руке остается голый стебель цветка. Весь пол усыпан лепестками. Они источают аромат и мерцают матово и блекло в темноте.

1904

Полевой черт

В О времена, когда в Египте обветшалое язычество постепенно уступало место новому учению и в городах и селениях расцветали многочисленные христианские общины, местные черти убегали все дальше и дальше, в Фиванскую пустыню. Она была в то время совершенно безлюд-

на; благочестивые кающиеся грешники и отшельники не осмеливались вступать в эту пустынную и опасную область и, как правило, селились, хотя и отрешившись от всякого с миром общения, вблизи городов и деревень, в небольших дворах или соломенных хижинах. Таким образом, для чертей с их воинством и свитой эта обширная пустыня была открыта, поскольку обитали там только дикие звери и множество ядовитых змей. В их владения черти теперь и отправились, теснимые отовсюду святыми и праведниками, — это были крупные и мелкие бесы, да еще всевозможные существа и бестии языческого толка. Среди них встречались сатиры или фавны, которых теперь называли полевыми чертями или лесными божками, единороги и кентавры, дриады и различные духи; ибо над всеми ими владычествовал черт, и вышло так, что они, частью из-за своего языческого происхождения, частью из-за своего полузвериного состояния, были отвергнуты Богом и недостойны блаженства.

Среди этих полулюдей-полуживотных и свергнутых языческих божков не все, однако, были зловредными, более того, некоторые подчинялись черту весьма неохотно. Другие слушались его с рвением и принимали в озлоблении действительно дьявольский вид; ибо они не понимали, почему их вырвали из прежнего безопасного и безмятежного существования и бросили к презренным, гонимым и злобным. Из повести о жизни блаженного монаха пустынножителя Павла и согласно свидетельству Афанасия о святом отце Антонии известно, что кентавры, или конелюди, враждебны и злонравны, а сатиры, или полевые черти, напротив, дружелюбны и безвредны. По крайней мере, сказано, что святому Антонию в его чудесном путешествии по пустыне к отцу Павлу встретились конечеловек и полевой черт, первый повел себя злобно и грубо, сатир же заговорил со святым и попросил его благословения. Об этом-то сатире, или полевом черте, и говорится в легенде.

Черт этот со многими другими такими же полевыми чертями следовал за караваном злых духов по пустыне, блуждал вместе с ними в мрачной глуши. Так как прежде он жил в прекрасной, плодородной лесистой местности и мог общаться лишь с себе подобными, да еще с некоторыми прелестными лесными дриадами, его немало мучило, что теперь ему приходится обретаться в этих глухих местах среди злых духов и чертей.

Днем он любил уходить подальше от остальных, бродил один по скалам и песчаным пустошам, мечтал о солнечных краях, о своей прежней беззаботной и веселой жизни и дре-

мал порою под одиноким пальмовым деревом. Вечерами сиживал в необитаемой, мрачной каменистой долине, где струился небольшой ручей, и играл на камышовой флейте печальные и тоскливые песни, и никогда не повторял одну и ту же мелодию. Когда раздавались эти жалобные звуки, к ним прислушивались издалека другие фавны и вспоминали с болью о былых прекрасных временах. Некоторые из них тяжко вздыхали и предавались горестным думам. Другие не могли придумать ничего лучше, как со свистом и криками затевать развязные танцы, чтобы поскорее забыть о потерянном. Настоящие же черти, увидев одиноко сидящего маленького полевого черта и заслышав его флейту, ехидно его передразнивали и как только над ним ни потешались.

Поскольку сатир уже долгое время одиноко раздумывал о причинах своей печали, о прежнем райском веселье и о нынешней безрадостной и презренной пустынной жизни, то мало-помалу начал говорить об этих вещах и с некоторыми из собратьев. Вскоре наиболее серьезные из полевых чертей вошли в небольшое общество, они пытались понять, почему были отвержены, и размышляли, как бы им вернуться к прежнему блаженному состоянию.

Им всем было хорошо известно, что они отданы во власть черта и его воинства, поскольку миром стал править новый бог. Об этом новом боге знали они слишком мало. Хотя о правлении и сущности своего князя, черта, им было известно достаточно. И то, что они о нем знали, им вовсе не нравилось. Да, был он весьма могуществен и умел пустить в ход свои чары, иначе как бы он держал их всех в повиновении? И все же его правление было жестоким и ужасным. И теперь полевые черти увидели, что этот могущественный черт сам был изгнан и должен был бежать в эти необитаемые пустынные места. Следовательно, они предположили, что новый бог еще могущественнее. И решили бедные полевые черти, что, пожалуй, лучше им быть под водительством бога, нежели в подчинении у Люцифера. У них появилось желание лучше узнать этого бога, они стали собирать о нем все возможные сведения, намереваясь к нему отправиться, если только он им придется по нраву.

Так эта маленькая отчаявшаяся община полевых чертей с флейтистом во главе проводила свои печальные дни в невеликой, боязливой надежде. Они еще не знали, сколь велика была власть главного черта над ними. Но вскоре им суждено было это узнать.

Как раз в это время блаженные отшельники начали делать первые шаги в сторону все еще девственной Фиванской

пустыни. Вот уже несколько лет как одним из первых проник в это дикое место отец Павел. О нем рассказывает святая легенда, будто он многие годы жил в каменной пещере, предаваясь молитвам и питаясь одной только водой из источника, плодами пальмового дерева да краюшкой хлеба, которую ему ежедневно приносил ворон с небес.

Этого Павла из Фив и обнаружил однажды полевой черт, и, поскольку его влекла к людям некоторая робкая склонность, он теперь стал частенько подсматривать за святым отшельником и подслушивать, что тот говорит. Поведение этого человека весьма удивило черта. Ибо Павел жил бедно и в полном одиночестве. Он ел и пил не больше, чем птица, спал без постели в узкой пещере, терпел жару, холод и сырость, к тому же он умерщвлял свою плоть, для чего долгими часами стоял коленопреклоненно на жестких камнях и молился, нередко соблюдал строгий пост, отказывая себе даже в той жалкой пище, которую любил.

Все это казалось любопытному полевому черту весьма диковинным, и со временем он стал считать этого человека безумным. Но вскоре заметил, что означенный Павел, хотя и влачил жалкую и скудную жизнь, но его голос, творящий молитву, звучал на редкость тепло, пылко и задушевно, что на его седой голове и худом, иссушенном лице брезжило святое сияние и отражалось тихое сердечное блаженство.

Долгое время, день за днем, наблюдал полевой черт за святым отшельником и пришел к выводу, что этот пустынник — блаженный, что из неизвестных источников он черпает неземного счастья потоки. И поскольку черт часто слышал, как тот называл и славил имя Господа, подумалось ему, что Павел — слуга и товарищ нового бога и что было бы хорошо этого нового бога придерживаться.

Поэтому однажды он собрался с духом, перешел через скалы и приблизился к седому отшельнику. Тот отстранился от него, закричал “Изыди! Изыди!” и стал ему грозить, но полевой черт поприветствовал его смиренно и тихо сказал:

— Я пришел к тебе, потому что полюбил тебя, отшельник. Если ты служишь богу, то расскажи мне о нем и научи меня, чтобы я тоже мог ему служить.

Павел усомнился в его речах, но из милости воззвал к нему:

— Бог есть любовь, знай это. И блажен тот, кто ему служит и жертвует ради него своей жизнью. Ты же похож на нечистого духа, поэтому я не могу тебе дать благословение Господне. Ступай прочь, демон!

Полевой черт пошел в печали восвояси и унес слова праведника с собой. Он был готов жизнь отдать за то, чтобы

стать похожим на этого слугу Господа. Слова любви и блаженства, хотя значение их было для него темно, отзывались сладко в его сердце и казались пророческими; они пробуждали в нем страстное томление, не менее приятное и мощное, чем тоска по потерянной прежней жизни. После нескольких беспокойных дней он снова вспомнил о друзьях, которые, ему подобно, службой дьяволу тяготились, разыскал их и рассказал им все, что с ним приключилось, и они долго еще об этом говорили, вздыхали и не знали, как им быть.

В это же время в пустыне появился еще один праведник и поселился в уединенном месте, где от его стоп бежало целое полчище ядовитых змей. Это был святой Антоний. Дьявол же, разгневанный его проникновением и в страхе за свое господство над пустыней, собрал тотчас всю свою мощь, чтобы его изгнать. Всем известно, какими изощренными средствами пытался он святого человека то соблазнить, то устрашить, то выдворить куда подальше. Демон являлся ему то в облике красивой блудницы, то как брат-пустынник, то искушал его лакомой пищей и выкладывал золото и серебро на его пути.

Так как все это никак не подействовало, дьявол напустил на него все свои козни. Он избивал святого до крови, являлся ему в образе отвратительных чудовищ, проникал в его пещеру вместе с чертями, злыми духами, сатирами и кентаврами, со злобными волками, пантерами, львами и гиенами. И мечтательный полевой черт должен был следовать в этой свите, но он лишь неслышно приближался к страстотерпцу, и, когда его собратья дразнили беднягу, дергали за бороду и бесчинствовали, он бросал на Антония смущенные взоры и смиренно просил за них прощения. Но Антоний ему не верил — в словах черта он видел лишь паясничанье зла. Отшельник выдерживал все искушения и долгие годы жил в одиночестве праведной жизнью.

Когда ему исполнилось девяносто лет, поведал ему Господь, что живет в той же самой пустыне еще более древний и более достойный отшельник, и Антоний тотчас отправился в путь, чтобы его найти. Не зная дороги, странствовал он в глуши, и мечтательный полевой черт следовал за ним, незаметно помогая ему найти правильный путь, и, наконец, решился предстать перед ним, смиренно приветствовал Антония и сказал, что он и его собратья тянутся к богу и хотели бы просить святого, чтобы он их благословил. Но Антоний не поверил ему и с причитанием от него уклонился, что мы и можем прочесть во всех старинных свидетельствах о житии этого святого.

Тем временем Антоний следовал дальше, он нашел отца Павла, склонился перед ним и остался при нем. Павел же умер, когда ему было сто тринадцать лет, и Антоний был свидетелем того, как подошли два диких льва с жалобным воем и вырыли своими когтями могилу святому. После этого он покинул те места и возвратился в свою прежнюю обитель.

Все эти события полевой черт наблюдал в некотором отдалении. В своем невинном сердце носил он безмерную печаль, оттого что оба святых отца его отвергли и оставили без утешения. Поскольку он был скорее готов умереть, чем оставаться в подчинении злу, и поскольку достаточно наблюдал жизнь блаженного Павла и все хорошо запомнил, он решил поселиться в этой бедной пещере. Облачился в рубище Павла из пальмовых листьев, стал питаться водой и финиками, часами стоял на коленях в мучительном положении на жестких камнях и старался во всем подражать усопшему.

При этом в сердце своем черт все более печалился. В том, что Бог относился к нему иначе, нежели к Павлу, он мог удостовериться, так как ворон с хлебом насущным, который прежде прилетал к отшельнику, больше не показывался. А ведь полевой черт сам видел, как ворон приносил святому Антонию два хлеба. Конечно, в пещере оставалось Евангелие, но полевой черт читать не умел. В иные мгновения, когда он до изнеможения стоял на коленях и призывал Господа, то чувствовал, что начинает смутно догадываться о сущности Бога и о его блаженстве, но вполне его познать все же никак не мог.

Тогда вспомнились ему слова Павла, что было бы блаженством умереть ради Бога, и он решил умереть. Но ему никогда не доводилось видеть, как умирают ему подобные, и сама мысль о смерти страшила его и печалила. Все же он оставался при своем рвении. Более не пил и не ел и проводил день и ночь на коленях, с именем Господа на устах.

И он умер. Так он и умер, на коленях, как некогда и отец Павел. И за несколько мгновений до смерти с изумлением увидел прилетевшего к нему ворона с хлебом, как это бывало в дни жизни святого, и тотчас в великой радости понял это знамение: Господь принял его жертву и избрал его для блаженства.

Вскоре после его смерти в той части пустыни снова появились святые паломники и захотели там обосноваться. Они обнаружили труп, который в рубище на коленях прислонился к скале, и, когда они заметили, что это покойник, решили похоронить его по-христиански. Вырыли небольшую могилу, так как мертвец был невелик телом, и стали молиться.

Когда же они подняли труп, чтобы положить его в могилу, то оказалось, что под его спутанными волосами скрываются рожки, а под одеждой из листьев — козлиные копыта. Тогда возопили они громко и пришли в ужас от этой, как им показалось, коварной издевки зла. Они бросили мертвеца и бежали, не переставая творить молитвы, прочь оттуда.

1905

Пешая прогулка осенью

Переправа через озеро

Прохладный свежий вечер, сыро, бесприютно, ранние сумерки. По крутой улице, затем по глинистой лощине я спустился с горы и, наконец, озябший, одиноко застыл на берегу озера. Туман сползал с холмов, дождь прошел, капали лишь отдельные капли, еще гонимые ветром.

У берега лежала лодка-плоскодонка, наполовину вытянутая на гальку. Она была в хорошем состоянии, свежеокрашенная, сухая внутри, и весла казались совсем новыми. Рядом стояла сторожевая будка из еловых досок, она была не заперта, внутри не было никого. У дверного косяка висел старый латунный рожок, прикрепленный тонкой цепочкой. Я попытался подуть в него. Послышался жесткий, сердитый звук и тут же лениво увял. Я подул еще раз, сильнее и дольше. Затем сел в лодку и стал ждать, не придет ли кто.

Вода в озере чуть заметно колыхалась. Редкие волны с легкими шлепками бились о тонкие борта лодки. Я несколько озяб, мне пришлось плотно завернуться в широкий, промокший под дождем плащ, я сунул руки под мышки и стал смотреть на озерную гладь.

Небольшой остров, похожий на застывшую в середине озера скалу, чернел, выступая из свинцовой воды. Будь он моим, я бы соорудил на нем квадратную башню с несколькими комнатами. Спальня, общая комната, столовая и библиотека.

Потом бы я поселил там сторожа, чтобы он следил за порядком и каждую ночь в верхней комнате держал свет зажженным. А я бы продолжал странствовать, но знал бы всегда, что в любое время где-то меня ждут убежище и покой. В дальних странах я стал бы рассказывать молодым женщинам о своей башне на озере.

— А сад там есть? — спросит, возможно, одна из них.

И я отвечу:

– Даже не знаю – давно там не был. Хотите, вместе туда поедем?

Она засмеется, и взгляд ее светло-карих глаз вдруг изменится. Хотя, возможно, глаза у нее будут голубыми или черными, лицо и шея – загорелыми, а платье – бордовым с меховой отделкой.

Если бы только не было так прохладно! Во мне все больше поднималась досада.

Что мне до этого черного скалистого острова? Он до смешного мал, немногим больше кучки птичьего дерьма, и на нем вообще ничего не построишь. Да и зачем, простите? И какая разница, будет ли юная дама, придуманная мною, и которой я, возможно, если бы она вдруг появилась, показал бы мой замок на острове, обладай я им в самом деле, какая разница, будет ли эта девушка блондинкой или брюнеткой, и станет ли она носить платье с меховой отделкой, с кружевами или самой обычной каймой? Или, может, обычная кайма – слишком просто?

Боже упаси, я бы отдал все оборки из меха, башню и остров, лишь бы обрести покой. Картины угрюмо теснились в моем воображении, досада не покидала меня, только росла.

– Скажи-ка, – спросила бы она снова, – зачем ты, собственно, сидишь здесь, в этом сыром, Богом забытом месте, мерзнешь у озера?

Тут захрустела галька, и низкий голос окликнул меня. Это был лодочник.

– Долго ждали? – спросил он, когда я помогал ему столкнуть лодку на воду.

– Достаточно долго, так что теперь пора в путь!

Мы закрепили две пары весел, оттолкнулись, развернули лодку, постарались войти в ритм и стали молча грести сильными толчками. Я согрелся и с размеренными движениями ко мне вернулось доброе расположение духа, мое зябкое уныние наконец окончательно унялось.

Лодочник с седой бородой был высок и худощав. Я вспомнил его, много лет назад он уже перевозил меня, и не раз, но сейчас меня не узнал.

Через полчаса полностью стемнело, а мы все еще были в пути. Мое левое весло при каждом взмахе скрипело в своей ржавой уключине, носовую часть лодки колыхала слабая волна и временами с глухим шумом билась о днище лодки. Сначала я снял плащ, затем куртку и положил их рядом, и, когда мы достигли другого берега, я уже слегка вспотел.

Теперь огни берега играли на темной воде, вздрагивали, искрясь ломаными линиями, и больше слепили, чем освещали.

Мы пристали к причалу, лодочник набросил лодочную цепь на толстый столб. Из черной арки ворот вышел таможенник с фонарем. Я заплатил лодочнику его невеликую мзду, позволил таможенникам ощупать мой плащ и расправил закатанные рукава под курткой.

Уходя, я вдруг вспомнил, как зовут моего лодочника.

— Доброй ночи, Ганс Лейтвин, — бросил я ему на прощанье, в то время как он, поднеся ладонь ко лбу и что-то бормоча, с удивлением глядел мне вослед.

В *золотом льве*

В старой части городка, куда я через высокую арку ворот вошел со стороны моря, собственно и началось мое веселое путешествие. В этих краях я некогда жил какое-то время, здесь мне довелось познать нежность и горечь, и теперь я надеялся найти хоть отголосок пережитого мною.

Я шел по ночным улицам, скудно освещенным светом окон, мимо старых фронтонов, крылечек и эркеров. В узком, извилистом Майенгассе меня вдруг заставило остановиться олеандровое дерево, росшее перед старомодным господским домом, живо мне о чем-то напомнив. И тут же скамейка перед другим домом, вывеска на каком-то магазинчике, фонарный столб — все это рождало воспоминания, и я был удивлен, как много из давно забытого мною оказалось вовсе не забытым. Десять лет минуло с тех пор, как я покинул это гнездо, и вдруг во мне всплыли все былые истории того странного времени моей юности.

Потом я шел вдоль замка, он стоял с мрачными башнями, лишь несколько красных квадратных окон отважно и отрешенно бросали свет в дождливую ночь. В ту юную пору редко бывало так, чтобы я, проходя мимо, не вообразил бы себе в верхней светелке башни одиноко плачущую графскую дочь и как я взбираюсь в плаще по веревочной лестнице на головокружительную высоту, к ее окну.

— Мой рыцарь, — молвит она взволнованно и радостно.

— Скорее ваш раб, — отвечу я с поклоном.

Потом я осторожно помогаю ей спуститься по опасно раскачивающейся лестнице — внезапный крик, разрыв веревки — я лежу со сломанной ногой во рву, и надо мной красавица воздела свои тонкие руки.

— О Господи, что делать? Как я могу вам помочь?

— Поторопитесь, милостивая государыня, мой верный слуга ждет вас внизу у ворот.

— А вы?

— Не беда, не беспокойтесь! Жаль только, что я не смогу сопровождать вас дальше.

Как-то я узнал из газет, что в замке случился пожар, но сейчас, во всяком случае ночью, никаких следов пожара не было видно — все оставалось, как прежде. Какое-то время я еще вглядывался в силуэт старинного здания, а затем свернул в соседний переулок. Там, над вывеской роскошной гостиницы, висела все та же причудливая жестяная фигурка льва. Сюда я решил зайти и попроситься на ночлег.

Страшный шум обрушился на меня из широкого портала: музыка, гвалт, снование официантов, хохот застолья; на дворе стояли распряженные повозки, украшенные венками, гирляндами из еловых лап и бумажных цветов. Войдя, я увидел, что в двух залах и еще в одной смежной с ними комнате празднуют свадьбу. О спокойном ужине, о вечере блаженных воспоминаний за стаканом вина в одиночестве нечего было и думать, как и о раннем, мирном отходе ко сну.

Только я открыл дверь в зал, как между моих ног в помещение проскользнул маленький пес, черный шпиц; вырвавшись из прихожей, он бросился под стол и с диким радостным лаем устремился к хозяину, которого сразу увидел: тот стоял за столом и произносил речь.

— Итак, почтенные дамы и господа, — начал он, побагровев, громовым голосом, и тут вдруг, как буря, радостно гавкая, на него налетел пес, и речь прервалась. Смех смешался с бранью, оратору пришлось выдворить собаку, а почтенные дамы и господа злорадно ухмылялись и пили за здоровье друг друга. Я же протискивался с краю в другую комнату, и, когда хозяин шпица вернулся на свое место и продолжил речь, я уже был в соседнем помещении, снял плащ и шляпу и сел за крайний стол.

Еда была отменной и обильной. Поглощая жареную баранину, я узнал от соседа за столом, чья это свадьба. Молодые были мне незнакомы, а вот многих гостей я узнал, теперь я видел их лица в полутьме, при свете лампы, некоторые уже явно навеселе — все они более или менее изменились и состарились. Я вспомнил головку милого ребенка с серьезными глазами, худощавого и изящно сложенного, теперь уже выросшего, смеющегося, с усами, с сигарой в зубах, и прежних молодых парней, которым вся жизнь казалась поцелуем, и весь мир — глупой шуткой, теперь они в бакенбардах и при женах-домохозяйках, ведут как простые обыватели разговоры о ценах на землю и о новом расписании поездов.

Все стало иным и все же было до смешного знакомым, к счастью, меньше всего изменился сам ресторанчик и доброе

местное белое вино. Оно лилось, как обычно, рекой, терпкое и живое, отливающее желтизной в тяжелых бокалах, оно будило в моей дремлющей памяти прежние многочисленные ночные попойки и застольные шутки. Но здесь никто меня не узнавал, и я сидел в общей сумятице, принимая участие в разговоре как случайно заглянувший сюда чужак.

Незадолго до полуночи, когда я утолил жажду уже не одним кувшином вина, случилась ссора. Она разгорелась из-за какой-то мелочи, о которой я забыл уже на следующий день, кто-то вспылил, и вот уже три-четыре полупьяных господина накинулись на меня с руганью. У меня не было ни малейшего желания участвовать в перебранке, и я сразу поднялся.

— Благодарю вас, господа, мне все это не по нраву. К тому же вот этому господину вредно горячиться из-за пустяков, пусть он лучше побережет свою больную печень.

— А откуда вам это известно? — воскликнул он все еще резко, но с удивлением.

— Я определяю это по вашему лицу, я врач. Вам ведь сорок пять лет, не так ли?

— Верно.

— И вы лет десять назад перенесли тяжелое легочное заболевание?

— Да, черт возьми. Как вы это определяете?

— Это просто увидеть, если есть опыт. Засим спокойной ночи, уважаемые!

Они попрощались со мной уже вполне вежливо, а тот, с больной печенью, даже поклонился. Я мог бы еще назвать его имя и фамилию, а также имя и фамилию его жены, я его хорошо знал, мы с ним не раз беседовали воскресными вечерами.

У себя в комнате я ополоснул разгоряченное лицо, посмотрел из окна на крыши домов, на бледную гладь озера и лег спать. Некоторое время я еще слышал медленно затихающий шум праздного общества, затем мною овладела усталость, и я уснул до утра.

Б*уря*

По непогожему небу неслись рваные полосы облаков, серых и лиловых, дул сильный ветер, когда я утром, не слишком рано, отправился дальше. Вскоре я уже был высоко на гребне холма, а подо мной лежал весь городишко, с его замком, церковью и маленькой лодочной станцией, похожей на детскую игрушку. В памяти всплыли забавные истории из того дале-

кого времени, когда я еще здесь жил, что заставило меня улыбнуться. Это было как нельзя кстати, потому что, чем ближе я был к цели моего путешествия, тем сильнее сжималось мое сердце, хоть я и не хотел себе в этом признаваться.

Мне было приятно идти под свистящим, свежим ветром. Я шел навстречу его резким порывам и с упоением любовался открывающимся глазу пейзажем, который становился все более роскошным. На северо-востоке небо посветлело, благодаря чему я мог теперь видеть длинную, голубоватую горную гряду, в очертаниях которой ощущался величественный порядок.

Чем выше я поднимался, тем сильнее дул ветер. Он пел свою осеннюю песню, смешивая смех и стенания, намекая на небывалые страсти, по сравнению с которыми наши чувства казались не более, чем ребячеством. Он влагал мне прямо в уши какие-то неслыханные, допотопные слова, подобные именам древних богов. Он собрал со всего неба блуждающие обрывки облаков и построил их параллельными шлейфами, в линиях которых было что-то, что противилось укрощению, и горы под ними казались согбенными.

Шуму ветра и широкой панораме гор удалось унять легкое смущение и робость моей души. Прогулка и погода меня взбодрили, смутное беспокойство, вызванное ожиданием встречи с моей юностью, прежде одолевавшее меня, улеглось, а сама встреча казалась не такой уж значительной.

Вскоре после полудня я остановился, чтобы передохнуть на самой высокой точке горной тропы, и мой взор, ищущий и ошеломленный, парил над широко раскинувшейся землей. Прямо передо мной теснились зеленые горы, за ними — поросшие лесом синие горы и желтые голые скалы, цепи холмов, изрезанные тысячами складок, еще дальше — острые каменные пики и бледные снежные пирамиды. У их подножия разливалась гладь огромного озера, морская синева с белой пеной волн, два одиноко скользящих легких паруса, на зеленом и буром берегу полыхали желтые виноградники, а еще — пестрые леса, бледные проселки, крестьянские дворы с фруктовыми деревьями, голые рыбацкие селения, то темные, то светлые нагромождения городских построек. Надо всем этим — гонимые коричневатые облака, а между ними — проблески глубокого, ясного, зеленовато-синего опалового неба, солнечные лучи, веером разбросанные на тучах. Все в движении, даже цепи гор как будто уплывают, и неравномерно освещенные вершины Альп — в стремительном нервном прыжке.

Вместе с бурей и облаками неслись и мои чувства, мои желания — лихорадочно и неугомонно они парили над этой ширью, обнимая снежные пики и переводя на мгновение дух в

зеленых бухтах озера. Древние, дурманящие чувства, часто сопровождающие путешественника, словно мимолетные тени от облаков, окрашивали мою душу, я переживал все мои печали и потери, краткость жизни и полноту мира, безродность и поиск родины — все это попеременно, с ощущением полного растворения в пространстве и времени.

Волны постепенно улеглись, утихли их пение и шум, и мое сердце успокоилось, замерло, как птица на большой высоте.

Тепло возвратилось, улыбаясь, я смотрел на извилины улиц, купы деревьев, на башенки церквей в заветной близи; все та же земля моей прекрасной юности глядела на меня своими прежними глазами. Как солдат, ободренный чувством безопасности, с умилением прослеживает по карте маршрут своего уже пережитого похода, так и я перечитывал в осеннем пестром ландшафте книгу многих моих прекрасных сумасбродств и счастливую историю любви, некогда настоящей, а теперь ставшей для меня почти что легендой.

В*оспоминания*

В спокойном закутке, где широкая скала защищала от бури, я сел пообедать черным хлебом, колбасой и сыром. После двух часов дороги в горах на сильном ветру первый кусок бутерброда — огромное удовольствие; поесть досыта — это почти единственная услада, оставшаяся нам от подлинных детских радостей.

Завтра я дойду уже, наверное, до того места в буковом лесу, где меня впервые поцеловала Юлия. Это случилось во время загородной прогулки, устроенной городским объединением "Конкордия", в которое я вступил ради Юлии. На следующий день после прогулки я вышел из объединения.

Если повезет, послезавтра я ее увижу. Она вышла замуж за состоятельного торговца по имени Гершель, по слухам, у них трое детей, из них одна девочка — вылитая Юлия, и зовут ее так же. Больше я ничего о ней не знаю, но и этого более чем довольно.

Зато хорошо помню, как спустя год после отъезда писал ей с чужбины, что не надеюсь получить место и заработать денег, и пусть она меня не ждет. Она ответила, чтобы я без нужды не надрывал душу ни себе, ни ей; она будет меня ждать, пока я не вернусь, когда бы это ни произошло. А еще через полгода она написала снова, попросила дать ей свободу ради некоего Гершеля; в первый же час от досады и гнева я не стал отвечать письмом, а на последние деньги отправил ей телеграмму, в которой было четыре или пять формальных слов. Слова эти улетели за море и не получили отклика.

Как же глупо устроена жизнь! Был ли это случай или насмешка судьбы, или отчаянье придало мне отваги, но только едва любовное счастье разбилось вдребезги, как тут же пришли успех и деньги, все как по волшебству, — при вечном невезении мне вдруг повезло в игре, но это было уже ни к чему. У судьбы свои причуды, подумал я и пропил с приятелями за два дня и две ночи кошелек, полный банкнот.

Но об этой истории я вспоминал недолго, пообедав, я выбросил на ветер обертку от бутерброда и, закутавшись в плащ, решил немного передохнуть. Приятно было думать о моей прежней любви, о фигуре и лице Юлии, тонком лице с благородными бровями и большими черными глазами. Думать о том дне в буковом лесу, когда не сразу и как бы нехотя она мне уступила, как дрожала от моих поцелуев и, наконец, сама целовала в ответ и совсем тихо, как бы пробуждаясь от сна, улыбалась, и на ее ресницах поблескивали слезы.

Былые времена! Самым чудесным тогда были не поцелуи, не вечерние прогулки вдвоем и не наши секреты, а та странная сила, которая наполняла меня в этой любви, радостная сила жить ради нее, бороться ради нее, идти сквозь огонь и воду. Забыть обо всем ради одного мгновения, пожертвовать годы ради одной улыбки женщины, вот это счастье!

И эта сила у меня осталась.

Насвистывая, я встал и пошел дальше.

Когда улица по ту сторону холма пошла под уклон и мне пришлось распрощаться с видом на озеро, солнце близилось к закату, в схватке с тяжелыми желтыми тучами, которые обволакивали его, угрожая проглотить. Я остановился и залюбовался великолепным зрелищем. Светло-желтые пучки света струились с окраины тяжелой тучи, лучи были направлены ввысь и к востоку. И вдруг все небо вспыхнуло оранжево-красным светом, пылающие пурпурные полосы прорезали высоту, горы накрыла темно-синяя тень, на берегу озера загорелся красноватый сухой камыш, подобно языческому костру. Потом желтизна исчезла, красный цвет стал мягким и теплым, заиграл райскими красками на нежном, как сон, словно выдохнутом облачке и пронизал тысячами тонких розово-красных нитей матово-серые стены тумана, и эта матовость медленно смешивалась с красным, превращаясь в несказанно яркий лиловый тон. Озеро стало темно-синим, почти черным, мелкие заводи вблизи берега проступали светло-зелеными пятнами с четкими рублеными краями.

Когда оборвалась почти болезненная фантастическая схватка красок, угас огонь, чьи мимолетные вспышки во весь горизонт всегда содержат в себе нечто завораживающее, я

опустил взгляд и с удивлением увидел уже полностью прояснившийся свежий вечерний пейзаж долины. Под большим ореховым деревом я нашел забытые при сборе плоды, подобрал их и вылущил свежий, светло-коричневый, влажный орех. И как только я его раскусил и почувствовал острый запах и вкус, неожиданно на меня нахлынуло воспоминание. Словно луч света, отразившийся в осколке зеркала и отброшенный в темное пространство, — именно так нередко вспыхивает в настоящем, загоревшись из-за какой-нибудь мелочи тревожно и жутко, забытая, давно прошедшая частица жизни.

Воспоминание, которое в этот момент пришло ко мне впервые за двенадцать лет, а то и более, было для меня одновременно мучительно и дорого. Когда я лет пятнадцать назад учился в гимназии, ко мне как-то приехала мать. Я держался с ней очень прохладно и даже заносчиво, как этого требовало мое гимназическое высокомерие, и обидел ее какими-то многочисленными мелочами. На следующий же день она уехала, но до этого еще раз подошла к школьному зданию и дождалась перемены. Когда мы шумно высыпали из классных комнат, она стояла во дворе, скромно улыбаясь, и ее красивые добрые глаза уже издалека лучились мне навстречу. Я же стеснялся своих одноклассников, поэтому очень медленно подошел к ней, небрежно кивнул и повел себя так, что ей пришлось отказаться от намерения поцеловать и благословить меня на прощание. Она помрачнела, но постаралась мне улыбнуться и потом вдруг быстро повернулась, перебежала через улицу к фруктовому лотку, купила фунт орехов и сунула кулек мне в руку. Потом она пошла к железнодорожной станции, и я видел, как она исчезла за поворотом со своей старомодной кожаной сумкой. Как только я потерял ее из виду, мне стало вдруг на душе так горько, хотелось со слезами просить у нее прощения за мое глупое ребячество. Тут подошел ко мне один из моих товарищей, мой главный соперник по части хорошего тона.

— Конфетки от мамочки? — спросил он с ехидной усмешкой.

Во мне снова взыграла гордость, я протянул ему кулек, и, так как он его не взял, я раздал все орехи малышам из четвертого класса, не оставив себе ничего.

Я сердито грыз орех, бросив скорлупу в чернеющую листву, покрывавшую землю, и продолжал шагать по тихой улице под зеленовато-синим с легкой позолотой вечерним небом, направляясь к долине; и вот уже я оказался среди пожелтевших осенних берез и веселых кустов рябины, завернул в голубоватые сумерки молодого ельника и, наконец, углубился в густые тени высокого букового леса.

Тихая деревня

Пару часов спустя, ближе к вечеру, после долгой ходьбы, я заблудился на частых поворотах узкой, тенистой лесной тропинки, и чем темнее и прохладнее становилось, тем с большим нетерпением я искал выход. Пробираться напрямик через лиственный лес не было смысла, лес был густой и почва местами болотистая, кроме того, постепенно надвигалась темнота.

Спотыкаясь от усталости, в крайнем волнении я ощупью пытался выйти из ночного леса. Часто я останавливался, чтобы позвать на помощь, и долго прислушивался, ожидая отклика. Но все было тихо, прохладная величавость и темная безмолвная чаща окружали меня со всех сторон, словно занавес из плотного бархата. Все казалось глупым и тщетным, и все же мне нравилось думать, что ради встречи с почти забытой возлюбленной неведомо где я продираюсь сквозь лес, ночь и прохладу. Я принялся напевать старинные любовные песни:

Я взгляд смущенно опускаю,
Ты в сердце страсть мою зажгла,
О чуде я тайком мечтаю —
Как ты мила!

И ради этого я скитался по городам и весям, приобрел себе в долгих борениях шрамы на теле и в душе, чтобы теперь напевать старые глупые стишки в погоне за давно забытыми ребяческими глупостями! И все-таки это доставляло мне радость, и, с трудом отыскивая в зарослях извилистый путь, я продолжал напевать, сочинял и фантазировал, пока окончательно не выдохся и дальше пошел уже молча. Пытаясь найти выход, я ощупывал увитые плющом толстые стволы буков, чьи ветви и кроны таяли в темноте. Так я, совершенно потерянный, шел еще около получаса. И тут случилось нечто незабываемое.

Внезапно лес кончился, и я очутился на горе у крутого обрыва, деревья вокруг меня поредели. Внизу в ночной синеве дремала широкая лесистая долина, а в ее центре, у самых моих ног, словно спрятавшись от посторонних глаз, лежала деревенька, а в ней — то ли шесть, то ли семь маленьких, светящихся окон. Невысокие домишки — в дымке мне были видны только их широкие, крытые дранкой крыши — сгрудились, тесно прижавшись друг к другу, образуя небольшую дугу, между ними тянулся узкий, темный переулок, в конце которого виднелся большой деревенский колодец. На склоне, почти

на середине горы, среди сумеречных кладбищенских крестов одиноко стояла часовня. Возле нее по крутому склону холма спускался человек с фонарем.

А в низине, в деревне, в одном из домиков девушки пели песню сильными, звонкими голосами.

Я не знал, где нахожусь и как называется эта деревня, но решил никого об этом не спрашивать.

Тропинку, по которой шел, я потерял еще на подъеме, на опушке леса, и теперь спускался в деревню по склонам пастбищ, осторожно, без дороги. Спустился в сад по каменным уступам и наткнулся на стену, мне пришлось перелезть через забор и перескочить через ручей, и вот я очутился в деревне, прошел мимо первого двора по кривому, спящему переулку. Скоро я нашел гостиницу, она называлась "У вола" и была еще открыта.

На нижнем этаже было темно и тихо, из прихожей с каменным полом в коридор и в комнату для гостей вела старинная, расточительно роскошная лестница с пузатыми колоннами по бокам, освещенная висящей на шнуре лампой. Комната для гостей была довольно большой, у печи, под подвешенным светильником стоял стол, за которым сидели три крестьянина и пили вино, стол этот казался островком света в полутемном, просторном помещении.

Печь топилась, она была кубической формы, выложена темно-зеленым кафелем, в котором отражался матовый свет лампы, у печи лежала черная собака, она спала. Когда я вошел, хозяйка сказала: "Дай вам Бог здоровья", и один из крестьян сердито посмотрел на меня.

— Это еще кто такой? — спросил он.

— Не знаю, — ответила хозяйка.

Я присел к столу, поздоровался и заказал вина. Мне подали молодое вино, светло-красное, оно уже перебродило и сразу меня согрело. Я спросил о ночлеге.

— Тут вот какое дело, — пожав плечами, ответила женщина. — У нас, конечно, есть одна комната, но как раз сегодня ее уже занял мужчина. Можно бы поставить туда еще кровать, но тот господин уже спит. Может, вы сами с ним договоритесь?

— Мне бы не хотелось. А другого нет места?

— Место есть, но нет кровати.

— А если я лягу здесь, у печи?

— Ну, если хотите, пожалуйста. Я дам вам одеяло, и мы еще подбросим дров — не замерзнете.

Я заказал себе сосиску и пару вареных яиц и, пока ел, расспрашивал об этих местах и как мне добраться до цели моего путешествия.

— Скажите, как далеко отсюда до Ильгенберга?

— Пять часов. Господин, что спит наверху, собирается утром туда же. Он из Ильгенберга.

— Вот как. И что он здесь делает?

— Дрова покупает. Он приезжает каждый год.

Трое крестьян не вмешивались в наш разговор. Я решил, что они лесовладельцы и возчики, у которых торговец из Ильгенберга покупает дрова. По-видимому, они принимали меня за дельца или чиновника, и мне не доверяли. Я тоже не обращал на них внимания.

Едва я закончил ужин и откинулся в кресле, как вдруг снова послышалось пение, громко и совсем близко. Девичьи голоса пели о прекрасной жене садовника, на третьем куплете я встал, подошел к кухонной двери и тихо потянул ручку. Две девушки и пожилая служанка сидели за белым еловым столом перед огарком свечи и пели, перед ними была целая гора фасоли, которую они лущили. Как выглядела пожилая, я уже не вспомню. Из молодых одна была светло-рыжая, крупная и цветущая, а вторая — красивая шатенка с серьезным лицом. Коса у нее была закручена вокруг головы в так называемое гнездо, она пела самозабвенно, высоким детским голосом, и мерцающее пламя свечи отражалось в ее глазах.

Когда они увидели меня в дверях, пожилая улыбнулась, рыжая скорчила рожицу, а шатенка какое-то время меня разглядывала, затем опустила голову, слегка покраснела и запела еще громче. Они как раз начали новый куплет, и я попытался подпеть, стараясь не фальшивить. Затем я принес себе вино, подвинул табуретку-треногу и, подпевая, подсел к ним за кухонный стол. Рыжая подвинула ко мне кучку фасоли, и я стал помогать им ее лущить. Допев четвертый куплет, мы взглянули друг на дружку и засмеялись, что оказалось особенно к лицу шатенке. Я предложил ей бокал вина, но она отказалась.

— Так вы, оказывается, гордячка, — сказал я, притворившись обиженным, — вы случайно не из Штутгарта?

— Нет. Чего ради из Штутгарта?

— Потому что так поется:

Штутгарт — город хоть куда,
девки там красивы,
хороши, да вот беда:
все они спесивы.

— Да он шваб, — сказала старая шатенке.

— Так оно и есть, — согласился я. — А вы из нагорья, где терн растет.

— Может быть, — ответила она и захихикала.

Но я больше смотрел на шатенку, составил из фасоли букву М и спросил, не с этой ли буквы начинается ее имя. Она покачала головой, и я составил букву А. Тут она кивнула, и я стал отгадывать.

— Агнес?

— Нет.

— Анна?

— Ничуть.

— Адельхайд?

— Тоже нет.

Какое имя я ни называл, все было невпопад, ее же это очень развеселило, и, наконец, она воскликнула:

— Какой вы недотепа!

Тогда я попросил ее назвать наконец свое имя, она несколько застеснялась, а потом произнесла быстро и тихо: “Агата” — и при этом покраснела, как будто выдала какую-то тайну.

— Вы тоже торгуете дровами? — спросила блондинка.

— Ни в коем разе. Я что, похож на торговца?

— Тогда вы землемер, не так ли?

— Тоже нет. Почему вдруг землемер?

— Почему? Потому!

— Ты, наверное, хотела бы выйти замуж за землемера?

— Почему бы и нет.

— Споем еще одну напоследок? — предложила красотка, и, когда почти вся фасоль была уже очищена, мы запели “Темной ночкой я стою”. Когда песня закончилась, девушки поднялись, и я тоже.

— Доброй ночи, — сказал я им и каждой подал руку, а шатенку назвал по имени: — Доброй ночи, Агата.

В комнате для гостей те три нелюдима собирались в дорогу. Они не обратили на меня никакого внимания, допили медленно остатки вина, но платить не собирались, значит, они, во всяком случае в этот вечер, были гостями торговца из Ильгенберга.

— Доброй ночи и вам, — сказал я, когда они уходили, но ответа не получил и закрыл за ними дверь. Тут же появилась хозяйка с попоной и подушкой. Из печной скамейки и трех стульев мы соорудили некое подобие лежанки, и в утешение хозяйка сообщила, что за ночлег я могу не платить. Это было мне очень кстати.

Полураздетый, укрывшись плащом, я лежал у печи, от которой еще исходило тепло, и думал об Агате. На память мне пришли строки из старинной духовной песни, которую я слышал в детстве от матери:

Как цветы прекрасны,
но прекрасней люди
в цвете юных лет...

Агата была как раз такой — прекрасней, чем цветы, и все же в родстве с ними. Такие особенные красавицы встречаются повсюду, во всех странах, но все-таки бывает это не так часто, и, если мне доведется увидеть такую, на душе всегда становится хорошо. Такие девушки, как большие дети, боязливые и доверчивые, в их ясном взгляде есть что-то от прекрасного дикого зверя или лесного родника. На них приятно смотреть и любить их без вожделения, и кто смотрит на них, не избежит грустных мыслей о том, что и этим нежным созданиям, этим цветам жизни, суждено когда-то состариться и увянуть.

Вскоре я заснул, и, возможно, из-за печного тепла мне приснилось, будто я лежу на склоне скалы, на каком-то южном острове, чувствую спиной горячее солнце и гляжу на девушку-шатенку, она одна в лодке гребет в сторону моря и постепенно уходит все дальше и становится все меньше.

Утренняя прогулка

Лишь когда печь остыла и ноги у меня закоченели, я проснулся от холода, было уже утро, и я услышал, как кто-то в кухне за стенкой растапливает печку. За окном, впервые за эту осень, на луга легла тонкая изморозь. От жесткой лежанки все члены у меня затекли, но выспался я хорошо. На кухне, где меня приветствовала старая служанка, я умылся и почистил одежду, которая вчера сильно пропылилась на ветру.

Едва я склонился над горячим кофе в гостиной, как вошел еще один гость, приветливо поздоровался и сел за мой столик, где для него уже тоже было накрыто. Из плоской походной фляги он плеснул в чашку немного старой вишневой наливки, предложив также и мне.

— Спасибо, я не пью, — сказал я.

— Вот как? А я без этого не могу, иначе я не переношу молоко, к сожалению. У каждого свои недостатки.

— Ну, если у вас только этот, вам не на что жаловаться.

— Пожалуй, так. Я и не жалуюсь. Это не в моих правилах.

Он был из тех людей, которые привыкли то и дело извиняться без причины. Впрочем, он производил приятное впечатление, возможно, чересчур вежлив, но искренний и образованный. Одет он был, как провинциал, весьма солидно и чисто, но неуклюже.

Он тоже меня рассматривал, и, так как я был в коротких брюках, он спросил, не приехал ли я на велосипеде.

— Нет, пешком, — ответил я.

— Так-так. Путешествуете пешком. Да, спорт дело хорошее, если на то есть время.

— Вы закупали дрова?

— Самую малость, только для домашних нужд.

— Я думал, вы торгуете дровами.

— Ни в коем случае. У меня свое маленькое дело, я владею суконной лавкой.

Мы пили кофе с бутербродами, и, когда он намазывал масло, я заметил, какие у него ухоженные, длинные и узкие кисти рук.

По его словам, до Ильгенберга было около шести часов пути. У него была повозка, и он любезно предложил мне поехать с ним, но я отказался. Я спросил, как туда добраться пешком, и он описал мне дорогу. Затем я позвал хозяйку, расплатился, сунул в сумку хлеб, простился с торговцем, спустился по лестнице в прихожую с каменным полом и вышел навстречу холодному утру.

Перед домом стояла легкая двухместная коляска суконщика, и кучер как раз выводил из стойла лошадь, приземистую жирную клячу с белыми и красноватыми, как у коровы, пятнами.

Дорога шла вверх по долине, сначала вдоль ручья, затем — по лесистому холму. И пока я шагал один, мне подумалось, что всю свою жизнь я путешествовал в одиночку, это касалось не только передвижений, но и вообще всех важных моментов моей жизни. Друзья и родственники, добрые знакомые и возлюбленные всегда были где-то рядом, но они никогда меня не понимали, не завладевали моим сердцем, не увлекали за собой, я всегда сам выбирал себе путь. Возможно, каждому человеку, кем бы он ни был, предначертана своя траектория, как брошенному мячу, и его полет предопределен, хоть он и думает, что судьбу выбирает себе сам. Но в любом случае судьба заключена в нас самих, а не вне нас, и, таким образом, поверхность жизни, ее зримая событийность не так уж важна. То, что обычно воспринимается тяжело и трагично, впоследствии оказывается пустяком. И те же самые люди, что опускались на колени перед видимостью трагического, страдали и гибли от вещей, на которые прежде не обращали внимания.

Я думал: что же гонит сейчас меня, свободного человека, в этот городишко Ильгенберг, где мне уже все чуждо — и дома, и люди, и где я, скорее всего, не найду ничего, кроме разочарования и, возможно, сожаления? С удивлением я наблю-

дал за собой: как я иду все дальше и дальше и мое настроение колеблется между иронией и боязнью.

Было чудесное утро, осенняя земля и воздух подернуты первым зимним дуновением, чья терпкая ясность уходила с наступлением дня. Большие клиновидные стаи скворцов с громким шумом проносились над полями. В долине медленно тянулось стадо овец, и с легкой пылью, которую оно поднимало, смешивался тонкий синий дымок от трубки пастуха. Линии гор, разноцветные стены лесов и текущие через пастбища ручьи — все это смотрелось в ясном, стеклянном воздухе свежо, как только что написанная картина, и красота земли говорила на своем тихом, задумчивом языке, без заботы о том, кто ее слышит.

Для меня всегда остается странным, непонятным и намного более удивительным, чем все вопросы и деяния человеческого духа: как гора простирается в небо и как ветер беззвучно затихает в долине, как соскальзывают желтые листья с ветвей березы и как стаи птиц парят в синеве. Тогда вечная тайна охватывает сердце, и ощущаешь такой сладостный трепет, что сбрасываешь с себя всякое высокомерие, с которым обычно говорят о необъяснимом, но при этом не чувствуешь уничижения, принимаешь все с благодарностью и сознаешь себя скромным и достойным гостем Вселенной.

Из кустов на опушке леса с хлестким хлопаньем крыльев передо мной вспорхнула куропатка. Бурые листья ежевики на длинных усиках нависали над лесной тропинкой, каждый лист был шелковистым из-за прозрачного тонкого инея, серебристо мерцающего, как нежный ворс на лоскуте бархата.

Когда после долгого лесного подъема я достиг вершины и с откоса мне открылся вид, я снова увидел знакомый ландшафт. Название деревеньки, в которой я ночевал, осталось мне не известным — я так и не спросил, как она называется.

Дорожка вела меня дальше вдоль опушки леса, здесь была его наветренная сторона, и я нашел себе забаву в том, чтобы разглядывать диковинной формы стволы, сучья и корни. Нигде так сильно не проявляется фантазия. Сначала все кажется скорее смешным: видишь гримасы, скорченные фигуры — в сплетении корней, почве, изгибах сучьев и листве чудятся знакомые лица. Затем глаз обостряется и видит, сам собою, целые орды причудливых форм. Комическое исчезает, ибо все эти неведомые создания стоят так уверенно и так непреклонно, что в их безмолвном скопище скоро находишь закономерность и необходимость. И, наконец, они становятся зловещими и угрожающими. Точно так же придет в ужас носящий маску и меняющий личины человек, как только он узрит черты каждого подлинного творения.

Ильгенберг

Деревня, в которой я оказался после двух часов ходьбы, называлась Шлухтерзинген и была мне знакома, я здесь уже бывал. Я шел по переулку, как вдруг возле нового постоялого двора заметил низкорослую лошадь с нелепыми пятнами и тотчас узнал повозку торговца из Ильгенберга.

Он как раз выходил из дверей дома, чтобы сесть в повозку, тут он увидел меня, живо поздоровался и добавил:

— Я здесь сделал кое-какие дела, а теперь еду прямо в Ильгенберг. Не хотите поехать со мной? Если вы, конечно, не предпочитаете идти пешком.

Он выглядел так радушно, и мне так хотелось поскорее добраться до места, что я согласился и сел рядом с ним. Он вручил чаевые трактирщику, взял поводья, и мы поехали. Коляска шла легко и плавно по хорошей дороге, и после долгого дневного перехода барское чувство езды мне показалось приятным.

Еще я был рад тому, что торговец не докучает с расспросами. Иначе бы я тут же сошел с коляски. Он только спросил, отправляюсь ли я на отдых и бывал ли уже в этих местах.

— Где сейчас лучше всего остановиться в Ильгенберге? — спросил я. — Раньше была отличная гостиница “У оленя”, владельца звали Бёлигер.

— Его уже нет в живых. Хозяйство теперь ведет приезжий, баварец, и оно теперь, говорят, в запустении. Но точно не скажу, я знаю только понаслышке.

— А как насчет “Швабского двора”? Там в свое время хозяином был Шустер.

— Он там до сих пор, и место на хорошем счету.

— Тогда я туда и направлюсь.

Несколько раз мой спутник делал поползновение мне представиться, но я не дал ему такой возможности. Так мы и ехали ярким солнечным днем.

— Все-таки быстрее, чем пешком, — заметил ильгенбержец. — Правда, пешком здоровее.

— Если есть хорошие сапоги. Кстати, ваша лошадь очень забавна, с этими своими пятнами.

Он вздохнул и улыбнулся.

— Вы тоже заметили? Правда, над пятнами многие потешаются. В городе ее так и окрестили коровой, вроде и пусть смеются, но почему-то меня это только злит.

— Но выглядит она хорошо.

— Еще бы. Ее это мало касается. Понимаете, я люблю свою лошадку. Вот она уже навострила уши, слышит, что о ней говорят. Ей уже семь лет.

В оставшийся час мы почти не говорили. Мой спутник, по-видимому, устал, а все мои мысли были поглощены видом приближающихся знакомых мест. Какое же это щемящее, восхитительное чувство, что охватывает нас при виде родного края, где мы провели юность! В голове кружатся беспорядочные воспоминания и в считаные секунды, словно во сне, мы переживаем минувшие события, некогда безвозвратно потерянное и такое родное снова смотрит на нас.

С небольшой возвышенности, по которой наша коляска шла рысью, открылся вид на город. Две церкви, крепостная башня и высокий фронтон ратуши улыбались навстречу нам, поднимаясь над лабиринтом домов, садов и переулков. Никогда бы не подумал, что с трогательным замиранием сердца буду смотреть на эту смешную луковку башни. Она поглядывала на меня украдкой, таинственно и так уютно, поблескивая медью, словно она меня узнала, и уже не в первый раз ей приходилось смотреть, как тихо и скромно возвращаются домой иные беглецы и завоеватели мира.

Я еще не успел заметить неизбежных изменений, новых зданий и улиц предместья — я видел все, как было прежде, и воспоминания нахлынули на меня, точно жаркая южная буря. Среди этих башен и крыш я провел сказочные юные годы, томительные дни и ночи, чудесные меланхолические весенние часы, в плохо отапливаемой мансарде я наслаждался долгими мечтательными зимами. В этих садовых аллеях я блуждал в пору любви, терзаясь сомненьями, исполненный рискованных планов. Счастьем своим я был обязан благосклонности одной девушки, первым робким разговорам и поцелуям нашей первой любви.

— Осталось недолго, — сказал мой спутник, — через десять минут будем дома.

“Дома!” — подумал я. Тебе легко говорить.

Мимо проплывали сады, картины сменяли одна другую, предметы, о которых я забыл и думать, приветствовали меня, как будто я лишь на час отлучился. Я больше не мог оставаться в бричке.

— Пожалуйста, остановитесь, я пойду дальше пешком.

Несколько удивившись, он натянул поводья и дал мне сойти. Я уже попрощался с ним, пожал руку и намеревался идти, но тут он откашлялся и произнес:

— Возможно, мы еще с вами увидимся, если вы остановитесь в “Швабском дворе”. Могу я узнать ваше имя?

Наконец, он представился. Его звали Гершель, у меня не было сомнений, что это и есть муж Юлии.

Мне хотелось прибить его, но вместо этого я назвал свое имя, снял шляпу и помахал ему вслед. Итак, это был Гершель.

Весьма приятный человек и зажиточный. Когда я подумал о Юлии, о том, какой гордой, чудесной девушкой она была, как она меня понимала, как разделяла мои тогдашние фантастически смелые взгляды и планы, у меня сдавило горло. Мой гнев моментально улетучился. Ни о чем не думая, погрузившись в печальные мысли, я вошел в город по старой голой каштановой аллее.

В гостинице все стало более изысканным и модным, в сравнении с тем, что было прежде, появился даже бильярд и никелированные, похожие на глобусы подставки для салфеток. Хозяин был прежний, еда и вино, как и раньше, отменные. На старом дворе все так же стоял стройный клен, из двух рожков стекал в желоб фонтанчик, рядом с которым, в блаженной прохладе, я прожигал когда-то теплые летние вечера за кружкой пива.

После обеда я вышел не спеша прогуляться по мало изменившимся улицам, читал старые, хорошо знакомые названия на вывесках лавок, зашел побриться, купил себе карандаш, задирал голову, рассматривая крыши домов, пробирался вдоль заборов по тихим садовым дорожкам предместья. Мне вдруг подумалось, что это мое путешествие в Ильгенберг — сплошное безумие, и все же я ощущал, как земля и воздух ластились ко мне, навевая прекрасные воспоминания. Я исходил все улицы, поднялся на церковную башню, прочел вырезанные на балках колокольни имена гимназистов, спустился вниз и принялся читать объявления на ратуше, пока не стало смеркаться.

Потом я стоял на непропорционально огромной, пустынной рыночной площади, прошел длинными рядами старых фронтонных домов, спотыкался на мостовой, и, наконец, остановился возле дома Гершеля. В маленькой лавке только что опустили жалюзи, четыре окна на втором этаже все еще были освещены Унылый и растерянный, я остановился и в нерешительности уставился на дом. Какой-то мальчуган появился на площади, он беспечно насвистывал “Венок невесты”[1]; когда он увидел меня, то перестал свистеть и стал меня разглядывать. Я дал ему десять пфеннигов и попросил удалиться. Потом подошел прохожий, спросил, не нужна ли мне помощь провожатого.

— Спасибо, — сказал я, и как-то вдруг у меня в руке оказался шнур от звонка, я решительно позвонил в дверь.

1. По-видимому, имеется в виду ария из оперы Карла Марии фон Вебера “Вольный стрелок” (1821) по новелле Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна, где различные события мешают свадьбе егеря Макса и его невесты Агаты. (*Прим. ред.*)

Ю*лия*

Тяжелая дверь медленно отворилась, в проеме появилось молодое лицо служанки. Я спросил хозяев дома, и меня провели наверх по темной лестнице. В коридоре наверху горела масляная лампа, и, пока я снимал запотевшие очки, мне навстречу вышел Гершель и поздоровался.

— Я знал, что вы придете, — сказал он негромко.

— Как это вы узнали?

— От моей жены. Я знаю, кто вы. Но вы раздевайтесь, пожалуйста. Сюда, если позволите. Это для меня большая честь. Пожалуйста. Проходите.

Ему было явно не по себе, что уж говорить обо мне.

Мы вошли в небольшую комнату, где на столе с белой скатертью горела лампа и был накрыт ужин.

— Ну вот, Юлия, мы познакомились сегодня утром. Позволь тебе представить господина...

— Я вас знаю, — сказала Юлия и ответила на мой поклон легким кивком, не подавая руки.

— Садитесь, пожалуйста.

Я сел в плетеное кресло, она на диван. Я смотрел на нее. Она стала крепче, но казалась меньше, чем прежде. Ее руки были еще молоды и нежны, лицо свежо, но стало полнее и жестче, все такое же гордое, но грубее и без блеска. Мерцание прежней красоты еще можно было заметить, на висках и в движениях рук, но это был всего лишь намек.

— Как же вы добрались до Ильгенберга?

— Пешком, милостивая госпожа.

— У вас здесь дела?

— Нет, просто хотел еще раз повидать город.

— Когда же вы были здесь в последний раз?

— Десять лет назад. Вы же знаете. Впрочем, город с тех пор не слишком изменился.

— Вот как? Я бы вас вряд ли узнала.

— А я вас сразу же узнал, милостивая госпожа.

Господин Гершель закашлялся.

— Вы не откажетесь отужинать с нами?

— Если я вам не помешаю...

— Пожалуйста, правда у нас сегодня только бутерброды.

Однако появился мясной студень, а также салат из фасоли, рис и вареные груши. Пили чай и молоко. Хозяин дома ухаживал за мной и старался поддерживать беседу. Юлия не произнесла ни слова, но время от времени смотрела на меня надменно и недоверчиво, как будто пыталась понять, зачем я собственно явился. Если бы я сам знал это!

– У вас есть дети? – спросил я, и тут она немного разговорилась. Заботы о школе, болезни, проблемы воспитания, все в наилучшем мещанском стиле.

– Все же школа – это благо, несмотря ни на что, – вмешался в разговор Гершель.

– Правда? А я всегда считал, что ребенок должен как можно дольше воспитываться исключительно родителями.

– Из этого видно, что вы сами бездетны.

– Да, я не так счастлив.

– Но вы женаты?

– Нет, господин Гершель, я живу один.

Я давился фасолью, она была плохо очищена.

Когда со стола все убрали, муж Юлии предложил откупорить бутылку вина, я не отказался. Как я и рассчитывал, он сам пошел в подвал за вином, и на какое-то время мы остались с его женой наедине.

– Юлия, – произнес я.

– Что вы хотите?

– Вы даже не подали мне руки.

– Я полагала, так будет лучше...

– Как вам угодно. Я рад, что у вас все хорошо. Ведь у вас все хорошо?

– О да, мы не жалуемся.

– А тогда скажите мне, Юлия, вы больше не вспоминаете о том времени?

– Что вы от меня хотите? Зачем поминать старое?! Все случилось, как и должно было случиться, наилучшим образом для нас для всех, я думаю. Вы уже тогда не совсем вписывались в Ильгенберг со всеми вашими идеями, так что ничего хорошего бы не вышло...

– Конечно, Юлия. Я вовсе не хочу ничего менять. Вам незачем обо мне думать, вовсе нет, но можно ведь помнить обо всем остальном, таком прекрасном, светлом. Ведь это было время нашей юности, мне хотелось еще раз в него окунуться и заглянуть в ваши глаза.

– Пожалуйста, говорите о чем-нибудь другом. Может быть, для вас это и так, а для меня слишком многое изменилось с тех пор.

Я смотрѐл на нее. Былая красота покинула ее, она была всего лишь фрау Гершель.

– Разумеется, – оборвал я ее довольно грубо и уже не имел ничего против возвращения ее мужа с двумя бутылками вина.

Это было крепкое бургундское, и Гершель, который явно не привык много пить, уже после второго бокала захмелел.

Начал подтрунивать над своей женой из-за меня. Но поскольку она на это не поддалась, он засмеялся и сдвинул свой бокал с моим.

— Сначала она вовсе не хотела, чтобы вы приходили, — сказал он мне доверительно.

Юлия встала.

— Извините, мне нужно к детям. Девочка не совсем здорова.

Она вышла, и я понял, что больше она не вернется. Ее муж, подмигнув, откупорил вторую бутылку.

— Лучше бы вы этого не говорили, — сказал я ему с упреком.

Он только засмеялся.

— Боже мой, в конце концов она не настолько раздражительна, чтобы ее это задело. Пейте же! Или вам не нравится вино?

— Вино отличное.

— Не правда ли? А кстати, расскажите, что там у вас было с моей женой? Так, наверное, ребячество?

— Ну да, ребячество. Сделайте одолжение, не будем об этом говорить.

— Конечно, не хочу быть назойливым. Десять лет ведь прошло, не так ли?

— Извините, но лучше мне уйти.

— Почему же?

— Так будет лучше. Может быть, завтра еще увидимся.

— Ну, если вам так хочется... Подождите, я вам посвечу. Когда вы придете завтра?

— Думаю, после полудня.

— Вот и хорошо, как раз к кофе. Я провожу вас до отеля. Нет, я настаиваю. Мы можем там вместе еще выпить.

— Спасибо, я хочу спать, я устал. Передайте от меня привет вашей жене, до завтра.

У дверей я отодвинул его и пошел один через большую рыночную площадь, а затем по тихим темным переулкам. Я еще долго бродил по маленькому городку, и, если бы с какой-нибудь старой крыши мне на голову упал кирпич и убил меня, так бы мне было и надо. Я глупец! Какой я глупец!

Туман

Утром я рано проснулся и решил сразу же отправиться в путь. Было холодно, и туман лежал так плотно, что не было видно другой стороны улицы. Замерзая, я выпил кофе, рас-

платился за ночлег и завтрак и широкими шагами двинулся в хмурую утреннюю тишину.

Быстро согреваясь, я оставил позади город и сад и погрузился в призрачный туманный мир. Это всегда чудесное, захватывающее зрелище, когда туман разделяет все соседствующее и мнимо принадлежащее друг другу, когда окутывает каждую фигуру и делает ее безысходно одинокой. Идет мимо тебя человек по проселку, гонит корову, или козу, или толкает тележку, или несет узел, а позади него плетется, виляя хвостом, собака. Ты видишь, как он приближается, здороваешься, он отвечает тебе, но, как только проходит мимо, ты оборачиваешься, смотришь ему вслед и видишь, как он становится неотчетлив и исчезает в сером мареве без следа. То же с домами, садовыми изгородями, деревьями и виноградниками. Ты думаешь, будто прекрасно знаешь эти места, и удивляешься, увидев, как далеко от улицы отошла стена какого-то дома, каким непомерно высоким стало это дерево и как низок этот домик. Избы, которые, как ты всегда думал, стоят совсем близко друг к другу, оказываются в таком отдалении, что с порога одного дома другой и не разглядишь. Совсем рядом слышишь людей и животных — они ходят, живут, издают разные звуки, но видеть их ты не можешь. Во всем это есть что-то сказочное, чужое, ускользающее, и вдруг ты ощущаешь это призрачное, символическое явным и пугающим. Начинаешь понимать, что две вещи или два человека, кем бы они ни были, в сущности, остаются неумолимо чужими друг другу: вот так и наши судьбы могли лишь на миг пересечься, лишь на мгновение создать видимость близости, соседства и дружбы.

Стихи пришли мне на ум, и я твердил их про себя по дороге:

Странно в туманной хмари!
Сгущается пустота,
И все одиноки твари,
Куст не видит куста.

Мир мой был ясен и мал,
В каждом знакомом — друг;
Но только туман упал —
И никого вокруг!

И кто во тьме не блуждает,
Не наживет ума,
Когда нас всех окружает
И разделяет тьма.

Странно в туманной хмари!
И даже не видит Бог,
Как все одиноки твари,
И человек одинок.

1906

Казнь

МАСТЕР с группой учеников отправился в путь, спустился с гор в долину и приблизился к стене большого города, перед воротами которого собралась огромная толпа народу. Когда они подошли ближе, то увидели возведенный эшафот, палачей, готовых к работе, и измученного тюрьмой и пытками человека, которого волокли с телеги на плаху. Толпа народу теснилась вокруг, высмеивала и оплевала осужденного, предвкушала, как его будут обезглавливать, с шумной радостью и нетерпением.

– Кто этот несчастный? – спрашивали ученики наперебой. – И что он совершил, что толпа так жаждет его смерти? Никто его не жалеет и не плачет.

– Я полагаю, – сказал печально мастер, – что этот человек – еретик.

Они пошли дальше, и, когда поравнялись с толпой, ученики стали участливо спрашивать у людей об имени и преступлении того, кого они видели коленопреклоненным перед плахой.

– Он – еретик, – восклицали люди в гневе, – ага, вот он склоняет свою упрямую голову! Смерть ему! Ведь он, собака, вздумал нас поучать, что в райском граде только двое врат, но мы же знаем, что их двенадцать!

В удивлении обратились ученики к мастеру и спросили:

– Как ты догадался, мастер?

Он улыбнулся и пошел дальше.

– Это было не сложно, – сказал он тихо. – Если бы это был убийца, или вор, или еще какой-нибудь преступник, то народ проявил бы к нему сострадание. Многие бы плакали, некоторые настаивали бы на его невиновности. Если же кто-то имеет собственную веру, того народ без сожаления отправляет на смерть и его труп бросают на растерзание собакам.

около 1908

Притча о слепых

По мотивам Вольтера

В первые годы в лечебнице для слепых, как известно, все слепые были равноправны, и все свои мелкие заботы они решали большинством голосов. С помощью осязания слепые могли безошибочно отличить медную монету от серебряной, и никто из них ни разу не перепутал мозельское вино с бургундским. Обоняние у них было тоньше, чем у зрячих. Они блестяще рассуждали о четырех чувствах, поскольку знали о них все, что только можно было знать, и жили так мирно и счастливо, как только могли жить слепые.

Но тут, как на беду, один из их учителей заявил, что знает о зрении кое-что вполне определенное. Он произносил речи, убеждал, у него появлялись сторонники, и, наконец, его признали главой цеха слепых. Человек этот решил, что только он один и может судить о мире красок, и с тех пор всё у этих слепых пошло наперекосяк.

Прежде всего этот первый диктатор среди слепых создал небольшой совет, с помощью которого он мог распоряжаться всеми подаяниями. Теперь уже никто не решался ему противоречить. И он провозгласил, что вся одежда слепых является белой. Слепые в это поверили и долго говорили о красоте своих белых нарядов, хотя ни у кого из них таковых не было. Теперь все вокруг начали потешаться над ними, и тогда слепые пришли к диктатору и стали жаловаться. Он принял их очень плохо, объявил их реформаторами, вольнодумцами и бунтовщиками, которые подверглись влиянию диких воззрений тех людей, которые имеют глаза. Бунтовщики они, поскольку имели неслыханную дерзость усомниться в непогрешимости вождя. После этого возникли две партии.

Чтобы успокоить народ, владыка издал новый указ, согласно которому все платья слепых являются красными. Но и тут он ошибся — ни у одного из слепых не было красной одежды. Теперь их стали высмеивать еще больше, чем прежде, и число недовольных среди них росло. Вождь пришел в бешенство, его подданные тоже, произошла длительная потасовка, и мир наступил лишь тогда, когда слепые пришли к решению с этих пор больше не рассуждать о цвете.

Некий глухой прочитал эту историю и признал, что слепые заблуждались, когда выносили свои суждения о цвете.

Тем не менее он по-прежнему считал, что в музыке знают толк лишь глухие.

1929

Китайская притча

НЕКИЙ старый человек по имени Чунь Лан, что значит Мастер скал, владел небольшим хозяйством в горах. Однажды случилось так, что потерялась одна из его лошадей. И тут пришли к нему соседи, чтобы выразить свое сочувствие по поводу этого несчастья.

Старик же удивился:

– Почему вы думаете, что это несчастье?

И действительно: через несколько дней лошадь вернулась и привела за собой целый табун диких лошадей. Снова пришли соседи с намерением поздравить его с этим счастливым случаем.

Мастер скал на это ответил:

– Почему вы думаете, что это счастливый случай?

С тех пор как у старика появилось так много лошадей, его сын пристрастился к верховой езде и однажды упал с лошади и сломал ногу. Тут снова пришли соседи, чтобы выразить свое сочувствие по поводу этого несчастного случая. И снова сказал им старик:

– Почему вы думаете, что это несчастный случай?

Через год после этого в горах появился отряд "Длинные копья", чтобы набрать крепких мужчин для императорской военной службы и для переноски паланкина. Но сына старика они не взяли, потому что у него все еще болела нога.

Старый Чунь Лан только улыбнулся.

Пятидесятые годы

Цзу Юнь

"ПОСЛЕДНИЙ снег на Чжань-Шане"
(Тема экзаменационного стихотворения на государственных экзаменах при приеме на службу в 725 году в Чань-ане, столице Танского царства)

Еще вершины гор на северной черте
Превыше облаков возносят седину.

Прозрачный лес в эфирной чистоте,
И стужа охватила всю страну.

Когда Цзу Юнь сдал это стихотворение, экзаменатор вернул его обратно и укоризненно заметил, что оно слишком коротко для экзаменационной работы, в стихотворении должно быть, по крайней мере, восемь строк или более.

Цзу Юнь ответил кратко: “И Дзин”, что значит “Смысл исчерпан”.

Тогда экзаменатор прочитал его работу еще раз и согласился, что стихотворение действительно содержит все, что следовало сказать, принял его, и это высказывание Цзу Юня стало со временем признанным мерилом для оценки стихотворений.

Пятидесятые годы

Французский сонет XVI–XIX веков

Перевод с французского Романа Дубровкина

Вступление Натальи Ванханен

Наслаждение порядком среди хаоса

Помню чудесный разговор в коридоре издательства “Художественная литература” — в прославленном “Худлите”. Беседу редактора с начинающим переводчиком.

— Вы стихи хорошо переводите, а сонеты перевести можете?

Маленькая заминка.

— Ну, могу, наверное...

— Вы меня хорошо поняли? Сонеты! Сонеты, а не абы что! Мне нужно парочку срочно — к четвергу. Успеете?

Юный переводчик недоуменно вскидывает брови:

— А они что — длинные?

За истинность диалога ручаюсь, то есть анекдот вполне исторический.

Сонет — форма требовательная. Жесткая и гибкая одновременно. Четырнадцать строк и точка — извольте уложиться! Определенное чередование рифм, с некоторыми вариациями. И рифмы всё четкие — тут никакой пощады. Полностью подчиненный внутренней логике — завязка “сюжета” в первом катрене, развитие — во втором, подход к разрешению в первом терцете и развязка — часто весьма неожиданная — во втором (он же последний), — при всех этих ограничениях сонет должен обладать естественностью непосредственного высказывания. Порой это любовный роман в четырнадцати строчках, порой — письмо, а то и полноценный научный трактат, заключенный в изящную амфору афоризма.

Словом, перефразируя крылатую фразу, сонет — дело тонкое. Недаром уже на заре своего существования, в тринадцатом-четырнадцатом веках, этот жанр привлекал поэтов. Дерзкая мысль: “Если могу сонет, могу всё” — не давала покоя. Но главное — влекла красота. Ибо сонет красив, музыкален, звучен, его хочется сохранить в памяти, повторять про себя и вслух.

© Роман Дубровкин. Перевод, 2016
© Наталья Ванханен. Вступление, 2016

Полностью книга выйдет в издательстве “Текст”.

Сонет родился в Италии. Прославил его, как известно, Петрарка. То есть славил-то он мадонну Лауру, а лавром увенчал новую поэтическую форму, ну и себя, разумеется.

Сделать красиво, как у Петрарки, но на своем родном наречии — эта мечта одинаково владела французами, испанцами, англичанами, русскими на протяжении столетий. В результате сонетная форма волной растеклась по географической карте, дав свои всплески и переливы, в каждом языке — особые. В Англии возник шекспировский сонет со своей оригинальной строфикой: три катрена и пара зарифмованных строк в конце. В России, кроме классического русского сонета, из-под пушкинского пера появилась завораживающая онегинская строфа, в которой и сонетная-то основа нами опознается не сразу, настолько она впитала в себя разноплемённые стиховые достижения.

В. Б. Микушевич однажды обмолвился: "Если поэт вдруг, безотчетно, написал стихотворение в форме сонета — он достиг наконец истинного мастерства". Думаю, эти слова можно отнести и к переводчику. Переводчик, берущийся за эту поэтическую форму, знает о стихе всё.

А вот читатель, взявший перевод в руки, как раз может обо всем забыть. Даже если, паче чаяния, до того он знал техническую сторону вопроса. Читателю не стоит помнить ни про четырнадцать строк, ни про мужскую и женскую или исключительно женскую — на итальянский манер — рифму. Ему предстоит только наслаждаться. Вот это-то и будет величайшей переводческой заслугой.

Роман Дубровкин подготовил книгу французских сонетов. В его переводах зазвучали и знаменитые на весь мир классики — Пьер де Ронсар, Жоаким Дю Белле, Агриппа д'Обиньи, Пьер Корнель, Жерар де Нерваль, Альфред де Мюссе, Теофиль Готье, Леконт де Лиль, Шарль Бодлер, Стефан Малларме, Поль Верлен, Артюр Рембо, Поль Валери, впервые встретившиеся под одной обложкой, — и поэты менее известные, чьи имена русскому читателю только предстоит открыть.

Перед нами разворачивается целая панорама сонетной формы за четыре века: с начала шестнадцатого до начала двадцатого. Тут и история страны, и эволюция мысли, и разнообразные переливы человеческих чувств. Любовь, война, размышления о конечности жизни и истинно французские упражнения в изысканном остроумии сменяют друг друга.

Французский сонет в переводах Романа Дубровкина поразительно живописен. Традиционно страной живописи принято считать Италию, а Францию относить к прародительницам литературы. Во всяком случае, мы видим, что сонетная форма великолепно вмещает и живопись, и музыку — поэзия объемлет всё.

Интересно, что живописность здесь истинно национальная: читаешь, и перед глазами встают картины в духе французских художников разных веков и стилей.

Вот, скажем, прелестная игривая пастораль в манере Буше:

Отчаясь летнюю осилить духоту,
Климена в рощице спала почти нагая.
Воздержный самый нрав такую красоту
Не смог бы миновать, стыдом пренебрегая.

Жан-Батист де Грекур (1684—1743)

Де Грекур и Франсуа Буше современники, но вряд ли поэт стремился сделать поэтическую иллюстрацию к многочисленным ню модного художника. Просто вкус эпохи обычно более или менее един, во всех видах искусства.

А вот сценка из иного времени. "На бульварах":

Вдоль ослепительных витрин из мастерских
Обедать стайками бегут провинциалки,
Без шляпок, приколов к передникам фиалки,
Глазеют на мужчин в пластронах щегольских.

Жюль Лафорг (1860—1887)

Не правда ли, чистой воды импрессионизм? Очаровательный весенний Париж с полотен Мане и Ренуара.

Но вернемся к строгости сонета, к его классической архитектурной стройности. "Суровый Дант не презирал сонета", — заметил Пушкин. Читаешь эту строку и мысленно поневоле переносишь "суровость" с Данте на сам сонет. Суровый, строгий, выстроенный, сделанный... Что же в нем такого привлекательного для безалаберного племени поэтов? А привлекателен он настолько, что ему, сонету, поэты неоднократно посвящали стихи, спрашивали его совета, обсуждали с ним свои творческие планы и т. д.

— Я почести прошу у Вашей чести...
— Какой? — Сеньор сонет, явить Вас свету!
— Ах, вот что! Ну, от первого куплета
Я не в восторге, говорю без лести.

Франсиско де Кеведо

Поди ж ты, он еще и ворчал!
Так что же в нем такого хорошего?

А вот что, наверное: порядок, дисциплина.

В хаотичном, то и дело теряющем точку опоры человеческом мире сонет остается незыблемым островком безупречного порядка, неподвластного ни злой, ни доброй воле. Это и утешительно, потому что, как выясняется, абсолютная свобода человечеству не на пользу. Вот "Сонет о сонете" великого английского поэта Уильяма Вордсворта — хочется привести его целиком.

Отшельницам не тесно жить по кельям;
В пещерах жизнь пустыннику легка;

Весь день поэт не сходит с чердака;
Работница поет за рукодельем;

Ткач любит стан свой; в Форнер-Фельс к ущельям
Пчела с полей летит издалека,
Чтоб утонуть там в чашечке цветка;
И узники живут в тюрьме с весельем.

Вот почему так любо мне замкнуть,
В час отдыха, мысль вольную поэта
В размере трудном тесного сонета.

Я рад, когда он в сердце чье-нибудь,
Узнавшее излишней воли бремя,
Прольет отраду, как и мне, на время.

Перевод Д. Мина

Труд, обернувшийся счастьем, оковы, ставшие свободой, преодоленная тяжесть, дающая легкость, — словом, волшебное преображение слова в сонете, происходящее на наших глазах.

Луиза Лабе (1524–1566)

* * *

Я, умирая, вновь и вновь живу,
Я, чувства обнажая, чувства прячу,
Под знойным солнцем мерзну и в придачу
Сплю и не сплю во сне и наяву.

Позор уподобляю торжеству,
Смеюсь от горя, от восторга плачу,
Я в неудачах нахожу удачу,
Ищу на ветке высохшей листву.

Любовь меня навек лишила воли:
Растет ежеминутно боль моя,
Но миг — и вновь не чувствую я боли.

Когда же думаю о лучшей доле,
К знакомым бедам возвращаюсь я,
И снова от страданий нет житья.

Теодор Агриппа д'Обинье (1552–1630)

* * *

Я посадил в Тальси два черенка, две ивы,
Над ними Времени не властен острый серп,
От непреклонных прях им не грозит ущерб,
Покуда саженцы в моем сонете живы.

Я вензель вырезал на них неприхотливый,
Две буквы на коре – союза прочный герб,
Чтоб дружба двух имен окрепла с ростом верб,
Чтоб накрепко сплелись взаимные извивы.

Цветите, вольные деревья – вам одним
Я вверил знак любви, несчастьями гоним,
Мольбы моей к лесным подругам не отбросьте:

"Дриады милые, вас до конца времен
Я позаботиться прошу о бурном росте
Не только бед моих, но и святых имен!"

Жан де Спонд (1557–1595)

* * *

Нам всем когда-нибудь придется умереть.
Судьба в урочный час затопчет в дерн зелёный
Не признававший смерть сосуд одушевленный,
Дабы пред вечностью он не кичился впредь.

Живому факелу придется отгореть,
Застынет ярый воск, иссякнет дух смоленый,
Беспечную волну проглотит вал соленый,
Палитре красочной придется посереть.

На небе молнии я вижу не впервые,
И раньше слышал я раскаты громовые,
Я помню, как в горах, чернея, тает снег.

На льва рычащего, я знаю, кнут найдется.
Живи и радуйся, но помни, человек,
Что умереть тебе когда-нибудь придется.

Франсуа Мейнар (1582–1646)

* * *

Прощай, Париж, прощай, теперь уже навек!
На этих стогнах я устал кадить Фортуне.
Спешу назад к лесам, где счастлив человек,
Где силы свежие не прозябают втуне.

Богатства умножать, поверь, не мой удел,
Не жаждой золота прославлен род мой древний:
То, чем владею я, чем прадед мой владел,
Ничтожно при дворе, но велико в деревне.

С тех пор как понял я, что правда не в чести,
Что доблесть в этот век издряхший не спасти,
Я в одиночестве нашел покой душевный.

Высокий, вольный дух попробуй приневоль!
Избавлен наконец от службы каждодневной,
Я сам себе слуга и сам себе король!

Марк-Антуан Жирар де Сент-Аман (1594–1661)

* * *

Я меланхолией и ленью сокрушен,
Я ползимы проспал, теперь просплю до лета,
Как заяц без костей на ложе из паштета,
Уныл, как Дон Кихот, как Дон Кихот, смешон.

Войной в Италии я не растормошен,
Казна и титулы не вдохновят поэта,
В стихах моих одно бездействие воспето,
Мой дух расслабленный в них живости лишен.

В постели целый день валяться мне не в тягость,
Известно, что во сне на нас нисходит благость:
Солидное успел я отрастить брюшко.

Спросонья тру глаза, противна мне работа.
Любезный Бодуан, ты думаешь легко
Взять и сложить сонет? Решиться — вот забота!

Жан-Батист де Грекур (1684–1743)

* * *

Отчаясь летнюю осилить духоту,
Климена в рощице спала почти нагая,
Воздержный самый нрав такую красоту
Не смог бы миновать, стыдом пренебрегая.

От юбки поднятой скользил по животу
Мой взор туда, где цель темнела дорогая.
Я эту тайную ложбинку свято чту,
Она манит меня, как ни одна другая.

Так загорелся я, так очарован был,
Что робость прежнюю и скромность позабыл:
Над спящей наклонясь, ее лобзал я страстно.

Проснулась и, смеясь, пролепетала мне:
“Я мудрости людской не верила напрасно,
Все лучшее и впрямь приходит к нам во сне!”

Жозефен Сулари (наст. имя Жозеф-Мари) (1815–1891)

Великое горе

Он с кладбища пришел, похоронив жену,
В кабак влечет его неведомая сила.
Известно, что в беде мы тянемся к вину,
А мертвых все равно не выпустит могила.

Он трубку докурил, потом еще одну,
Не верит в счастье он, и жизнь ему постыла.
Пробормотал: “Куда деваться горюну?” —
И на пустой стакан уставился уныло.

В сторонке за столом друзья: “Ты мне поверь,
Недолго без нее протянет он теперь,
Тащила на себе весь дом раба господня!”

Он ночью прибредет домой, мертвецки пьян,
И, может быть, всплакнет, тоскою обуян,
Что некого ему поколотить сегодня.

Шарль Бодлер (1821–1867)

Коты

И старый книгочей, и сладострастник старый
Из гордости не прочь обзавестись котом.
В уюте и тепле весь день они потом,
Хозяин и жилец, сидят вальяжной парой.

Любовь с премудростью в попутчицы избрав,
Коты в безмолвную уводят нас гробницу,
Их в погребальную запряг бы колесницу
Плутон, когда бы мог смирить их гордый нрав.

В их позах вкрадчивых есть благородство линий,
Как сфинксы, спят они в неузнанной пустыне,
Уйдя в былые сны, и нет их снов мудрей.

От баснословных искр их плодовиты чресла,
В мерцающих зрачках мистических зверей
Потустороннее таинственно воскресло.

Разбитый колокол

Под колокольный звон туманной ночью зимней,
Когда за окнами не разглядеть ни зги,
Очаг для призраков былых гостеприимней,
И сладко слушать их тоскливые шаги.

Ты счастлив, колокол, ты стар, но в глотке медной
Есть мощь, способная встревожить высоту,
Твой голос набожный гудит, как зов победный,
Как окрик часовых на боевом посту.

А я не населю стихами зимний холод,
Есть трещина во мне, и голос мой расколот,
Пытаюсь петь, кричу, молчу в конце концов.

Так раненый солдат под грудой мертвецов
Хрипит, пытаясь встать и выбраться наружу,
И мертвым в липкую опять уходит лужу.

Поль Верлен (1844–1896)

Похороны

На похороны я хожу с большой охотой:
Могильщик радостно орудует киркой,
Веселый колокол звонит “За упокой”,
И молится кюре, весь в белом с позолотой.

Как девочка, поет мальчишка большеротый,
Прикрыли наконец покойника доской,
Земля течет на гроб шуршащею рекой.
Счастливчик, он с людской расстанется заботой.

Как это здорово, какая красота!
Распорядители во фраках без хвоста,
С носами красными от сидра дарового.

Здесь речи краткие глубокий смысл таят,
И, не произнося от гордости ни слова,
Толпой наследнички стоят!

Тристан Корбьер (1845–1875)

Дневной Париж

Смотри, как пряный жир обляпал бирюзу:
Там манну варит Бог в сияющем тазу,
Проплаченную впрок небесным Доброхотом
И крепко, из любви, подсоленную потом.

Толпа оборвышей подачки ждет внизу,
Похлебки едкий дух щекочет нос сиротам,
И пьяницам вольно примазаться к щедротам,
Заморыш с миской дрожит, смахнув слезу.

Ты думаешь, для всех вверху кипит жаркое,
Для всех такой восторг, роскошество такое?
Глотай собачий суп, не так он нынче плох!

Лишь для удачливых в зените солнце блещет,
А к нам в подвал вода сквозь дыры в крыше хлещет,
По мне, уж лучше желчь, в меду я б точно сдох.

Жюль Лафорг (1860–1887)

На *бульварах*

Вдоль ослепительных витрин из мастерских
Обедать стайками бегут провинциалки,
Без шляпок, приколов к передникам фиалки,
Глазеют на мужчин в пластронах щегольских.

В аллее, слушая напев шарманки жалкий,
Я сочинял под шум деревьев городских
Сонет кладбищенский о склепах колдовских
И вдруг увидел гроб на черном катафалке.

Я вздрогнул: жизнь таким, как я, не по нутру,
Жить жутко гению, но, если я к утру
Умру, кто ввечеру заплачет над поэтом?

Прохожие дадут процессии пройти,
Бродяга крикнет вслед: “Счастливого пути!”
И все останется, как прежде, в мире этом.

Нельсон Олгрен

Рассказы

Перевод с английского Ольги Кулагиной

Лицо на полу бара[1]

МНОГО лет назад, в неспокойные двадцатые, когда Чикаго был еще опасным городом, один вежливый парень по имени Фэнси работал в трущобах Ван-Бюрен-стрит, в грязном подпольном баре. Он располагал к себе девиц из дешевых варьете и тайных борделей, сочетая лесть с всегдашней готовностью отпустить выпивку в долг. Если его просили налить рюмашку в кредит, он неторопливо отвечал:

— Не хочется, чтоб такая хорошенькая девушка шла по Стейт-стрит и мучилась от жажды. — И платил за выпивку из своего кармана.

Ни один полицейский не заглядывал в этот сарай, где из-за тусклого света все посетители казались на одно лицо. Старина Б., хозяин подпольного бара, избегал внимания полиции тем, что запирал дверь и опускал жалюзи всякий раз, как

© Nelson Algren
© Ольга Кулагина. Перевод, 2016

1. Название короткометражного фильма Чарли Чаплина. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

начиналась драка. Бои, хоть и частые, проходили без лишнего шума, чтобы не привлекать внимание случайных прохожих: только монотонный гул вентиляторов над головой и отчаянное шарканье ботинок по полу — вот и все, что можно было услышать, когда дрались два вора.

Драка прекращалась внезапно, и монотонный гул вентиляторов снова утопал в приглушенных разговорах. Старина Б. поднимал жалюзи, вежливый парень отпирал дверь. И победителю, и побежденному полагалась выпивка за счет заведения. Снова звучал музыкальный автомат, и каждый чувствовал, что день прожит не зря.

— Поглядим, что сегодня устроят алкаши у старины Б., — говорили стриптизерши, закончив работу. — Драка всегда лучше всяких представлений. Может, сегодня получится *интересная*.

Если человека избивали так, что он не мог подняться даже за выпивкой, старина Б. собственноручно вливал ему в горло глоток спиртного, а потом, если никто не выражал желания позаботиться о пострадавшем, взваливал его на плечо и выносил через заднюю дверь, как мешок картошки. Здесь, тайком, под стальной дугой надземки и нескончаемыми шпалами, старина Б. осторожно прислонял парня к задней двери бара, принадлежавшего греку Стиву. Стив оплачивал "крышу", а старина Б. — нет, что означало: Стив разберется с полицией, зато старина Б. даст ложные показания в пользу Стива, когда у того случатся свои неприятности.

Вот так обстояли дела. Спокон веку.

— И потому, — объяснил Фэнси старина Б., — так оно будет всегда.

Эти драки не решали ни одного спора и были бессмысленны, разве что позволяли старине Б. экономить на других увеселениях. Выходило, что в подпольном баре сражались только за свою честь — например, когда "пшек" Франк назвал "макаронника" Джона самым никудышным воришкой на всей улице.

— Промазал рукой мимо бочки с мукой, — прокомментировал он.

Или когда Живчик Ник заявил при всех, что подружка еврея Тошнотины — шлюха, давно вышедшая в тираж. Они дрались из самоуважения. Потому что шлюхе еврея Тошнотины до выхода в тираж было еще далеко, и он это доказал, не сходя с места, голыми руками и при помощи разбитой солонки.

— Она за воскресный день в Оук-парке зашибет больше, чем твоя миссис за четыре субботние ночи на этой улице.

На самом деле дрались, чтобы как-то заполнить свою пустую жизнь, как наполняли пустые стаканы. Не потому, что залились до ушей алкоголем, а потому что его не хватало. На

всей Саут-Стейт-стрит не нашлось бы столько виски, чтобы залить пустоту в душе хоть одного бродяги. От противного, горького привкуса поражения царапало в горле, но они винили в этом бретцели старины Б.

— Пересаливаешь бретцели, старина, — пеняли ему посетители.

— Зато ребятам хочется выпить, — отвечал он. — Потому и банки с горчицей всегда полны.

Никто не *обязан* был есть на дармовщинку. Но ни у кого не получалось поесть, не заработав мучительной жажды, во всяком случае, пока делами заправлял старина Б.

Поэтому человек ощущал непродолжительный сладкий вкус победы только тогда, когда добирался до стойки своими ногами, пока его соперника поднимали с пола. Бывало, посетитель, обычно ловивший кайф только с пол-литра, казался пьяным от пары рюмок и своей победы.

Не трезветь, никогда не трезветь: когда подпольное виски не действовало, кровь согревала победа в бою.

Самой скверной оказалась самая ненужная и неожиданная драка. С виду ее участники меньше всех в округе подходили для драк. Когда все было кончено, старина Б. составил стулья на столы, в последний раз опустил жалюзи, присыпал опилками пол и запер дверь навсегда.

А началось все раскаленным утром в середине августа, самого жаркого из всех, какие помнили в городе, во время шутливого разговора Фэнси с маленькой сутулой стриптизершей, которая работала через дорогу, в варьете "Глазок в Париж", и называла себя Милашкой Венерой.

— Тебя, Венера, тут какой-то герцог спрашивал, — поддразнил ее Фэнси. — Рудольф какой-то... Валентино, что ли... точно не помню. Сказал, что вы с ним маленько поцапались, и он хотел это дело загладить. С ним были два посыльных с цветами. Обещал через полчасика вернуться.

— Передай Руди, как придет, чтобы больше меня не беспокоил, — скромно ответила Венера, — скажи, между нами все кончено.

И добавила уже без шуток:

— На кой черт мне это напомаженное привидение, Фэнси? Разве я не заполучила самого лучшего парня на свете? Что такое есть у этих киношных хлыщей, чего нету у моего Малютки Машиниста?

Фэнси мог бы ответить:

— Две ноги.

Потому что из всех обитательниц борделей и кабаре Венера сильно отличалась: Малютка Машинист был безногим.

Будь она даже любовницей убийцы — и тогда бы она не была такой особенной.

— Ты ведь знаешь, что говорят про тех, кому везет в любви, — теперь она уже подлизывалась к Фэнси. — Как сегодня, пупсик? В долг нальешь?

— Я тебе "пупсик", только когда просишь в долг, — упрекнул ее Фэнси. — А как ты при деньгах, то только и слышу: "Наливай двойную, четырехглазый". Почему *так*?

— Это все из-за моего непостоянства, пупсик, — ответила она. — Сегодня я чувствую одно, а завтра — совсем другое. И так каждый день, никогда не знаю, какая встану наутро.

— Ну, ладно, — кротко согласился Фэнси, опустив глаза, как будто она сказала что-то такое, чего ему слышать не полагалось. — Мы тут все беспутные. Такая наша жизнь. Такими нас жизнь сделала.

Чтобы вернуть разговор в шутливое русло, он добавил:

— Я так понимаю, Машинист — мужик что надо.

И подкрепил свою догадку кривой ухмылкой.

— Вам, с двумя ногами, до него далеко, — холодно ответила она и добавила в пиво соли.

— Может, оттого у него и деньги водятся? — тихо предположил Фэнси, словно размышляя вслух.

— Не много ли ты вопросов задаешь за одно пиво?

Фэнси вытер руки кухонным полотенцем и попробовал извиниться:

— Венера, да я пошутил!

— Дай бог, чтоб так, — сказала она, выплеснула пиво на стойку, которую он только что помыл, и ушла.

— *Этой-то* какая шлея под хвост попала? — спросил старина Б.

— Злая из-за чего-то, как мегера, — уклончиво ответил Фэнси, тщательно вытирая стойку. И зачем ее нелегкая принесла?

— Люди просто не знают моего Малютку, — жаловалась Венера билетерше из "Парижа". — Он и медяка паршивого ни у *одной* женщины не возьмет, он не из таких. А те, кто тут ошивается и болтает всякое, — им невдомек, как Малютка может сильно обидеться. Им невдомек, какой он чувствительный. Не знают, какой он *гордый*. Я вот что тебе скажу, пупсик: такого гордого на всей земле не сыщешь, так-то!

Билетерша, казалось, не слушала. Она обнаружила в кассе излишек в шестьдесят центов и испытывала приятное чувство оттого, что сама не заметила, как кого-то обсчитала.

Но слышать-то она все слышала.

Безногому не нужно было брать деньги у женщин. Он был человеком многих дарований и неистощимой изобретательности. Такого виртуозного карточного шулера не нанял бы сдавать колоду ни один местный притон, потому что все лохи сразу отодвигались от стола, как только к нему подсаживался Малютка. Его ни разу ни на чем не поймали, но лохи всегда чувствуют неладное, даже когда не могут объяснить, что именно их беспокоит.

— Ты слишком хорошо знаешь свое дело, — предостерег его старина Б. — Не хотелось бы тебя тут застукать на жульничестве, даже в "орлянку". Мне нужно беречь клиентов. Они сюда приходят выпить, подраться и закусить хорошими бретцелями.

В подтверждение своего доброго отношения он придвинул Малютке миску свежепосоленных бретцелей и даже опустил ее пониже, чтобы калеке не пришлось подниматься с тележки.

— Я знаю, Малютка, это нелегко, — посочувствовал ему старина Б. — Тебе не хватает роста, чтобы промышлять в трамвае или дотянуться до ящика кассы. Хотя, если б кто-то подсадил тебя в окно, ты смог бы, наверно, пошарить в сумочках этих артисток.

— Я такими делами не занимаюсь, братец, — гордо ответил Малютка. — Это все просто подлое *воровство*.

Так что человек он был исключительно добродетельный и своей единственной добродетели придерживался твердо: ни один мужчина не смог бы его обвинить в том, что он когда-нибудь взял у женщины хоть грош — будь то обманом, силой или обольщением.

Зато он был толковым механиком и мастером по срочной переделке угнанных машин.

Он так проникновенно читал проповеди, что даже забулдыги не разбегались после раздачи пончиков, а на тех, кто пробирался к дверям, он обрушивал такие проклятья, что они покорно семенили обратно.

Он умел намешать пойло, от которого человек вырубался через минуту, или такое, что не берет целых пять часов.

Он продавал наводку на запаленную лошадь, а через час, после того как она выбывала из игры, надувал того же простака еще раз.

Он никогда не искал глазами часы, потому что чувствовал время. Часов не носил, но время определял с точностью до двух минут, днем и ночью, в дождь, в туман, в снег и в солнечный денек.

Он мог определить вес человека, едва коснувшись его одежды, и ошибался не больше, чем на килограмм. Он редко ну-

ждался в деньгах и тратил их так беспечно, что, если вдруг оказывался на мели, дружки подозревали, что он темнит.

— Малютка *всегда* при деньгах, — негодовали они и принимались швырять в него плевательницами. Он весело увертывался, их раздражение ему льстило. Но если кто-нибудь пробовал дать ему пинка, он хватал своими ручищами ногу обидчика и безжалостно ее выворачивал до тех пор, пока человек на оказывался на полу в беспомощных корчах.

— Поглядите-ка на него, ребята! — фыркал Малютка, катаясь по дуге взад-вперед на безопасном расстоянии от рук своей жертвы. — Извивается, как свинья!

Метание плевательниц на время прекращалось.

Потому что на полу он был смертельно опасен. У него были плечи профессионального борца, и он действительно когда-то занимался борьбой.

— Довелось мне встретиться когда-то с Льюисом Душителем, — рассказывал он. — Дело кончилось тем, что Льюис применил свой удушающий захват, но я от него освободился, а вот он из моего нельсона вырваться не смог. Были времена, сам Збышко не мог вырваться из моего нельсона.

По ночам Малютка отстегивал ремни на бедрах, одним прыжком оказывался в кровати и принимался разбрасывать вокруг себя деньги, словно куриный корм.

— Считайте, ребята! — кричал он. — Считайте все!

В день он зарабатывал от десяти до двадцати долларов продажей туалетной воды, которую сам разливал по флаконам. Девицы из кабаре предпочитали эту воду самой лучшей парфюмерии Скиапарелли только потому, что это был его товар.

А еще он получал какое-то странное удовольствие, когда обгонял на улице хромого или одноногого.

— Смотри, как я сейчас сделаю этого калеку на деревяшке, — хвастался он, резко брал с места и вихрем, чуть не спихнув инвалида с дороги, проносился мимо него. Останавливался как вкопанный, разворачивал тележку и с вызовом ждал, как тот отреагирует, если отреагирует вообще.

— Я могу все, что может любой здоровый мужик, — говорил он всем здоровым мужикам. — Каждого из вас могу перепить и избить. Назови любое дело, и я сделаю его лучше тебя.

Казалось, он боялся только одного: что его сочтут неполноценным. Он так привык отстаивать свои права, что каждый рассвет воспринимал как начало нового испытания, необходимость доказывать себе, себе и другим, что Малютка может все.

Выкуривая по утрам первую горькую сигарету, он яростно настраивал себя перед новым днем: никому не уступать и никого не щадить, как никогда не щадили его.

— Не ввязывайся в историю из-за этой девчонки, — посоветовала ему в тот жаркий августовский вечер уборщица, перебирая связку ключей. — У мальчишки длинный язык, но он еще мальчишка и зла никому не желает.

— Какой мальчишка? Какая девчонка?

— Не прикидывайся, что ничего не знаешь, когда весь дом об этом судачит.

Малютка направился в ее сторону, уборщица невольно попятилась к выходу. Она уже взялась за ручку двери, но он вцепился ей в запястье и выкрутил так, что ключи упали на тележку.

— Нечего злобиться! Отдай ключи. Венера ему сказала, что платит тебе, чтоб ты ее трахал. Это она сама *мне* сказала, — уборщица вышла и хлопнула дверью.

Венера отдыхала. Через пятнадцать минут на нижнем этаже начинался ее номер в стриптизе; она лежала в темноте одна, когда услышала, как он по-кошачьи царапается в дверь. Не успела она встать, как Малютка оказался в комнате; она зажгла маленькую лампочку над кроватью. Заслоняясь рукой от света, Венера сделала вид, что недовольна бесцеремонным вторжением, хотя на самом деле всегда была рада его видеть. Он подъехал вплотную к кровати, его кудлатая голова оказалась на подушке, и Венера прилегла рядом, чтобы смотреть ему в глаза. Это были львиные глаза, подсвеченные желтыми искорками.

— И давно я беру с тебя деньги? — спросил он.

Венера поняла, что он не шутит, и нерешительно покачала головой, хотя ей почему-то захотелось, чтобы брал. Она снова села.

— Сперва вваливаешься, как танк, а теперь оскорбляешь.

Венера тревожно посмотрела на приоткрытую дверь, как будто предчувствовала, что скоро в нее войдет беда.

Малютка отстегивал себя от тележки. Полумеры его никогда не устраивали. Страх подступил к горлу Венеры долгим сухим жжением.

— Ты совершенно все напутал, пупсик, — проговорила она. — Это Фэнси сказал *мне*.

Она шмыгнула носом и потерла веки.

— А я сказала, не дай бог ты узнаешь, что он мелет.

Он пристально посмотрел на нее. Потом медленно, ритмично отталкиваясь, уехал по голому полу в длинный сумрачный коридор, оставив распахнутую дверь тихонько качаться у себя за спиной.

Сидя на краю кровати, Венера слушала, как тележка стучит по ступеням, потом посмотрела на часы: времени оставалось только на то, чтобы спуститься вниз.

В эту ночь вежливому парню снился безногий. Лежа на гостиничной кровати, он слышал неторопливый, тяжелый стук где-то в глубине лестничного колодца, освещенного газовыми рожками. Безногий приближался. В комнате горел свет, парень сел, охваченный непонятным ужасом, и смотрел, как медленно поворачивается дверная ручка, тщетно надеясь, что калеке не хватит роста повернуть ее до конца. Еще оставалось время, чтобы запереть дверь — ключ торчал в замочной скважине. Но он двигался, как в стоячей воде, одеревеневший от страха, и не успевал, никак не успевал, дверь медленно-медленно распахнулась: за ней никого не было. Никого, во всем длинном, плохо освещенном коридоре. Никого — он был уверен в этом — во всей огромной гостинице. Ватные от страха пальцы беспомощно возились с ключом. И тут он, наконец, проснулся — в комнате горел свет, ключ поблескивал в замочной скважине.

Фэнси с трудом встал и посмотрел на часы. До обычного утреннего подъема было еще далеко. Он снова сел на край кровати и спросил себя: ну что в конце концов может сделать безногий на тележке ему, здоровому взрослому парню? Сидя на смятой постели, он смотрел на мигающие огни Стейт-стрит — красный-зеленый, красный-зеленый — и бодро пускал колечки дыма дешевой сигаретой, пока, наконец, не погасли вывески, не наступил рассвет и не зашумел городской транспорт.

В полдень, когда Фэнси развязывал фартук, чтобы сбегать через дорогу за кофе, в бар въехал Малютка. Он вез себя на колесах с подшипниками, как разбитую статую. Надменному, тщеславному Малютке больше всего нравилось позировать, глядеть по сторонам со своих подмостков, нет ли поблизости женщин, чтобы продемонстрировать классические черты лица, накачанные бицепсы, поджарый, как у Спасателя, торс и аккуратную темную бородку клинышком. Проезжая мимо барной стойки, он окликнул Фэнси и насмешливо показал на него пальцем:

— Где ты взял такие уши, Четырехглазый? Ребята! Полюбуйтесь на его уши!

Никто никогда не обращал внимания на уши Фэнси, потому что в них не было ничего особенного. Фэнси понуро облокотился о стойку и попробовал улыбнуться. Было самое время идти за кофе.

— У тебя тоже уши не маленькие, — сказал он, стараясь показать, что понимает шутки.

Малютка сдал назад.

— Ты что-то сказал про *мои* уши, парень?

Фэнси возился с фартуком. Тесемки затянулись в узел, пальцы ослабели, как в давешнем кошмаре. Музыкальный автомат издал слабый металлический звук и смолк.

— Так что не так с моими ушами, Четырехглазый?

Несколько пьянчуг образовали полукруг позади Малютки, боясь, как бы стычка не закончилась рукопожатием. Один из них, в надвинутой на глаза кепке, приставил руки к уху Малютки и засипел пропитым басом:

— Фэнси тут хвастал, что вышвырнет тебя пинками, если будешь скандалить.

Другой подзуживал в другое ухо:

— Он спрашивал Венеру, на кой ей сдался такой вонючий калека.

— Говорил, она тебе платит.

— И потому у тебя водятся денежки.

Малютка Машинист приглушил свой громовой голос.

— Четырехглазый, может, выйдешь из-за стойки, и все обсудим? — спросил он тихо.

— Мы и через стойку все можем обсудить. Я против тебя ничего не имею.

— Ревнует, — опять забубнил голос из-под козырька, — потому что не может отбить у тебя Венеру. Врет про вас всякие гадости. И похабные картинки малюет.

Машинист приказал:

— Выходи или я тебя оттуда вытащу.

Фэнси надеялся, что старина Б. велит Малютке проваливать. Но вместо этого услышал, что хозяин запирает двери.

Фэнси подождал, пока начали закрывать жалюзи. Потом аккуратно положил очки на кассу, заметив, что табличка над ней гласит: В ДОЛГ НЕ ОТПУСКАЕМ.

Мойщики улиц и бродяги отошли к стене, поторапливая друг друга, как люди, озабоченные исключительно общественным благом.

— Дайте-ка ребятам место.

— Отодвинь столы, Живчик, чтоб никто не ушибся.

— Не мешайте им, пусть разбираются, если хотят.

— Никому не встревать, давайте все по-честному.

— Пусть сперва пожмут руки, чтоб не было обид.

— Нет, лучше потом, тогда получится, что люди просто не поняли друг друга. Они же *оба* хорошие парни.

— Вот и посмотрим, который лучше, — нетерпеливо перебил их старина Б.

Машинист направился в конец барной стойки, навстречу Фэнси. Тот перегнулся через прилавок с железной плевательницей в руке.

— Назад! Не то огрею по голове! — предупредил он почти твердым голосом. И замахнулся плевательницей. Малютка отступил на полметра.

— Дальше. К двери.

Малютка неохотно поехал назад, придерживая колеса руками, чтобы в нужный момент мгновенно крутануть их в обратную сторону; он отъезжал понемногу, пока не коснулся затылком дверной ручки туалета. Фэнси вышел из-за стойки, вооруженный плевательницей. Малютка прикрыл голову рукой и медленно двинулся вперед. Когда тележка подъехала близко и Малютка протянул руки, Фэнси, словно дискобол, метнул плевательницу безногому в грудь — тот качнулся, как пень в бурю, но тележка даже не вильнула, мощные ручищи готовы были схватить противника.

Каблук убегающего Фэнси выскользнул из пальцев Малютки, парнишка споткнулся, но поймал равновесие, удержался на ногах и тем же движением со всей силы лягнул безногого в переносицу. Ослепленный Малютка врезался в барную стойку, отлетел назад, сумел остановить колеса и накрыл голову руками. Фэнси влез на ближайший стол и испуганно присел на корточки, дрожа всем телом, как щенок, с надеждой прислушиваясь, не открывают ли жалюзи. Но слышал только монотонный, безжалостный гул вентиляторов над головой. И видел, как Малютка вытирает с глаз кровь. Фэнси протянул ему свою бандану.

— Разбей ему башку, пока он ничего не видит, — уловил парень чей-то тихий совет, и понял, что должен это сделать, иначе башку разобьют ему.

Но все знали, что Фэнси не хватит духу сделать то, что он должен. Все до единого это знали.

Малютка не спеша протер глаза. Он тоже это знал, когда аккуратно складывал бандану и возвращал парню.

— Спасибо, — сказал Малютка.

Одним движением пальцев он опрокинул стол, и Фэнси полетел с него, как герои комиксов, несуразно размахивая руками и ногами. Малютка прижал его лицом к полу, не давая трепыхаться, потом согнул, как пружину, и швырнул так, что парень пролетел кувырком половину зала. Поспешавший рядом Малютка вытащил его за шиворот на середину бара, и толпа сомкнулась.

Вот *оно.*

Бледные от удовольствия, плохо освещенные лица казались тусклыми, одутловатыми, нечеткими, словно под водой. Где-то в задних рядах женщина хихикала, как нервная школьница. Когда Малютка зажал голову Фэнси под мышкой, вся комната словно пропиталась кровью.

Малютка перекатил парнишку на бок, придавил тележкой его руку и поднял другую, защищавшую глаза. Он поднял ее бережно и положил рядом — парень не шевелился, как мертвый. Как будто надеялся, что, отказавшись от сопротивления, в последний момент заслужит пощаду.

— Малютка, похоже, он готов.

Малютка с занесенной, как дубина, рукой посмотрел на маленькое белое лицо, такое беспомощное, что оно больше походило на лицо ребенка, чем мужчины.

— Малютка, он спекся.

Так и было: все придвинулись, чтобы разглядеть. Парень был без сознания; его блестящие, невидящие глаза расширились. Занесенный кулак опустился с глухим чавкающим звуком.

Кулак поднялся к тележке, размахнулся со всей силы и снова ударил вперед и вниз, как камнедробилка, по полной сокрушительной дуге.

— Ууф!

Кого-то рвало.

Когда Малютка снова занес кулак, зрители ждали, не поколеблется ли он; они немного отпрянули, как от работающего механизма, но он не колебался. До тех пор, пока с каждым новым ударом каждый в толпе не ощутил, что удары, которые он сам получил от жизни, оплачены. До тех пор, пока лицо на полу не превратилось в пунцовую губку, а зубы Малютки не начали стучать, как в ознобе.

С каждым нечеловеческим стоном, доносившимся с пола, зрители дышали все свободнее.

— Люблю посмотреть на несчастья поближе, — произнес женский голос. Все обернулись и увидели Венеру с красным, приоткрытым от удовольствия ртом и горящими глазами. Она опустилась на колени, обняла Малютку и крепко поцеловала в губы.

Малютка огляделся, как будто пришел в себя, увидел Венеру, посетителей, бар, старину Б. и опущенные жалюзи. Потом посмотрел вниз.

С тихим стоном отвращения он оттолкнул Венеру.

Потому что лицо на полу перестало быть лицом. Это было месиво из хрящей и крови, из него слепо таращился один

страшный глаз. На месте разбитого рта вздувались пузырьки пены и крови.

— Сам напросился, — одобрила Венера. — Ты все правильно сделал.

Малютка медленно обернулся, и, пока он оборачивался, Венера отступала все дальше и дальше, заламывая пальцы, превратившись вдруг в потасканную старуху. Малютка подтягивал ремни на тележке и торопливо, доверительно шептал лицу на полу:

— Ты теперь вытертый половик, сынок, — говорил он с горечью, — вытертый половик, как я и все остальные.

Его голос звучал печально до неузнаваемости, сохранился только тембр. Услышав, что старина Б. поднимает жалюзи, Малютка задумчиво погладил острую бородку, сощурился на послеполуденное солнце, и солнце сощурилось в ответ сквозь ползущие вверх жалюзи. Он быстро проехал между столами и баром и выбрался на свет, слившийся в одну цветовую гамму с тротуаром.

Бесшумно и быстро он ехал прочь по длинной убогой улице, подставляя ветру острую бородку, а бродяги смотрели ему вслед и гадали, что означают его слова.

— Прямо как Христос верхом на кресте, а не с крестом на плечах, — заметил кто-то, явно не одобряя такую подмену.

— А по мне, больше тянет на Дьявола, — процедила сквозь зубы Милашка Венера.

— Еще больше потянет на двадцатку или на пожизненное, если не пошевелит колесами, — угрожающе добавил старина Б.

— Пересаливаешь бретцели, старина, — посетовал кто-то. — Безногий так очумел от жажды, что не сумел остановиться.

Старина Б. отнес Фэнси к задней двери бара, принадлежавшего греку Стиву, потом присыпал пол опилками. Налил всем посетителям, но пить ни с кем не стал, а когда клиенты допили, навсегда выпроводил их на улицу.

Запер дверь, налил себе тоже, включил музыкальный автомат, сел к нему поближе среди пустых стульев и стал размышлять о прожитых днях и о тех, что еще предстояло прожить.

Когда настало утро, он все еще был трезвый, музыкальный автомат давно замолчал. Старина Б. упорно пил всю ночь, но чувствовал себя трезвей некуда. Еле шевелясь, как старик, хотя ему едва стукнуло сорок, он водрузил стулья на столы, а кепку — на голову. Подошел к кассе, открыл ящик и навсегда запер за собой дверь.

Без шуток

ДЕВЯТНАДЦАТЬ "петель" на отпечатке указательного пальца. "Завиток" — на отпечатке большого. Определенного места жительства не имеет. Задержан для проведения расследования.

Это все, что было известно о Джино Бомаджино в отделе по борьбе с угонами.

Он задал им работенку, когда его, еще одиннадцатилетнего, вытащили из краденого грузовика, на котором он врезался в припаркованный на улице Матери Кабрини "понтиак". Он был в туфлях на шпильках, хотя без чулок, и во взрослом комбинезоне, висевшем на нем, как сложенный тент. Если бы не шпильки, заверил он патрульных, им бы нипочем его не поймать, просто на шпильках бегать неудобно. И сознался, когда надавили, что туфли откопал на свалке Гуз-Айленда, а комбинезон украл. Школу он бросил, "потому что ребята тыкали в него пальцами". Детский подбородок выдвинулся вперед, предупреждая полицейских, чтоб не вздумали и они тыкать в него пальцами, рыжие волосы сердито свесились на глаза.

— Вообще-то не люблю попадаться, — объяснил он солидно. — Но и дома жить не люблю, потому что Ники, Карло и Стив спят сверху.

Выяснилось, что "сверху" значит "на кровати", как старшие, а он — на полу. Лицо мальчишки, похожее на мордочку терьера, просияло:

— Я хотел поехать, куда глаза глядят. Я умею водить так, что только держись!

Полицейские заржали, и он побледнел от ярости. Его отправили в тюрьму для малолетних преступников. В общем, ему как-то удалось вырасти.

И тогда полицейские пожалели, что не сфотографировали и не дактилоскопировали его еще шесть лет назад, в тюрьме для малолетних преступников.

Потому что он и впрямь умел водить так, что только держись!

За шесть коротких лет рыжеголовый птенец оперился и встал на крыло. Чем длиннее была дорога, тем быстрее он ее преодолевал. Если Дженни — девушка, которая его любила, — спрашивала, к чему такая спешка, он отвечал:

— Чем быстрее я еду, тем мне спокойнее. Как будто к чему-то приближаюсь. Братья всегда ели в первую очередь, потому что они старше, в тюряге — и того хуже, каждый раз отти-

рали в конец очереди, мне и на свободе стало казаться, что все, кому не лень, норовят спихнуть меня на обочину. Но за рулем им со мной не тягаться. Здесь я любого обставлю. Если на хвосте копы — еще лучше. Когда от них смоешься, чувствуешь, что никому тебя не поймать, да никто пока и не поймал.

— Когда поймают, поздно будет, — предупредила Дженни.

— Поздно для чего?

— Поздно, чтобы спать по ночам, а днем ходить на работу, Джино. Это единственный *надежный* способ.

— А я за надежностью не гонюсь, — ответил он. Потом свел разговор к шутке и заставил ее забыть все страхи. Потому что Дженни тоже умела завести так, что только держись.

Как-то днем патрульные засекли его, когда он лениво катался взад-вперед у северо-западного входа в Гумбольдт-парк, и прижали к обочине. Ухмыляясь, Джино подпустил их поближе. Потом врубил заднюю, переехал живую изгородь и, петляя между деревьями, подминая кусты, выскочил на извилистый бульвар. Так близко они потом целый год к нему не подбирались.

Однажды в предрассветной тьме, на пересечении Полк и Холстед, серый седан нарушил правила обгона трамвая. В машине, очень похожей на ту, что фигурировала в вечернем ограблении пары закусочных, сидели трое. Патрульные начали погоню со стрельбой и преследовали их в восточном направлении по Дековен-стрит больше полутора километров. Сразу после пересечения с Клинтон-стрит машина перескочила бордюр, крутанулась на двух колесах на сто восемьдесят градусов и рванула обратно на запад, едва не чиркнув крылом патрульный автомобиль. Пока полицейские разворачивались, седана и след простыл.

На той же неделе наряд заметил Джино в центре Чикаго — он ехал к северу по Ла-Саль. Впереди за Вэкер-Драйв был разведен мост, но Джино не колебался. Он нырнул в трамвайный туннель, машина запрыгала по деревянным шпалам и, мелькнув на мгновение, снова исчезла на Хаббард-стрит, уже за рекой.

— Вот такой я человек, — объяснял он Дженни. — Мне нравится риск. Мне не нравится надежность. А еще мне не нравится попадаться. Но больше всего мне не нравится, когда надо мной смеются.

Он и жил так же, как водил машину, играл в казино и любил: на всю катушку. Не выносил ничьих насмешек. Не разменивался на мелочи.

В следующий раз полицейские углядели его, когда он размахивал вороненым револьвером в задней комнате букмекер-

ской конторы на Вест-Чикаго-авеню. Перед ним на полу лежали ничком пятнадцать человек; казалось, что его волосы вздыбились под кепкой. Они набросились на него сзади и выламывали руки до тех пор, пока он не заплакал, тихо и безутешно.

— Кто они такие, что делают по полштуки в неделю, а я — ни гроша? — требовал он ответа в полицейском фургоне.

На этот раз Джино отказался от адвоката. Его защитительная речь была малоубедительной, но краткой. Он решил рискнуть и проиграл:

— Я как раз зашел сделать пустяшную ставку, а тут какой-то тип пробежал мимо и сунул мне в руку револьвер. Дай, думаю, посмотрю, как они будут выглядеть, когда лежат на полу. Вот и все.

Он получил полгода и вернулся озлобленный: бойцовый петух с еще более злой усмешкой, всегда молчаливый, со сжатыми кулаками. Как будто любой прохожий мог оказаться переодетым агентом из бюро по контролю за оружием.

Девятнадцать "петель" на отпечатке указательного пальца. "Завиток" — на отпечатке большого. Определенного места жительства не имеет. Задержан для проведения расследования.

Когда почтальон опустил в ящик Дженни повестку, Джино ее выкинул. Пришлось им самим за ним прийти.

Дженни разволновалась, но Джино воспринял это событие как уморительную шутку. На медкомиссии острил не смолкая, пока не понял, что дело серьезное. Тогда он сказал врачу:

— У меня зубы плохие.

— Ничего, — утешил его врач. — Мы ж тебя не кусать япошек посылаем.

Тут он заметил прикрепленное к делу полицейское досье. Федеральных преступлений за Джино не числилось.

— Ты ведь не будешь воровать в армии? — заискивающе спросил врач.

Джино указал на радиатор отопления в углу кабинета.

— Видите радиатор? — ответил он.

— Да.

— Вы — за дверь на пять минут, и я уволоку его домой под курткой.

Врач и это воспринял как шутку.

Через два дня Джино выдали карабин и спросили, умеет ли он обращаться с оружием.

– Нет, – соврал Джино для надежности. – Я этих штуковин с детства боюсь.

Но признался, что разбирается, почему машины ездят быстро.

– Тогда, может, разберешься, почему самолеты летают, – сказали ему.

Джино неправдоподобно быстро освоил штурвал. Сначала он не ладил даже с собственным обмундированием, но со временем начал им тайно гордиться. Несмотря на все попытки, ему так и не удалось отдавать честь всерьез, и всякий раз казалось, что он просто "показывает нос". И всегда он был настороже, ощетинивался на воображаемые оскорбления и принимал безобидную шутку за открытый вызов, требующий открытой и бескомпромиссной реакции. Отсидка на гауптвахте еще больше испортила его характер и окончательно убедила в том, что даже здесь ему заказано все, кроме ближайшей "губы".

Раньше Джино принадлежал только очередной машине, за рулем которой оказался, а еще Дженни, здесь же он полностью посвятил себя первому же доверенному самолету, и по секрету назвал его Дженни. Он научился избегать неприятностей, целыми днями копаясь в двигателе, а ночами – сидя за штурвалом, и сторонился своих сослуживцев так же тщательно, как они еще раньше начали сторониться его. Джино считали лишенным чувства юмора недомерком, таким злобным, что с ним лучше не связываться. Однажды ему стало так одиноко, что он даже сел писать письмо Дженни, но от одного усилия ему стало легче, и письмо так и осталось недописанным.

– А ведь ты лучший механик во всей части, – нехотя, просто констатируя факт, сказал пилот его самолета. – Если бы ты так летал, как готовишь самолет, через месяц получил бы звание.

Джино хмыкнул. Тоже мне! Вещает, как оракул. Не знает, что имеет дело с Джино? Лучшим водителем во всем Ближнем Норд-Вест-Сайде?

– Ты зол на весь мир, – продолжал пилот. – Возможно, у тебя есть причина. Но если проглотишь свои обиды, научишься летать гораздо быстрее. И гораздо лучше.

Джино оглядел его с ног до головы.

– Когда я соберусь летать, то полечу, – сказал он пилоту. – Когда соберусь, просто сяду за штурвал. На звания мне плевать. И на вас тоже.

Это была самая длинная речь, которую слышали от него на аэродроме. В казарме над ней шутили целую неделю.

Возможно, у Джино был шанс со временем смягчиться. Но прежде, чем шанс смог воплотиться в жизнь, пришло письмо от Дженни.

Джино,

знаю, ты не будешь меня осуждать за то, что я сейчас скажу, просто мне пришла пора искать надежной жизни, даже если тебе надежная жизнь не по душе. Знаешь пословицу? "Реже видишь — больше любишь кого-нибудь другого". Короче, в воскресенье утром на Иоанов день я вышла замуж. Ты его не знаешь, но уверена, он бы тебе тоже понравился. Его однажды задержали, когда он ехал на повозке без фонарей. Оставайся таким же милым.

— Уверен, он бы мне тоже понравился, — мрачно подумал Джино и тщательно разорвал письмо.

— Бывает, человек здесь как-то себя находит, — туманно философствовал пилот перед своим бомбардиром, но имен не называл. — Бывает, человека скрутило изнутри, он оторвется с этим от земли, глядишь — и распрямился немного.

Джино распрямился, на свой манер, когда совершал ночную разведку над Алеутскими островами, через неделю после падения Бизерты. Он возвращался на базу в одноместном самолете, когда зарево в небе подсказало ему, что впереди по курсу его ждет не только солнечный рассвет. Чтобы замаскироваться, он нырнул в это зарево и увидел большой крейсер с восходящим солнцем на корме, удирающий в море от длинной линии горящих сооружений на берегу. Джино повернул за крейсером в открытое море, наслаждаясь ощущением, что на этот раз он охотник, а не дичь.

На своем самолетишке Джино был бессилен что-либо предпринять, он мог только передавать на базу курс крейсера, пока не подоспеет парочка крупных ребят. Он держался за пределами досягаемости зениток, между восходящим солнцем и морем, воображая, что прижимает крейсер к обочине так же, как жизнь и дорожный патруль часто прижимали его.

Зенитная батарея крейсера пришла в боевую готовность, когда он только появился за кормой — не успел еще стихнуть топот бегущих по железным трапам ног. Перепрыгивая с облачка на облачко, Джино потешался над тем, что серьезные орудия, заряженные внизу, заряжены ради такой персоны, как мелкий воришка с Вест-Чикаго-авеню. Он порхал по бездонному аляскинскому небу, прыгал по облакам параллельно курсу крейсера, то вперед, к леденяще-зеленому горизонту, то назад, к утреннему солнцу. Зенитные расчеты успели скульптурно окаменеть возле своих орудий, проклиная тупого янки, кото-

рый даже не соображает, что не сможет весь день болтаться в небе, как воздушный змей.

Все леденяще-зеленое утро воздушный змей продержался в небе, вызывая подмогу, которая так и не пришла. Потом продолжал летать в зеленых аляскинских сумерках. Когда на море опустился туман, а крейсер стал размытым серым пятном посреди бескрайней серой пустыни, Джино подключил запасной бак, сбавил высоту и начал преследовать крейсер, ориентируясь по волне за кормой, не желая дать ему уйти, не желая возвращаться на базу.

Ставка была велика, и Джино не хотел от нее отказаться. Он всегда играл по-крупному, и эта игра стала для него самой крупной. Он верил в свою удачу, в свой штурвал, верил в того, в кого никто никогда не верил, — в себя.

Словно встрепенувшись от сна, дрожащая стрелка сообщила, что на базу ему не вернуться. Снизу, с палубы, как будто слышался чей-то заливистый язвительный смех, а зенитки глумливо тыкали в него стволами. Как когда-то, бесконечно давно, тыкали в него пальцами старшие мальчишки. И он спустился вниз, подгоняемый тявканьем зениток, чтобы направить одноместный самолет в борт крейсера, словно локомотив — в стену коровника.

Искалеченный, замурованный, охваченный болью, Джино испытал короткую жгучую радость от первого мощного взрыва на палубе. Ему мерещилось, что он легко ведет машину по какой-то местности, знакомой и одновременно незнакомой, выписывает петли на неумолимо сужающейся дороге, сверху грохочет надземка, а сзади наступает на пятки последний, расторопный преследователь. И на последнем глухом вираже последней гонки он понял, что наконец-то плавно летит под откос в ту страну, где за ним никто никогда не будет охотиться.

— Наверно, они его взбесили, — задумчиво сказал пилот бомбардиру, разглядывая под крылом объятую пламенем громаду крейсера. — Наверно, ему показалось, что какая-нибудь макака на палубе насмехается над его самолетиком.

Грош для бедняка

ТРУДНО понять, что находят некоторые женщины в некоторых мужчинах. К примеру, что могла найти Глэдис в Соботнике? Но чем больше он врал, тем нежнее она к нему относилась. Называла его мой бедный Руди, зато мы все в округе прозвали его На-все-сто.

То есть брехло На-все-сто. Вечно старался доказать, что он — не отпетый голодранец, еще до того, как его так назовут.

Он и с ней с этого начал в первом же разговоре, и она до сих пор его слушает. Не могу сказать почему. Глэдис только раз обмолвилась: "Ложь — для бедняка грош". Как будто хотела что-то объяснить про своего Руди.

Первый разговор у них случился в аптеке — Глэдис сказала подруге, что, сколько себя помнит, всюду натыкается на этого щупленького, в очках. Соботник услышал, и нет бы подойти и сказать: "Да, я здесь живу всю жизнь и тоже частенько вас встречаю". Куда там! Только не Соботник! Не наш На-все-сто. У него все сложно.

— Я не из этих убогих краев, — говорит он ей. — Я из Кентукки. У моей родни там четыре или пять плантаций. А интересуюсь я только скаковыми лошадьми и мятным джулепом.

И для виду называет пару кляч, на которых ставил по пятьдесят центов. В Чикаго он заехал уладить кое-какие мелочи в связи с открытием нового ипподрома во Флориде, и ему еще надо успеть на полуночный рейс, "а вот куда — сказать не могу".

— Стало быть, вам самое время поторопиться, — говорит Глэдис, взглянув на часы. — Как раз успеете.

— Ради вас я отложу поездку на завтра, — принимает он грандиозное решение, сменив тон на более душевный.

— Ради меня не стоит, — говорит она.

Он пропускает ее слова мимо ушей и начинает новую тему.

— Я выпускник Гарварда, — упорно гнет он свое. — Думаю, это сразу заметно.

— А! Так вы и в школе учились? — жизнерадостно спрашивает Глэдис. — Раз такое дело, может, посидим в китайском ресторанчике?

Не сказать, чтоб Глэдис разбиралась в китайской кухне, просто давала ему шанс пойти на попятный.

— В каком хотите, — уверяет он ее, имея сорок пять центов в кармане. — А потом сходим на шоу.

В наших краях с сорока пятью центами за душой ты — голодранец. А Соботник — голодранец даже с двумя долларами.

В китайском ресторанчике он заказывает все самое лучшее, оставляет двадцать центов на чай, так, чтобы Глэдис видела, и тащится за ней к двери как можно медленнее. Не хотел, чтоб она заблокировала ему единственный выход.

— Там на столе бумажка, Сэм, — негромко говорит он кассиру. — Сдачу оставь себе.

Кассир переглядывается с официантом, официант — китаец, метр с кепкой, — догоняет Соботника.

— На столе бумаска нету, — говорит он Соботнику.

— Не надо пускать клиентов, которые воруют деньги со стола, — отвечает Соботник и поворачивает к выходу.

— На столе бумаска нету, — китаец хватает Соботника за рукав.

— Ты что, Джек, хочешь заработать пару синяков?

Соботник снимает очки. В вопросах чести южане — народ щепетильный.

— Проваливай, пока не огреб, — добавляет он. — Я — Соботник.

— Хоть и Блинг Клосби[1]. На столе бумаска нету.

— А ну, повтори! Я тебе мозги вышибу!

— На столе бумаска нету.

И тут Глэдис, которая, по его разумению, должна бы его удерживать, помогает ему снять пальто.

Чтобы оттянуть время, он и жилетку снял. Пока закатывал левый рукав, собралась небольшая толпа. Китаец спокойно ждет. Как только Соботник закатал правый рукав, китаец одним движением схватил его за грудки, рванул на себя и сбил с ног ударом в зубы.

Соботник распростерся на снегу. Глэдис подсунула ему под голову пальто и жилетку, вместо подушки, и расплатилась с официантом из собственного кошелька.

Как только опасность миновала, он встал, полный достоинства, но не благодарности.

— Видишь человека первый раз в жизни — и такие шуточки! — набросился он на нее. — Забрать доллар, который я оставил официанту, чтоб он меня по твоей милости чуть не убил!

— Тебе нечего волноваться из-за этого доллара, — успокоила его Глэдис. — Ты мне ничего не должен.

Вот такая девушка. А могла выбрать себе любого нормального парня из дюжины соседских парней, она и сама вполне нормальная. Так нет, взялась исправлять чванливого голодранца и лечить его уязвленную гордость всякий раз, как он сядет в лужу по собственной дурости.

Она выручила его, когда ему дали условный срок только за то, что он выпил в кабаке две кружки пива. Зашел неизвестный тип, прикинулся пьяным, два раза заплатил Соботнику за выпивку. Соботник испугался, что какой-нибудь прохвост обчистит его захмелевшего приятеля, поэтому согласился взять у него на хранение часы и положил себе в карман. Потом они

1. Бинг Кросби (1903–1977) — американский актер и певец.

выпили еще, и тут, конечно, подонок начал голосить, что у него украли часы.

— Лишний раз понимаешь: не делай людям добра, если не хочешь вляпаться сам, — сказал он Глэдис в тот раз. — Делать людям добро — это моя слабость.

Она оберегала его от неприятностей до конца условного срока. Как-то вечером он поскользнулся, и статья на этот раз выходила серьезная. Тротуар был скользкий, как паркет в танцзале, любой мог упасть. И, падая, разбить локтем витрину. В темноте такое с каждым может случиться. Витрину ювелирного магазина. Но попробуй что-нибудь объяснить полицейским!

Она добилась замены статьи на другую: "Нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения", он получил еще два года условно. За эти два года полиция задержала его один-единственный раз, когда он срезал путь, чтобы положить цветок на могилу матери. Он шел дворами в цветочную лавку, никого не трогал, около трех часов ночи, когда его остановила полиция. Соботник затруднился объяснить, какое отношение цветочная лавка имеет к ванне, которую он тащил на плечах, потому что — этого он не стал отрицать — нести одновременно букетик фиалок было бы несподручно. Но оказалось, что ванну кто-то бросил на дороге, а он, будучи добропорядочным гражданином, просто исполнил свой долг и убрал ее с дороги, ведь впотьмах на нее могла налететь и сломать себе ногу лошадь какого-нибудь молочника. У водопроводчика пропало кое-что еще, по мелочи, например, электрический фонарик и ломик, но он забрал заявление, когда этим занялась Глэдис, и суд квалифицировал дело как "Умышленное нанесение вреда чужому имуществу".

Соботник отсидел девяносто дней, а когда вышел, они с Глэдис объявили помолвку в местном танцзале. Пили много, и в какой-то момент Глэдис потеряла его из виду. Она даже не знала, что он ушел, пока не увидела в дверях полицейского. Соботника взяли на станции Расин-стрит, в двух кварталах от танцзала, и кое-кто из нас отправился туда вместе с Глэдис.

Ну, ясное дело, в отделении он угрожал подать иск на сто тысяч долларов к компании "Роял кэб" и ее водителю, написавшему заявление. Как Руди объяснил Глэдис, вся его вина состояла в том, что он нажал на клаксон, вызывая отлучившегося водителя такси, потому что собирался куда-то ехать. Но водитель утверждал, что Руди сидел в машине, за рулем, а на клаксон нажал случайно.

Ему собирались предъявить обвинение во взломе автомобиля, но он отделался "мелким правонарушением". Глэдис

сказала судье, что утром в это воскресенье у них свадьба. До вечера субботы Руди ни разу не поскользнулся.

Это случилось в универмаге Голда, в присутствии толпы.

Еще в юные годы, когда носил короткие штанишки, Соботник приворовывал в галереях Голда. Он знал, что единственное оружие во всем универмаге — допотопный револьвер — принадлежит старому лифтеру грузового лифта. Этот лифтер, старше самого Голда, только и делает, что дремлет, привалившись к двери лифта. У него тут что-то вроде пенсии.

Соботник решил, что он может забрать у старика пистолет, не опасаясь за свою жизнь. Остальное, по его расчетам, было проще простого. Он начал обдумывать свою идею в кабаке по соседству с "Голдом", и чем ближе к вечеру, тем больше она ему нравилась. Он не понимал, почему не додумался до этого раньше.

Но когда он выбрался из питейного заведения и увидел, что в "Голде" уже зажглись огни, а длинная улица погружается в сумерки, то мигом протрезвел и быстро вернулся в бар, не успев даже понять, что именно его напугало: огни или темнота. Он снова хорошенько надрался, в кредит, за счет Глэдис. Был уже девятый час вечера, когда кредит иссяк и он смутно понял, что слишком долго обдумывает свою идею. Сейчас он должен ее воплотить, пьяный или трезвый. Соботник никогда столько не выпивал, но никогда не чувствовал себя таким трезвым.

— Она у меня узнает, и все остальные тоже! — пообещал он себе.

И ринулся в магазин, уже не обращая внимания на яркие огни.

Он шел по центральному проходу мимо чулочной галантереи и отдела скобяных товаров к грузовому лифту, где бездельничал местный охранник. Соботник с силой ткнул его пальцем в поясницу.

— В лифт, легавый! — он отнял у старика револьвер, впихнул его в лифт и гаркнул:

— В подвал! *Быстро*!

Очки у него запотели, но он слышал, как хлопнула дверь лифта и заскрипели тросы, унося кабину вниз. Десятка полтора покупателей плавно, как в замедленной съемке, обернулись в его сторону. Какой-то комок между зубами мешал ему дышать — он сообразил, что это носовой платок, но не помнил, когда его туда засунул. Соботник увидел себя со стороны: тщедушный очкарик с землистым цветом лица, в зеленом галстуке, с грязным носовым платком в зубах, размахивает

здоровенным револьвером; он выплюнул платок и услышал собственный голос, разнесшийся по торговым галереям. Подобно бесконечному эху, подхваченному лопастями потолочных вентиляторов.

— Лицом к стене-е-е! Все-е!

Он видел, как они поворачиваются к стене, по одному, по двое, среди них — старик Голд со стиральной доской под мышкой и верзила-швейцар с мотком бельевой веревки в руке. Все они медленно поворачивались к стене. Он видел скукоженное лицо кассирши, белое, похожее на срез яблока, с угольной линией бровей и красным ртом. Это лицо, похожее на срез яблока, медленно скрывалось из виду, сползало вниз, как лифт; он услышал удар об пол и понял, что у нее обморок.

Перегнувшись через прилавок, он рывком открыл ящик кассы и увидел специально для него сложенные стопки банкнот. Десятки, двадцатки, пятерки и долларовые бумажки шершавились под его холодными потными руками, а в крайнем отделении сияли монеты по десять, двадцать пять и пятьдесят центов. Он перегнулся еще сильнее, так, что начал терять равновесие, и выпивка подступила к горлу. Он что-то бормотал и, одурев от жадности, нависал над кассой. Одна монета звонко покатилась по полу в сторону отдела мужских товаров, он погнался за ней.

Проделав несколько нелепых пируэтов, за которыми наблюдали шестьдесят пар глаз, настиг монету возле вешалки с демисезонными пальто. Быстро отправил ее в карман, сдернул с вешалки самое яркое пальто и стал напяливать его, путаясь в рукавах, но в этот момент над прилавком с косметикой возник нос Голда. Вооруженный стальной стиральной доской, старик вынырнул в метре за спиной Соботника, огрел его этой доской по затылку и по инерции сам повалился на прилавок. Соботник рухнул, как подкошенный, револьвер с грохотом полетел по проходу.

После этого добрая половина покупателей, отпихивая друг друга, пытались оседлать Соботника, пока старик Голд вязал его бельевой веревкой. Впопыхах и от волнения Голд примотал к нему и себя. В какой-то момент Руди вяло приподнял голову и тут же снова получил по ней стиральной доской. Старик никак не мог освободиться от пут.

Возле магазина собралась вся округа. Когда полицейские грузили в фургон Руди заодно с примотанным к нему Голдом, толпа ликовала, но только Глэдис узнала Соботника — по ботинкам, за которые сама заплатила. От Руди, обмотанного несколькими метрами бельевой веревки, остался только кончик носа — он торчал, словно из гигантского улья.

В участке полицейским понадобилось десять минут, чтобы отвязать Соботника от старика Голда, и еще десять, чтобы привести его в чувство. Когда он, наконец, очнулся и сел, мокрый от вылитой на него ледяной воды, то первое, что увидел, была Глэдис. Его очки сгинули в свалке, и он близоруко щурился, как будто с нетерпением ждал от нее объяснений.

На самом деле это полицейские ждали объяснений от *него*, но ожидания полицейских его нимало не волновали. Он их игнорировал.

— Пусть скажет, зачем все это устроил? — наседали на Глэдис озадаченные служители порядка.

— С чего ты решил, что сумеешь унести ноги после такого дурацкого номера? — спросила она, ласково обняв его за хилые плечи.

— Детка, ничего я не собирался уносить, — ответил он. — Я пошел подобрать себе пальто на свадьбу, потому что хотел тебе понравиться. А револьвер прихватил для защиты, вот и все. Но пока я примерял пальто, они вдруг решили, что не дадут мне за него заплатить! Я хотел заплатить — так не дали! Ты ведь не хуже меня знаешь, даром я ничего не беру.

Полицейские посмотрели на Глэдис, Глэдис посмотрела на полицейских. Потом вздохнула.

— Вместо священника нам понадобится адвокат, — сказала она. — Похоже, наш медовый месяц пройдет в исправительном доме.

— Я буду защищаться сам, — заявил Руди. — Я знаю свои права. Я сошлюсь на неписаный закон. Это была самозащита. Меня обвиняют в том, за что я уже сидел, я подам в суд за незаконный арест.

Мысль о незаконном аресте явно не давала ему покоя.

— Если ты сейчас же не закроешь рот, это я на тебя в суд подам, — предупредила она, наконец-то обозлившись. — Ты признаешь себя виновным, чтобы смягчить приговор, и отсидишь срок до последнего дня. А когда выйдешь, тебя отдадут мне на поруки с пожизненным испытательным сроком. И с этого дня врать ты будешь только дома, а вне дома будешь работать.

Руди не сказал ни слова. Как будто до него начало что-то доходить.

Прошло уже лет десять, как Руди отсидел последний срок, и с тех пор он ни разу не попадал в истории.

Но что имела в виду Глэдис, когда сказала про грош для бедняка, я до сих пор так и не понял.

Александр Стесин

Путем чая

Кабуки

По дороге в Токио наш попутчик Джош, молодой бармен из Лас-Вегаса, признался, что мечтает увидеть в столице “то, что можно увидеть только в Японии”.

— Ну, так пойдем с нами в театр Кабуки, — предложила Алла. Но Джош оставил это предложение без внимания.

— Не, вы не поняли. Меня интересуют такие чисто японские вещи. Традиционные. Говорят, тут есть такое кафе, где все официантки в лифчиках, а парни — в костюмах роботов. Или еще я читал, есть такое кафе, где всё про туалеты. Тема такая. Вместо стульев унитазы, миски и тарелки тоже в форме унитаза. Приносят тебе типа такой миниатюрный толчок, в нем говно плавает. Говорят: попробуй. Ты пробуешь, а это — шоколадное мороженое. Классно, да? Всюду хочется успеть, все посмотреть...

Мне тоже хочется все посмотреть. За исключением разве что тех мест, куда тянет нашего попутчика. Ему налево, нам направо. “Всего посмотреть не получится, — осадила меня практичная Алла, — придется выбирать”. Но у меня в арсенале имеются премудрости дзэн: “Выбор — это рабство. Выбирая, попадаешь в ловушку мира”. Вот-вот. Хочу объять необъятное. Всюду успеть. Императорский дворец, парк Хибия, парк Уэно, витрины Гиндзы, рыбный рынок Цукидзи. Схема метро, издали похожая на изображение сакуры в традиционной японской живописи; на кольцевых и радиальных ветках распускаются бесчисленные бутоны станций на “с”: Синагава, Симбаси, Сибуя, Синдзюку. Но сначала — кабуки.

© Александр Стесин, 2016

Кабуки-дза, главный театр Японии, их эквивалент Большого. Если вас устраивают места на галерке, билеты можно купить в день спектакля. Для этого необходимо занять очередь за несколько часов до открытия кассы. День выдался жаркий, и мы были уверены, что нам уготован один из тех малонавещаемых буддийских адов, о которых писал еще Акутагава. Ад театрала. Зуд в пояснице, затекающие конечности, пот в три ручья. Многочасовое стояние на солнцепеке. Но — нет. Ведь мы в Японии, а не в Америке или России. Здесь все по-другому. Завзятым театралам, толкущимся у кассы чуть ли не с самого утра, отводится место в тени, под навесом. Для удобства ждущих выносят скамейки с бархатной обшивкой, включают переносной вентилятор. Кунжутное печенье предлагают на пробу. Не очередь за билетами, а дом отдыха какой-то. Даже обидно: превратили вековую традицию в сущий фарс. Интересно, другие буддийские ады ("ад разбухающих волдырей", "ад стучащих зубов", "ад великих воплей" и так далее) тоже — со всеми удобствами?

Я очарован японским драматическим искусством с тех пор, как впервые услышал фальцетный звук бамбуковой флейты и совиное уханье хористов на сцене театра Но. Каждые два года, когда знаменитая киотосская труппа "Касю-дзюку" привозит в Нью-Йорк очередную пьесу Дзэами Мотокиё или что-нибудь из "Повести о Гэндзи", я тяну свою долготерпеливую жену на спектакль. Алла слушает "японскую оперу", стиснув зубы, и по окончании берет с меня честное слово, что это был последний раз. Я обещаю, но в следующий раз как ни в чем не бывало покупаю билеты. "Как, опять театр Но? Мы же договаривались!" Я отвожу глаза, бормочу что-то вроде "но ты сама жаловалась, что мы редко ходим в театр".

— Знаешь, ты начинаешь напоминать мне мужа из анекдота про норковую шубу, — замечает Алла.

— Ладно, в театр Но мы больше не пойдем, — уступаю я, — вместо этого пойдем на *бунраку*.

— Куда-куда?

— На бунраку. Кукольный спектакль.

— А там тоже все будут завывать, как привидения из ужастиков?

— Не знаю. Но, между прочим, великий Тикамацу Мондзаэмон, которого называют японским Шекспиром, изначально писал свои пьесы именно для кукол, — вворачиваю я для убедительности, хотя Тикамацу я не читал и, в любом случае, мои доводы на жену давно не действуют. Однако на сей раз она неожиданно соглашается.

После кукольного театра Алла, видимо, смирилась со своей участью и по пути из Осаки в Токио сама предложила сходить на кабуки — для полноты картины. Спору нет, кабуки доступнее, чем но, и зрелищнее, чем бунраку. На представлении в Кабуки-дза стоит побывать, даже если ты уже видел тот же спектакль в гастрольном варианте за пределами Японии. Ибо кабуки — это не только то, что происходит на сцене, но и участие аудитории. Дикие выкрики из зала, от которых у иностранца может сложиться впечатление, будто половина зрителей страдает синдромом Туретта. По счастью, я предварительно ознакомился с англоязычной брошюркой, где было специальное предупреждение для туристов: не обращайте внимания на вопли, это такая традиция.

Из-за непривычности изобразительных средств и актерского метода трагедия поначалу воспринимается как комедия, все кажется карикатурным. Но ко второму отделению даже мы, невежды, прониклись драматизмом. "Где шестнадцать лет, когда ты был здесь, промелькнули, как сон, как сон..." — произносит главный герой, оплакивая сына, которого сам же и обезглавил. Ни дать ни взять, греческая трагедия. Но с японской проблематикой. "Путь воина — решительное принятие смерти". Самурайский кодекс чести, подминающий под себя все на свете, перемалывающий человеческие жизни не хуже, чем фатум. Кажется, это один из лейтмотивов японской классики от Ихары Сайкаку до Мори Огая. Так, в "Семействе Абэ" вассалы слезно выпрашивают у старого феодала разрешение совершить харакири после его смерти. Матери, жены и дети этих вассалов всецело поддерживают их стремление покончить с собой и сокрушаются, если даймё не дает разрешения (что свидетельствует о его неуважении к подданному). Такая традиция. Впрочем, поступки героев можно мотивировать, чем угодно, — честолюбием, долгом самурая или чистой случайностью ("вареной скумбрией" у того же Огая). Экзистенциальная подоплека от этого не меняется. Не меняется и эмоциональная окраска; она только усиливается, становится все более яркой, пока игра актера не дойдет до крайней точки напряжения. Это запал самурая перед сэппуку, смертника-камикадзе или члена якудза, который должен отрубить себе палец. Ослушание невозможно.

Театр Кабуки-дза начинается с вешалки, а заканчивается шумом вечернего Токио. Все еще сглатывая комок (по части катарсиса кабуки превзошел все ожидания), ты выходишь на

улицу и попадаешь в непривычный, но уже узнаваемый мир живых аниме и муляжных бэнто. Чтобы удержать впечатление от спектакля, ты пускаешься в глубокомысленные рассуждения, пытаясь что-то сформулировать, высечь искру, извлечь урок или хотя бы какое-нибудь точное определение. Ведь должно же быть что-то в сухом остатке. Иначе зачем вообще был нужен этот театр? Но твой утилитарный подход не работает, сформулировать не получается. Через несколько минут комка в горле как не бывало. Да, под конец спектакля тебе что-то сообщилось, был какой-то шанс, но, чтобы воспользоваться этим шансом, нужно иметь быстрый ум, а твой не быстр и не остер. И поэтому тебе остается только одно: понять, что настоящая кульминация — это не плывущий звук сямисэна, не финальная реплика героя ("Те шестнадцать лет... промелькнули, как сон... как сон..."), не сновидческая сила искусства, воспетая мастером Сосэки в "Треугольном мире", и не драматическая поза, известная под кодовым названием "указательный столб", а то, что происходит сейчас: мгновенное выветривание опыта, его окончательное исчезновение. Раз, и — ничего не было. Только легкий ветерок, вечерняя прохлада после жаркого дня. Впереди — ночное праздношатание по Синдзюку, где в любой вечер недели бродят толпы пьяных и усталых "salary-men"; где игровые автоматы "Патинко" никогда не нуждаются в починке.

Караоке

Сероглазая вахтерша выдает номерки, принимает заказы. Три бутылки сётю, пожалуйста. Смотрит строго. "Вам туда". Длинный и плохо освещенный коридор, свинцовые двери палат, полная звукоизоляция. Точь-в-точь как в психбольнице, в "буйном" отделении, где я когда-то проходил мединститутскую практику. Долговязый санитар-надзиратель отпирает дверь, запускает новичков и... Вспыхивает неоновый свет, дискотечный стробоскоп. На огромном телеэкране мигает надпись: "Welcome to fun". Сётю сейчас принесут.

Я люблю пить с японцами. Несколько раз доводилось, и всякий раз было весело. Взять хотя бы недавние посиделки с нашей приятельницей Юкико, страстной любительницей русской культуры и иудейской философии. Любимое блюдо Юкико — селедка под шубой, любимый напиток — ерш. После

двухсот грамм “Столичной” и нескольких бутылок “Балтики” эта хрупкая японка, работающая в нью-йоркском хедж-фонде, вдруг заговорила с хрипотцой, как в детстве — соседский алкаш дядя Петя, и сообщила нам с Аллой буквально следующее: “Вы не смотрите, что я похожа на русскую. Вообще-то, я еврейка. И значит, дочь моя, Софи, тоже по Галлахе еврейка. Она в совершенстве знает русский, польский и идиш”. Маленькая Софи, которая в это время играла с нашей Соней, вряд ли подозревала о своем полиглотстве. Зато сама Юкико и вправду говорит по-русски. В свое время она объездила пол-России и даже побывала на Сахалине, где, как она утверждает, жила ее бабушка. Японцев, я заметил, вообще нередко тянет на все русское. Недаром в японской литературе то и дело всплывают русские персонажи: у Акутагавы — Толстой с Тургеневым на тяге вальдшнепа, у Танидзаки — эксцентричное семейство белых эмигрантов Кириленко, у Масахико Симады — жители Чернодырки, вымышленного пригорода Петербурга. Интересно вот что: когда японские писатели пытаются вывести образ русского человека, их интерпретация “русскости” не слишком отличается от американской. Так иностранные акценты у людей, приехавших из разных точек мира, иногда кажутся очень похожими, хотя их родные языки не имеют между собой ничего общего.

Короче говоря, чем больше выпито, тем ощутимей родство культур. Вот и я после трех стаканов сётю запел караоке во весь голос, почувствовал родное. Как будто сижу в гостях у Лены Мандель, в перекрестном дыму цветковских и кенжеевских сигарет, и тяну вместе со всеми военную песню “Горит свечи огарочек...” И пускай мои соседи по палате поют совсем другое — например, Мадонну или Бритни Спирс. Все равно мы — братья и сестры навек, все свои, все заодно... После караоке мы еще гуляли по ночному Токио, продолжая горланить песни — каждый на своем языке, и в какой-то момент даже пустились в пляс.

— Хорошо вчера повеселились, — сказал я Алле на следующее утро, запивая аспирин мисо-супом, — а как на улице-то плясали и пели хором, совсем как в студенческие годы!

— Как тебе сказать, — отозвалась Алла, — в общем, так все и было. Только пел и плясал ты один, а остальные умоляли меня, чтобы я поскорее увела тебя домой.

Странно, мне запомнилось совсем иначе.

Семьдесят лет спустя

В Хиросиму приезжают не ради Хиросимы, а ради Миядзимы — священного острова синто, куда можно добраться из города на пароме. Этот остров известен, в первую очередь, благодаря одному элементу пейзажа: плавучие ворота тории, опознаваемые как открыточный символ Японии во всем мире, — это здесь. Сам остров представляет собой странную смесь святилища и курорта. Здесь находится один из главных синтоистских храмов в стране, Ицукусима, а рядом — пляж, где пасутся ручные пятнистые олени. У синтоистов они считаются священными животными. Олени бродят по пляжу, загорают — сущие курортники, только не купаются и в волейбол не играют. От пляжа отходит несколько улочек, где продают сувениры и жареные устрицы. Летом здесь всегда наплыв туристов и молодоженов: в храме Ицукусима часто проводят традиционные свадебные церемонии с флейтистами, барабанами и экстравагантными синтоистскими нарядами, сшитыми по образцу придворных нарядов эпохи Хэйан. Поглазев на свадебное действо (жених с невестой не возражали, даже наоборот: присутствие пятнистых оленей, круглоглазых туристов и прочей живности на свадьбе считается хорошей приметой), мы отправились вглубь острова и неожиданно очутились в сумрачном лесу. Лес, как и все на этом острове, оказался священным. Там росло много малины и подберезовиков, но собирать нельзя: все принадлежит богам. Богу богово, кесарю кесарево, а туристу — хорошего понемножку. Поглазели, и будет. Выйдя из леса, мы купили по жареной устрице и потащились к пристани ждать парома.

* * *

Трамвай идет по Хиросиме, мимо многоэтажек в советском стиле, по направлению к Куполу мира. Середина рабочего дня, но пассажиров довольно много. Группа австралийских туристов беззастенчиво разглядывает местных, особенно тех, кому за семьдесят. Я сижу рядом с австралийцами. Мне тоже интересно. Чем оно объясняется, мое любопытство? Ничем хорошим. Но от человеческого, слишком человеческого никуда не деться. Местные долгожители, кто бы они ни были, отвечают сдержанными улыбками. Они не в обиде. Возможно, они и не видели ядерного гриба, приехали потом. Свято место пусто не бывает. Хотя в сорок пятом все были уверены, что эта земля будет безвидна и пуста, как минимум,

лет сто. Теперь здесь обычный город: дома, магазины, парки. Есть даже традиционный сад периода Токугава, восстановленный в начале пятидесятых. В саду растут павлонии и дзельквы, в пруду плавают карпы “кои”. Пенсионеры, заделавшиеся художниками-любителями, приходят порисовать. Можно кормить черепах, можно пить чай в беседке. Можно дойти пешком до места взрыва, посидеть в кафе с видом на реку, в которой некогда кипела вода. Можно спорить о целях и средствах, о том, сколько продлилась бы война, если бы на Хиросиму и Нагасаки не упали Малыш и Толстяк. Потомки всегда крепки задним умом, но мне как врачу, занимающемуся лучевой терапией, доподлинно известна медицинская сторона дела. Как ни крути, подробной информацией о воздействии радиации на человеческий организм мы располагаем именно благодаря Хиросиме. Прежде было известно лишь то, что облучение может иметь катастрофические последствия. Но какие именно? При какой дозировке? В том, что одной из причин бомбардировки была необходимость провести крупномасштабный эксперимент, сомневаться не приходится. Как известно, шестого августа сорок пятого года знаменитый бомбардировщик сопровождался еще двумя самолетами: один для фотосъемки, другой для замера радиации. За несколько секунд до взрыва в воздухе появились белые журавлики-парашюты, к которым были прикреплены термолюминисцентные дозиметры. Эксперимент был хорошо продуман и, надо сказать, принес много пользы. Без Хиросимы не было бы того невероятного прогресса, который произошел в радиобиологии за последние десятилетия. Не было бы и детального знания того, что представляют собой концентрические круги ада. Круг первый: кипящая вода, в которую прыгали обезумевшие люди, чтобы спастись от пекла. Круг второй: желудочно-кишечный синдром, проявляющийся в течение недели после облучения. Безостановочная рвота, диарея, выпадение волос, гиповолемический шок. Круг третий: гематопоэтический синдром (проявляется в течение месяца). Это как если бы человек одновременно болел эболой и СПИДом. Тех, кто переживет и эту стадию, ждет круг четвертый: онкогенез. История Садако Сасаки (“Журавлик, журавлик, японский журавлик, ты вечно живой сувенир...”). Что же касается психологической травмы (круг пятый), достаточно вспомнить произведения японских писателей послевоенного времени: “Черный дождь”, “Вошедшие в ковчег”, “Записки пинчраннера”, “Объяли меня воды до души моей”. Целое поколение людей росло в уверенно-

сти, что не сегодня-завтра наступит конец света, и единственное, чем имеет смысл заниматься в жизни, это строительство бункера или поиск безопасного места, где можно было бы навсегда укрыться от мира. Можно перечитать эту лихорадочную прозу, сидя в кафе с видом на реку или в восстановленном саду Шуккейен. Можно поговорить о целях и средствах, об исторической необходимости; но лучше, наверное, воздержаться.

Один из выживших в Хиросиме — мой пациент мистер Тамура (Тамура-сан). В сорок пятом году ему было семь лет; последние четверть века он прожил в Америке. У мистера Тамуры рак печени с метастазами. Только ему об этом никто не сказал. Или сказали, но он не понял. Мои коллеги утверждают, что три месяца назад пациент говорил, будто собирается вернуться в Японию. Но Тамура уверяет меня, что в Японию ездил только на десять дней, а вернувшись в Нью-Йорк, сидел дома и ждал, когда мы ему позвоним. И вот, наконец, не вытерпел и решил позвонить нам сам. Медсестры предупреждали, что он едва говорит по-английски, но у него есть внук, который ему переводит. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что и тут сплошная путаница: по-английски Тамура говорит абсолютно свободно, а "внук" оказался просто студентом, подрабатывающим сиделкой. И в качестве переводчика для Тамуры этот студент не годится хотя бы потому, что он вообще не японец, а кореец. А Тамура-сан — тот еще фрукт: требует, чтобы ему всё дублировали в письменном виде. Дескать, я английского не знаю, и мне нельзя звонить домой, а можно только присылать письма по факсу. Сам он шлет мне факсы с вопросами по пять раз на дню. Когда я ему звоню, он подходит к телефону и на прекрасном английском произносит: "Спасибо, что позвонили, но я, к сожалению, вас не понимаю, пришлите, пожалуйста, факс". А электронная почта на что? Я ведь знаю, что он умеет ей пользоваться, мне миссис Тамура говорила. "Умеет, но не любит. Предпочитает факс".

В молодости он был океанологом, потом основал компанию по импорту электроники. Когда-то его компания имела филиалы в пяти городах, но сейчас она состоит из трех человек: Тамуры, его жены Ёко и того корейского студента, которого мы поначалу приняли за внука. Основатель компании тяжело болен и уже несколько лет парализован, но настаивает, чтобы его ежедневно привозили в офис, требует, чтобы всё дублировали по факсу. Последние попытки сохранить контроль над ситуацией.

В Японии у Тамуры остались влиятельные друзья. Один из них — доктор Ямамото, бывший президент японской ассоциации радиационных онкологов и радиологов. Через несколько дней я должен встретиться с ним в Токио, чтобы поговорить о возможном сотрудничестве. Думаю, я ему на фиг сдался (кто я и кто он!). Просто он согласился на эту встречу, чтобы сделать приятное своему старому другу — моему пациенту. А Тамура хотел сделать приятное мне и, узнав, что я собираюсь в Японию, своевольно растормошил большого человека Ямамото (я Тамуру об этом не просил). Теперь всем друг перед другом неудобно, и от встречи не отвертеться. Будем говорить об ионах углерода.

Трамвай идет по Хиросиме — мимо магазинов, где продают аниме и мангу, мимо пляшущих покемонов, мимо молодых людей, раздающих листовки с призывами. К чему призывают? Приходите на демонстрацию, узнаете. За последние семьдесят лет демонстрации протеста против использования атомной энергии стали в Японии чем-то само собой разумеющимся — вроде еще одного синтоистского фестиваля. В Киото мы видели, как толпа студентов с транспорантами “No more Hiroshima! No more Fukushima!” слилась с карнавальной процессией, выплеснувшейся из храма Ясака по случаю праздника “Гион мацури”. Была среди демонстрантов и представительница старшего поколения; ее как особо важную персону везли на моторикше. Представительница старшего поколения скандировала какой-то антиядерный лозунг и энергично размахивала флажком. Я плохо определяю женский возраст, особенно возраст азиаток, но, насколько я мог судить, в сорок пятом она еще не родилась. Хотя какая разница? Разница есть.

Путем чая

“Чтобы понять чайную церемонию, надо начать с дана-парамиты...” Я выпрямил спину (правильная осанка, правильное дыхание), и мое внимание тут же рассеялось. Из всей речи чайного мастера до меня доносились только отдельные слова: “парамита... река... переправа...” Неожиданно вспомнилась олимпиадная задачка, которую в детстве задавал мне папа. Четверо беглецов, одна лодка, в лодке могут находиться двое, один из беглецов может переплыть реку за десять минут, другой — за пять, третий — за две, четвертый — за мину-

ту. За ними гонится стража, она будет здесь через семнадцать минут. Как переправить всех четверых на другой берег до того, как их настигнет стража? Когда папа подсказал решение, возникло ощущение прозрения. Теперь, вспоминая, я понимаю, что решение задачи я давным-давно позабыл, и мне начинает казаться, что прозрение — это не тот момент, когда ты нашел ключ, а когда обнаруживаешь, что снова его потерял. Но эта версия сатори уж больно смахивает на какой-нибудь немудрящий афоризм из книги "Буддизм для чайников". Нет, прозрение заложено в понимании, что и *это* тоже не прозрение... Так, путаясь в блестящих по своей тривиальности мыслях, я успешно пропустил мимо ушей всю лекцию о дана-парамите. Услышал только самый конец — про знаменитый труд Окакуры Какудзо "Книга о чае".

Окакура Какудзо утверждает, что японская культура — не только самурайское стремление к смерти, но и то утонченное, что постигается путем чая, путем икебаны, путем благовоний. Юкио Мисима возражает, что душа Японии — это не чаепитие и не любование цветами, а самурайская доблесть, "сокрытое в листве", бусидо. Если же вспомнить, что и сам родоначальник чайной церемонии Сэн-но Рикю ушел из жизни как истинный самурай, совершив харакири по велению своего господина, становится ясно, что между путем воина и путем чая — зыбкая грань. Ибо, говорят комментаторы, Сэн-но Рикю дал понять: пить чай — значит быть готовым к смерти. В общем, то же самое можно сказать и про водку. У них трансформация сознания путем чая, у нас — путем зерна. Или корнеплода, кто как любит. Но чай — не водка, много не выпьешь. Особенно, если во время чаепития приходится часами сидеть на коленях.

На коленях сидеть необходимо: сэйдза — обязательная часть чайной церемонии. Так же как и чайный сад, тропинка к тясицу. Установленное количество шагов от калитки к порогу. Установленное количество поклонов. Сложенный веер, который гость кладет перед собой, чтобы обозначить временную границу личного пространства. Токонома, где висит свиток с каноническим изречением и стоит икебана. Звук кипения воды в котле. Установленный порядок и ритм движений (в такт дыханию чая). То, как хозяйка складывает шелковую салфетку. То, как гость принимает пиалу правой рукой, ставит ее на левую ладонь и дважды поворачивает на девяносто градусов против часовой стрелки. То, как хозяйка выходит из комнаты, чтобы дать гостям возможность хорошенько разглядеть посуду и обсудить качество керамики. То,

что нужно сказать и о чем нужно подумать. Соотношение формы и пустоты. Соотношение двойственности и единства... Чем строже предписания ритуала, тем шире пространство возможных интерпретаций. Недаром, думаю я, о чайной церемонии написаны библиотеки, а о водочной церемонии — только "Москва–Петушки".

Последний фолиант в библиотеке чая — роман "Тысячекрылый журавль", который можно истолковать как развернутую метафору чайной церемонии. Кажется, вся суть там в лирическом отступлении, в письмах Фумико, не имеющих прямого отношения к сюжету, но играющих ту же роль, что токонома с цветами и буддийским свитком. Впрочем, самое запоминающееся в романе Кавабаты — это не любовная лирика Фумико, а образ Тикако Куримото, олицетворение пошлости, постепенно подчиняющей себе все вокруг. На протяжении книги внимание читателя то и дело возвращается к ужасному родимому пятну на груди Куримото. Вот-вот оно разрастется, и, кроме его уродливых очертаний, не останется ничего — ни тела, ни души, ни всепрощения. Но и это — в каком-то труднодоступном буддийском смысле — тоже будет путь чая.

Ц*веты*

В объявлении было написано: "Уроки икебаны для начинающих. По средам в Хиросиме, по четвергам в Осаке". Я набрал указанный номер.

— Здравствуйте, я звоню по объявлению, хочу записаться на урок.

— Спасибо, что позвонили, — ответил женский голос на безупречном английском, — а вы когда-нибудь занимались икебаной?

— Нет, никогда.

— Извините, — сказала женщина после некоторой паузы, — но я преподаю только ученикам, у которых есть, как минимум, три года опыта.

— Но в объявлении было написано "уроки для начинающих".

— Те, у кого три года опыта, это и есть начинающие.

— У меня мама занималась икебаной, — зачем-то сообщил я.

— Ваша мама — японка?

— Нет. Но у нее был учитель... или учительница... не помню.

— Ясно. А где вы сейчас находитесь?

— В Хиросиме. Завтра будем в Осаке.

— Хорошо, приходите сегодня вечером, после семи. Я дам вам урок. Моя студия — на втором этаже цветочного магазина. Записывайте адрес.

В назначенный час, поднявшись на второй этаж, мы очутились в обшарпанной комнате с длинными столами и школьной доской, изрисованной какими-то диковинными диаграммами. Несколько японок средних лет возились с цветами и кензанами. Больше всего это напоминало кружок вязания для домохозяек при ЖЭКе.

— А вот и вы, — поприветствовала нас ведущая кружка, по виду — училка вроде тех, что в свое время ставили мне тройки из принципа, — познакомьтесь, девочки, это наши иностранцы. Давайте с ними сфотографируемся. Вы не возражаете, если мы с вами сфотографируемся?
Мы закивали: да, то есть нет, конечно, не возражаем. Японские художницы-домохозяйки смущенно захихикали.

— Вот и славно. Мы с девочками как раз заканчиваем урок. Сфотографируемся, и они разойдутся по домам, а мы с вами начнем. Заплатить мне можете прямо сейчас. По две тысячи йен с человека. Вас устраивает? — Мы снова закивали.

— У вас прекрасный английский.

— Еще бы. Я семь лет прожила в Калифорнии, у меня там была своя школа. Я преподаю икебану уже тридцать лет. Три года — минимальный срок обучения. И поэтому, когда вы сегодня позвонили и попросили дать вам один урок...

— Мы просто хотели...

— Да-да, я понимаю. Хотели получить представление. Я понимаю. Я в Америке семь лет провела. Кофе будете? У вас в Америке считается, что лучший способ получить представление — это попробовать что-то сделать самому. Вот и славно. Вы сами выберете цветы и составите из них композицию. А я просто объясню вам некоторые базовые вещи.

Объяснение было не слишком длинным и, кажется, вполне доступным, но у меня, как и во время лекции про дана-парамиту, рассеивалось внимание. Помню, Юкико когда-то говорила, что в старших классах японской школы чайную церемонию и икебану проходят как отдельные предметы. И правда: повеяло чем-то школьным. Неправильные треугольники, векторы, плани- и стереометрия. Плюс — грамматика.

Да-да, морфология и синтаксис. В цветочной композиции, как в предложении, можно выделить подлежащее, сказуемое, дополнения и обстоятельства. В третьем классе я обожал это подчеркивание, да и потом, когда штудировал университетское введение в философию, на раз отличал субъект от предиката. Но вот передо мной несколько лилий, ветка рогозы, еще какой-то пучок, и кто бы объяснил, как перейти от теории к практике. Я составил букет, как мне показалось, красивый, и предъявил его нашей иэмото. Что скажете? Интересно, что сказал бы, к примеру, Иннокентий Анненский, если бы ему принесли стихотворение "с днем рожденья поздравляю, / счастья, радости желаю" и попросили обсудить поэтические достоинства и недостатки этого текста? Вряд ли, конечно, наша училка была Анненским от икебаны, хотя кто его знает, все может быть. Увидев мою "композицию", она изо всех сил постаралась сделать непроницаемое лицо покерного игрока, но у нее не получилось.

— Знаете, попробуйте поговорить со своими цветами.

— Это как?

— А так. Попробуйте увидеть в цветке собеседника.

Иными словами, я безнадежен. Пойду лучше погляжу, что получается у других. В противоположном углу комнаты женщина в затрапезном халате корпела над какой-то сложной аранжировкой. Как выяснилось, она продумывала эту композицию в течение последних трех месяцев.

— А что будет, когда она закончит свое произведение? — спросил я у иэмото.

— Ничего. Выбросит цветы и займется новым проектом. Это у вас на Западе искусство стремится в вечность.

Эту песню я слыхал и раньше: западная цивилизация одержима идеей бессмертных творений, а в восточном искусстве господствуют идеи несубстанциальности и непостоянства, пришедшие из буддизма. Так-то оно так, но ведь и здесь не обошлось без желания сохранить результаты своих стараний. Иначе зачем бы участницам этой студии выпускать ежегодный календарь-каталог, куда помещают фотографии лучших композиций?

У Алки получилось лучше, чем у меня, и вместо снисходительного совета поговорить с цветами ее удостоили более серьезного разбора полетов.

— Что-то тут есть, что-то есть... Но вы должны понять, что икебана — это не подарочный букет. Как вам объяснить? Букет, который продается в магазине, это хвастливый рыбак, показывающий всем: "Вчера поймал во-о-от такую рыбу". А икебана — это танцовщица, застывшая в одной из своих самых сложных и неустойчивых поз. В аранжировке не может быть никакой симметрии, симметрия несовместима с жизнью. Не натюрморт, а живая природа, застывшая, но живая — вот что такое икебана.

Западный человек плохо понимает цветы. Но что-то он все-таки понимает. Ведь это цветы будут оплакивать и опекать его, когда он будет лежать под могильной плитой.

На прощание нам предложили подписаться на каталог студии ("Мы даем скидку — специально для наших иностранных гостей..."). Фотографии в каталоге красивые, да и поддержать искусство не грех. Но мы поскупились.

Киото

Из окна поезда Синкансэн, несущегося со скоростью триста километров в час, чередование пейзажей напоминает тасование карт в руках шулера. Сколько ни всматривайся, все равно не поймешь что к чему. Одно сменяется другим настолько быстро, что у тебя создается впечатление, будто ничего не изменилось. Это кинематографический эффект, превращение динамики в статику. Зрение покоряется обману, принимает его как данность. Мимо летящего во весь опор состава медленно проплывает панорама панельных застроек. Следующая станция — Фукуяма. За дебаркадером виднеются очертания замка даймё. Наверное, реконструкция. В какой-то момент эти феодальные замки становятся неотличимыми один от другого. То же и с пагодами. Драконья чешуя крыш, длинный шпиль, "врата трех освобождений", тахото, дайто... Все сливается воедино, превращается в застывший ручей ("шаг за шагом останавливать звук журчащего ручья" — суть практики дзадзэн, согласно Судзуки).

Махнув рукой на виды, я опустил штору и уткнулся в "Киндл". "Исповедь неполноценного человека". Осаму Дадзай — какая-то двоящаяся фигура; от его творчества рябит в глазах, как от этих заоконных картин, если вглядываться в них, чуть сбавив скорость. В одну минуту его проза кажется невыносимым нытьем, а в другую — пронзительной и достовер-

ной. Скорее всего, она — невыносимое нытье с гениальными вкраплениями. И, возможно, именно эти вкрапления, не позволяющие "списать в утиль" весь корпус Дадзая, были тем, что так раздражало Мисиму. Впрочем, Мисиму, кажется, раздражало практически все, кроме него самого и нескольких авторов, избранных им по неочевидному принципу. В этом плане он похож на Набокова. У Мисимы с Набоковым — при всей несхожести образов и биографий — вообще масса общего: многоязычие, литературная виртуозность, своеобразное сочетание новаторства с консерватизмом, strong opinions, поза аристократа. Странно, что никто из американских критиков, охочих до подобных сравнений, об этом не писал. Или просто мне не попадалось. Попадались сравнения Набокова с Кавабатой (шахматы против го), с Танидзаки (Лолита против Наоми). Хотя как раз в случае Танидзаки, по-моему, никакого сравнения быть не может. Я честно пытался читать "Свастику", "Татуировку" и кое-как одолел примерно половину эпопеи "Сестры Масаока". Больше не смог. А вот Мисиму — "Золотой храм", "Жажду любви", "Смерть в середине лета" — прочел на одном дыхании. И Господь с ними, с его "strong opinions".

Если Мисиму раздражает все, что не вписывается в его картину мира, то Дадзая раздражает в первую очередь он сам. Поэтому у первого — "Исповедь маски" (вполне набоковская игра), а у второго — "Исповедь неполноценного человека". И то и другое — повесть о себе ("ватакуси сёсэцу"), она же "эго-беллетристика". Это жанр, в котором написано лучшее не только у Дадзая, но и вообще в современной японской литературе. Симадзаки, Мотодзиро, поздний Акутагава, Наоя Сига и так далее. В более широком смысле, сюда можно отнести и "Рассказы на ладони" Кавабаты (там, где он, ребенок, видит своих родителей умирающими от чахотки), и трилогию Кэндзабуро Оэ об отношениях отца с умственно отсталым сыном, и военные ужасы Сёхэя Оока, и "Хроники моей матери" Ясуси Иноуэ, и даже наркотический бред Мураками (Рю, не Харуки). Весь этот надрыв, определяющий японскую литературу XX века. Откуда столько "эго-беллетристики"? Может, она тоже, подобно чайной церемонии, икебане и самурайскому уставу, берет начало в дзэн-буддизме? "Когда человек говорит о себе, он забывает себя" — это из Догэна. Душераздирающая исповедь как одна из разновидностей дзадзэн. Но мне по вкусу и более сдержанная проза: Нацумэ Сосэки, Мори Огай. Последний — ровесник Чехова — по профессии был врачом. Его стиль изложения предельно сух, как в истории болезни. Вот к чему хотелось бы стремиться.

Киото полон литературных ассоциаций. Они — часть экскурсии, как в Петербурге. Вот Золотой храм, где герой Мисимы боролся со страшной силой красоты. Вот веселый квартал Гион, где до сих пор живут гейши, сошедшие со страниц Кавабаты и Кафу Нагаи. Вот императорский дворец, где полы скрипят — не скрипят даже, а кричат, как голодные чайки, целый птичий базар (оказывается, такими скрипучими их делали специально, чтобы слышать, когда кто-то идет). Вот придворная музыка "гагаку", придворная живопись "суми-ё". Горная река на картине похожа на стеганое полотно, прошитое красной нитью; гребни гор превращаются в гребни волн, и лодка, несомая теченьем, повторяет форму волны. И опять литературные ассоциации: эпоха Хэйан с ее дайнагонами, тюнагонами, Левыми и Правыми министрами, Северными и Южными покоями, дворцовыми интригами, альковными историями, культом красоты, обязательной любовной перепиской в стихотворной форме. Все, что запечатлели родоначальницы японской литературы Сэй-Сенагон, Нидзё и Мурасаки Сикибу. Благодаря их сочинениям, мы имеем самые подробные сведения о жизни местной аристократии в X веке. Но чем больше сведений, тем труднее сложить их в общую картинку. Эпоха Хэйан непредставима, она кажется чем-то инопланетным. "'Повесть о Гэндзи' была написана тысячу лет назад, — говорится в музейной брошюре, — но читается так, как будто написана в наше время". Не знаю, не знаю. Первое, что приходит мне в голову при упоминании Гэндзи-моногатари, это обычай хэйанской знати вымазывать передние зубы черной краской.

В Киото нам выпало двухдневное счастье бесцельно слоняться по городу, восхищаясь тем, о чем было заранее известно, и поражаясь тому, о чем известно не было. Идеальный туризм, готовый судить обо всем с плеча, выдумывающий миф за мифом и блаженный в своем неведении, — что может быть лучше? Мы уплетали морских гадов на городском рынке, ужинали подозрительно недорогой говядиной кобе и ядовитой рыбой фугу под умиротворяющие звуки кото и сямисэна. Случайно оказавшись в самой гуще фестиваля "Гион мацури", мы улюлюкали вместе со всеми, пока раскрасневшиеся мужики с выпученными глазами тащили куда-то горящее бревно. В храме Фусими Инари мы хлопали в ладоши и звонили в колокольчик, сзывая синтоистских богов, вытягивали удачу из номерного ящичка и даже брали напрокат кимоно и гэта — словом, делали все, что полагается туристам. Но фокус был в том, что рядом с нами японцы, стар и млад, делали все то же

самое. Вот еще одна отличительная черта, не выпадающая из общего стереотипа, но, тем не менее, достойная удивления: оказывается, местные жители клюют на приманки для туристов с не меньшим, а то и большим энтузиазмом, чем сами туристы. Сказывается ли тут чрезмерная занятость, вынуждающая человека принимать все, что не касается его профессиональной деятельности, в облегченном (туристическом) варианте? Или это и вправду национальная специфика? Во всяком случае, в Китае, где вроде бы вкалывают не меньше, я такого не видел.

Из всех храмовых достопримечательностей старой столицы мне особенно запомнился сад камней в монастыре Дайтокудзи. Там расчесанная в аккуратные борозды галька символизировала реку жизни, текущую от водопада рождения к океану нирваны. На пути попадались большие камни; один из них был черепахой, пытающейся плыть против течения, другой – спящей коровой. Корова спит, потому что все время смотрит в прошлое. Вот уже пятьсот лет корова и черепаха лежат в каменной реке, не замечая друг друга. По другую сторону океана нирваны – справочный центр и сувенирная лавка, где развешены таблички с изречениями корифеев дзэн-буддизма. "Истинное сознание – камень, подобный чистой воде, изливаемой в чистую воду..." "Прошлое – верхушка сердца, настоящее – верхушка кулака, будущее – затылочная часть мозга..." "Только набрав воды в черпак, ты ощущаешь воду как живое существо..." Вот что можно читать часами, вкладывая смысл, точно добавляя соль или перец, по вкусу.

После ужина мы бродили по Гиону, шпионя за жизнью выбеленных обитательниц "мира ив и цветов" и их клиентов-толстосумов. Попав в этот квартал, практически не изменившийся с XIX века (узкие улочки, двухэтажные чайные домики с бамбуковыми оборками и оградой, похожей на завязанный "барабанным бантом" пояс от кимоно), ты испытываешь уютное чувство безопасного подглядывания за греховно-таинственным, как при чтении детективов Эдогавы Рампо. Наша прогулка была настоящей "фотоохотой", причем охотились не мы одни. Когда из театра, где мы незадолго до того смотрели "Мияко одори", выплыли пятеро майко в сопровождении клиентов, все проходившие мимо японцы повынимали айфоны и принялись щелкать. Если им можно, то и нам можно. И мы с удовольствием примкнули к своре папарацци с айфонами на изготовку. Майко шли с каменными лицами, глядя прямо перед собой, а их пожилые клиенты сыпали

шутками, размашисто жестикулировали — в общем, развлекали нанятых ими девушек, как могли. По всему было видно, что непрошенное внимание со стороны прохожих этим великовозрастным волокитам только в радость. Наконец, они нырнули в узкий проход, в конце которого, как объяснил нам кто-то из японских папарацци, находился ресторан "для своих" ("for regular patrons only, new faces cannot go in"). Все переглянулись, как бы поздравляя друг с друга с удачной охотой, и снова полезли в айфоны — проверить, хорошо ли получились снимки.

Коя-сан

День долог, как для ребенка; гора спокойна, как бесконечное прошлое. Монастырский быт кажется неправдоподобной идиллией. Комнаты, выстланные татами; раздвижные сёдзи и перегородки, обклеенные рисовой бумагой, расписанные традиционными цветами и птицами; ужин, на который хочется смотреть, а не есть, потому что сервировка сама по себе — произведение искусства. Футон, дзабутон, юката. Почти как в рёкане. Только вместо купания в горячих источниках и массажа здесь предлагают молитву и медитацию. А так — сплошной санаторий. Не совсем то, чего я ожидал. Одна приятельница, японская художница, живущая в Нью-Йорке, со смехом рассказывала, что западные хипстеры ездят в Японию специально для того, чтобы их побили палками в буддийском монастыре. Говорят, в нью-йоркских салонах БДСМ клиентура состоит преимущественно из уолл-стритовских трейдеров. Я не трейдер и не горю желанием быть битым, но в остальном вполне соответствую стереотипу "дзэн-туриста". Нормальный обыватель, чей поиск не выходит за пределы дозволенного и предусмотренного в часы досуга.

В шесть утра звонит колокол. Сначала — несколько ленивых ударов, потом — все чаще и настойчивей, как гонг в Пекинской опере, имитирующий учащение пульса во время батальных сцен. Но эта побудка не нужна: все давно проснулись. Монахи — по привычке (утренняя медитация начинается в три часа ночи), а я — из-за непроходящего джетлега. Когда полтора часа назад я раздвинул сёдзи и, стараясь никого не будить, вышел в коридор, в монастырской канцелярии уже горел свет. Двое послушников разбирали какие-то бумажки; третий, сидя в позе лотоса перед ноутбуком, впечатывал цифры в таблицу Microsoft Excel. Я вышел в сад, уселся на камень. Медитировать я не умею, зато в отключку

ухожу на раз, могу часами пребывать в полной прострации. Может, это тоже такая медитация? “Нет, – смеется Нобу, – это антимедитация”. Нобу – мой ровесник. Он принял постриг пятнадцать лет назад. Что я делал пятнадцать лет назад? То же, что и сейчас. Занимался антимедитацией.

– Как получилось, что ты стал монахом, Нобу?

– А благодаря иностранцам. Таким, как ты. Мне в школе всегда легко давался английский. Я даже думал, это станет моей профессией. Но в университет сразу поступать не хотелось. Искал какую-нибудь непыльную работу. В конце концов устроился в этот монастырь переводчиком. К нам сюда то и дело наезжают иностранцы, а английского никто не знает. Ну вот, я начал переводить речи настоятеля. Пока переводил, много всего выучил. И решил остаться. А настоятель, он – отец моего школьного приятеля. Он меня с детства знал и поэтому согласился взять в ученики. Чтобы стать монахом, нужны связи.

– А если связей нет?

– Ну, не знаю. Можно попробовать устроиться в монастырь уборщиком. Полотером там, судомойкой. Начать с этого. Но вообще трудно. Мне даже кажется, что иностранца охотнее возьмут, чем японца. Хотя к иностранцу никто всерьез не относится. Его по-настоящему обучать не нужно, он здесь не за этим.

* * *

Два молодых монаха читают сутру, сидя по краям алтаря. Монотонные распевы, сопровождаемые барабаном, тарелками, колокольчиками. Японские буддийские песнопения сёмё делятся на две категории – рёкёку (простой стиль) и риккёку (сложный стиль). Интересно, в каком стиле поют эти двое? В чем разница между простым и сложным? Никто ничего не объясняет. Пузатый настоятель, сидящий в центре, подхватывает каждую фразу песнопения с середины. Буддийский канон. Вернее, Каннон. Нет, Каннон – это из синтоизма. Тысячерукая богиня. Тысячекрылый журавль. Стон горы. Стон горы Коя-сан – это сёмё. Почему он поет таким нарочито противным голосом? Голос человека, страдающего запором. И внешность подстать. Так должен был бы выглядеть Досэн из “Золотого храма”. Тысячекрылый канон. Нет, это из синтоизма. Аматэрасу. Сусаноо-но микото на склоне лет. Все, что я знаю, – из книг. Книжный мальчик. Какой еще к черту мальчик? Я – дяденька с негибким телом и путаницей в голове. Сидеть надо с полузакрытыми глазами, с прямой спиной, скрестив ноги так, чтобы колени касались пола. Вдох-выдох, вдох-выдох,

вот так. Поза равновесия. Энергетические каналы. Но у негибкого дяденьки от этого полулотоса болит правое бедро. Боль в бедре и путаница в голове. Не в этом дело. Мое сознание — вращающаяся дверь или камень-голыш, один из миллиона в саду камней. Надо отвлечься от своего камня и обозревать весь сад. Так советовал Нобу. Ему легко говорить, он гибкий. Я закрываю глаза и пытаюсь наблюдать за собственными мыслями. Чувствую, как кто-то трясет меня за плечо. Это не иллюзия сансары, это пожилая прихожанка, выступающая в роли парторга. Всем присутствующим полагается по очереди подойти к буцудану, помолиться Светлоликому и пересыпать щепотку пепла из одной курильницы в другую. Теперь мой черед. Но я не хочу молиться, не могу. Я здесь не за этим. А зачем тогда? Молись, не задерживай очередь. Кажется, сейчас меня выгонят. Пока я жестами препираюсь с парторгом, преподобный заканчивает молитвословие и обращается к мирянам. Сидя лицом к нам, он напоминает уже не настоятеля из "Золотого храма", а сувенирную статуэтку Будды с брюшком-жемчужиной. Его речь обращена к нам, но глаза прикрыты (надо сидеть с полузакрытыми глазами, чтобы внешнее уравновешивало внутреннее), взгляд расфокусирован. Если избыть привязанности, что тогда? Сосна зеленая, а снег белый.

* * *

После ужина Нобу водил нас по огромному кладбищу, примыкающему к мавзолею храма Окуно-ин, где покоится в вечном самадхи Великий учитель. По этим святым местам, говорил Нобу, лучше всего бродить ночью. Тусклые фонари высвечивают древность, как бы выхватывают ее и только ее из сумрака, поглотившего все вокруг. Так, в детстве, пытаясь представить себе, как выглядел мир в старину, я щурил глаза, чтобы все цвета потускнели. Если погасишь свет, ближнее станет дальним. Но если свет зажечь, дальнее ближним не станет. Откуда это? Из танка Сайгё? Из хайку Басё? В общем, издалека. "Почудится вдруг: / То не туча вдали, а дым / От костра погребального... / И таким неожиданно близким / Ночное покажется небо..."[1]

Кажется, ночная прогулка по кладбищу — вполне в духе дзэн-буддизма. Синтоизм имеет дело с жизнью (никакой эсхатологии), буддизм — со смертью. Синкретизм двух религий понять нелегко. Синтоистское божество А. может считаться аватаром буддийского божества Б., которое в одной из своих функций отождествляется с синтоистским божеством С.; при

1. Танка из "Повести о Гэндзи". Перевод Веры Марковой.

этом в некоторых толкованиях буддийской доктрины божество Б. само считается аватаром... Черт ногу сломит. “Чтобы понять наше учение, — лопочет жовиальный монах, — надо провести ночь на кладбище”. Над головой — пирамидальные кроны криптомерий, жутковатый писк невидимых белок-летяг. Бесчисленные надгробия, каменные светильники, склепы в форме пагоды, увенчанные пятью камнями (пять элементов: земля, вода, огонь, ветер, пустота). В буддизме тело усопшего принято кремировать. После кремации подъязычную кость, которая символизирует мудру медитации, отделяют от других костей и хоронят на одном из буддийских кладбищ (остальные кости кладут в семейную могилу). Сыновний долг — позаботиться о подъязычной кости родителя.

Это кладбище в Японии считается самым престижным. Вроде Новодевичьего или Пер-Лашез. Среди прочих здесь захоронена подъязычная кость основателя компании “Панасоник”, получившего посмертный статус синтоистского бога бизнеса. В синтоистском пантеоне — сто тысяч богов; на кладбище Окуно-ин — двести тысяч могил. В некоторых склепах вырезаны оконца в форме полумесяца. Это не символ ислама, а дань Великому учителю, Кобо Дайси, уподобившему человеческую мысль луне. Сияние луны — отраженный свет; источник мысли (света) находится не в нас. К тому же облик луны изменчив: сегодня — полный круг, завтра — долька. Источник же неизменен. Луна, словно дерево, спиленное под корень. Белеется свежий срез.

Сам Кобо Дайси похоронен не здесь. Если верить Нобу, он вообще нигде не похоронен. В 835 году Учитель отказался от воды и питья и, удалившись в пещеру, погрузился в вечную медитацию. Сто лет спустя, кто-то из монахов решился проверить, что стало с Учителем, и вошел в пещеру. Кобо Дайси сидел все в той же позе медитации, а его коса и борода устилали пол пещерной кельи (так, кажется, в Самарканде продолжают расти ногти у пророка Хаджи Даниера). Монах вернулся с ножницами, аккуратно остриг волосы, после чего завалил камнями вход и наказал ученикам впредь не докучать Учителю визитами. С тех пор посетителей у Кобо Дайси не было, но на подступах к его мавзолею по сей день продолжает работать специальная кухня. Каждое утро монахи Коя-сан стряпают кушанья для подношения Учителю — на случай, если тот неожиданно выйдет из самадхи.

От основной части кладбища гробницу (пещерную келью) Кобо Дайси отделяет священный ручей, охраняющий души умерших детей (детей воды). У ручья, точно терракотовая армия Цинь Ши Хуанди, выстроилась длинная шеренга

каменных бодхисатв. По традиции, всякий, кто собирается приблизиться к келье Учителя, сперва должен омыть ноги этих каменных охранников ручьевой водой. Смысл ритуала Нобу объясняет следующим образом: будды горят в аду за людские грехи; плеснув воды на изваяние, ты облегчишь страдания божества. Если же, вместо того чтобы пересекать ручей, свернуть влево, придешь к провидческому колодцу. Загляни в колодец и попытайся разглядеть в мутной воде свое отражение. Увидел отражение, значит, все в порядке, а нет, значит, ты умрешь в течение трех лет. Есть такое поверье. А может, и не поверье вовсе, просто страшилка для приезжих. Как бы то ни было, заглядывать боязно. "Или вот еще, — не унимается Нобу, — видишь там впереди ступеньки? По ним надо подниматься о-очень осторожно. Если поскользнешься, умрешь в течение трех лет". Сам он, однако, обходит ступеньки стороной, поднимается по бордюру.

Кое-где из замшелой почвы, точно огромные подосиновики, растут каменные божки в вязаных красных шапочках. Это статуэтки Дзидзо, покровителя детей и путников. Их можно увидеть по всей Японии — там, где недавно произошло ДТП или умер ребенок. Если смерть пришла внезапно, у души не было времени подготовиться к переходу. В таких случаях нужен Дзидзо-проводник, японский собрат Харона. Красная шапочка символизирует огонь, сиречь очищение. После того как Дзидзо выполнит свою функцию, статуэтку в вязаной шапочке отправят в кладбищенский лес "на ПМЖ".

"Учитель, а что говорит дзэн насчет самоубийства?" Есть такая байка, будто у эскимосов имеется больше тридцати слов для понятия "снег". Кажется, в японском языке существует столько же слов для различных видов ритуального самоубийства. Самоубийство вассала после смерти сюзерена в феодальной Японии называлось "дзюнси" ("самоубийство верных"). Не путать с "синдзю" ("самоубийство влюбленных"), о котором писал Шекспир кукольного театра Тикамацу Мондзаэмон. Самоубийство родителей с детьми — это "ояко-синдзю". Есть самоубийство по сговору ("дзёси"), самоубийство по убеждению ("канси"), самоубийство из-за вины ("инсэки-дзисацу"). Помнится, профессор Белкис, который вел у нас в институте обязательный курс под названием "Цивилизации мира", любил повторять общеизвестную сентенцию: "европейская культура строится на чувстве вины, а азиатская — на чувстве стыда". Звучит стройно, но, если вдуматься, ничего непонятно. Разве может быть чувство вины без стыда, и наоборот? И можно ли говорить, что одна культура строится на чувстве вины, а другая — на стремлении смыть позор? Нет, не позор, а именно

чувство вины. Оно не знает культурных границ – вспомнить хотя бы "Сердце" Нацумэ Сосэки, одно из лучших произведений японской литературы. Там как раз об этом.

Вина – это то, что передается от умершего живому, передается по наследству. Она всплывает в самые неожиданные моменты. Два дня назад в Киото мы сидели в кафе, и я смотрел на пожилую пару за соседним столиком. Они сосредоточенно жевали темпуру с лапшой; время от времени женщина молча подкладывала мужу лакомый кусочек из своей тарелки. Я вспомнил, что моя бабушка делала то же самое. Как они с дедушкой молча ужинали вместе, и она глядела на него с какой-то трагической преданностью, и этот ее взгляд приводил меня в ярость... Весной восемьдесят девятого года дедушка покончил с собой, решив, что у него рак кишечника ("Боялся стать обузой", – говорили у нас в семье). При вскрытии никакой опухоли не нашли. Бабушка последовала за ним несколькими годами позже. Тринадцатилетний сопляк, я ничего не подозревал и ушел гулять с дружками, нагрубив ей за то, что она пыталась удержать меня дома. Моя грубость была последним, что она услышала в этой жизни. Как я узнал много позже, бабушку преследовала мысль о том, что она, будучи врачом, не смогла уберечь дедушку. Она была педиатром, откуда же ей было знать о раке кишечника? Да и вряд ли он делился с ней своими опасениями. Но чувство вины неумолимей любого наставника с палкой; оно – в крови. Четверть века спустя, бабушка все еще навещает меня во сне. Раньше эти сны всегда разворачивались одинаково. Я просил ее не уходить, плакал, что больше не буду. Но в последнее время все изменилось: в "бабушкиных снах" я внезапно перестал быть ребенком. Теперь я вижу себя в них тем, кто я есть на самом деле. Человеком под сорок. Бабушка тоже видит меня таким, и наши разговоры стали как-то разнообразней. Иногда бывает даже смешно. "Знаешь, – делюсь я последними впечатлениями, – ведь это только у евреев самоубийство – грех, а у японцев оно в порядке вещей". – "Ну, что ж, – говорит она, – значит, мы с твоим дедушкой – японцы".

"Ладно, на сегодня хватит, – закончил свою кладбищенскую лекцию Нобу. – Сходите в баню и ложитесь спать. Завтра ранний подъем. Напоследок скажу вот что: если хочешь очистить сознание, начни с уборки комнаты". Золотые слова.

* * *

Все, что ты видишь, – коан, растиражированный теми, кто был здесь до тебя. И где косолапый черт Касиваги, чтобы

вложить новый смысл в затертую головоломку про котенка, зарезанного монахом, или про природу Будды у собаки? Ты уже читал комментарии и аннотации, стало быть, ни на какое сатори надеяться не приходится. Единственное озарение — это собственно огонь. Его разжигают прямо в храме, вернее в пристройке к храму, под аккомпанемент барабанов и колокольчиков. Вчера вечером каждому из новоприбывших выдали по фломастеру и дощечке, на которой надо было записать свои сокровенные желания. Затем дощечки требовалось сдать в канцелярию. И вот дежурный монах достает их из холщового мешка, и они идут на растопку. Утренний ритуал сожжения. Теперь мое дело — наблюдать, как огонь пожирает все, что я там понаписал. Оттого, что мои желания горят вместе со всеми остальными, как-то легче. Хотя просовывать записку в расщелину между камнями Стены плача все же было приятнее. Но тут другое. Горение слов. В этом есть что-то важное: урок бумагомарателю. Ведь булгаковская максима ложна не потому, что "горят, еще как горят!", а потому, что сама рукопись — это огонь. Записывая в столбик или в строчку, ты не фиксируешь впечатление, а, наоборот, испепеляешь его. То же и с воспоминаниями. Образы прошлого — это спички. Ты носишь с собой коробок, стараясь как можно бережнее расходовать запас. Каждый прожитый момент вспоминается (воспламеняется) только один раз. Весь фокус в том, чтобы разжечь костер с одной спички. Если получится, дальше надо будет только подбрасывать в него слова, пока не потухнет — от недостатка или от избытка слов. Гори, гори ясно. Чем дольше горение, тем полнее очищение. Наконец монах наступает на дотлевающие угольки, раздается последний удар барабана. Всё.

Август-сентябрь, 2015

Редакция начинает печатать афоризмы в переводе с разных языков из собрания Натальи Перовой, переводчика, издателя московского издательства "Глас".

Афоризм Гилберта Кийта Честертона: "Чтобы на истину обратили внимание, надо перевернуть ее вверх ногами" — можно считать самым точным и глубоким определением афоризма.

Англо-американские афоризмы

Перевод и составление Наталии Перовой

Если бы скотобойни имели стеклянные стены, мы бы все стали вегетарианцами.

Пол Маккартни

Если ты сломал себе шею, если тебе нечего есть, если в доме пожар — ты действительно в беде. Все же остальное — просто неприятности. Жизнь — это серия неприятностей. Жизнь комковата. Комки в каше, комок в горле, комок в груди — это все очень разные комки. Научитесь их различать.

Роберт Фулгам

Самый сильный анальгетик, стимулятор, снотворное, транквилизатор, наркотик и даже антибиотик, другими словами, самая реальная панацея от всех болезней, известная медицине, — это работа.

Томас Сас

Пока женщина молода, она постоянно в центре внимания, всегда на подиуме. Она все время готовится к этому вниманию и ждет восхищения. И вот, совершенно неожиданно,

© Наталия Перова. Перевод, составление, 2016

она достигает среднего возраста и становится безликой. Никто ее больше не замечает. Она обретает восхитительную свободу. Теперь она может передвигаться по миру как невидимка.

Дорис Лессинг

Есть лишь два способа обрести счастье на этом свете — либо иметь чистую совесть, либо не иметь ее вовсе.

Огден Нэш

Еще не было ни одной выигранной битвы. Поле боя лишь открывает человеку глаза на его ошибки и на его отчаяние. А победа — иллюзия философов и дураков.

Уильям Фолкнер

Если читать Библию внимательно, то убедишься в правоте атеизма.

Айзек Азимов

В гавани корабль в безопасности, но строят корабли не для этого.

Грейс Хоппер

Свободное общество — это место, где быть непопулярным безопасно.

Адлай Стивенсон

Общество — как бульон: если его не помешивать, на поверхности скапливается слишком много пены.

Эдвард Эбби

Нейтралитет выгоден завоевателю, а не его жертвам. Молчание поощряет палача, а не его жертву.

Эли Визель

Теперь мы знаем, что человек может вечером читать Гёте и Рильке, слушать Баха и Шуберта, а утром отправляться на работу в Аушвиц.

Джордж Стайнер

С помощью доброго слова и револьвера вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.

Аль Капоне

Сумасшествие — вещь относительная: она зависит от того, кто кого запер и в какой клетке.

Рэй Брэдбери

В день, когда ребенок поймет, что взрослые несовершенны, он становится подростком; когда научится прощать их за это — взрослым. А в день, когда он научится прощать себя — мудрым.

Олден Ноулан

Вся литература состоит из сплетен.

Труман Капоте

Когда мы успокаиваем свою совесть, называя что-то неизбежным злом, зло представляется нам все более неизбежным и все менее злом.

Сидней Харрис

Читая книгу, мы переписываем ее под себя, привносим в нее все прочитанное ранее, весь свой жизненный опыт. Вы словно бы читаете книгу на своих условиях.

Анджела Картер

Иди туда, где молчание, и скажи свое слово.

Эми Гудман

Некоторые люди непременно хотят всё попробовать сами. Если в какой-нибудь пещере вы установите выключатель с надписью “Кнопка конца света. Просьба не трогать”, то краска на этом объявлении не успеет высохнуть, прежде чем...

Терри Пратчет

Когда в Париже я пытался говорить по-французски, парижане на меня таращились. Я так и не сумел заставить этих идиотов понять их собственный язык.

Марк Твен

Сегодня уже нельзя принимать решения без учета не только теперешнего состояния мира, но и его будущего.

Айзек Азимов

На космическом корабле “Планета Земля” нет пассажиров — мы все члены экипажа.

Маршал Маклюен

Люди ищут не истину, а иллюзию, с которой они могут жить.

Анаис Нин

Владислав Отрошенко
Моя Италия

I. *Места и местоимения*

Италия возникла московской ночью 1996 года — прямо в моей квартире, смотрящей окнами в сторону южных стран. Раздался телефонный звонок. Голос в трубке произнес с мяукающим акцентом:

— Могу говорить с Владисляувом?

Ночь была глубокая. Слова, которые повторял телефонирующий — "Воланд... контракт... Рим..." — не располагали к вере в реальность происходящего. Я ждал, когда какая-нибудь метаморфоза, например, переход на чистое — без человеческого акцента — мяуканье выдаст потустороннюю природу голоса.

"...Рим... перевод... ваша книга..." — доносилось из трубки. Никакой книги на тот момент у меня не было. Были только публикации в журналах. До выхода первой книги было еще четыре года. На русском. Но моя первая книга прозы как таковая — итальянский язык ее крестный отец — родилась через год.

Легкое и приятное на слух примяукивание, как я узнал позднее, это — особенность произношения некоторых коренных римлян. Голос в трубке принадлежал не Бегемоту, а слависту Марио Карамитти, переводчику Замятина, Венедикта Ерофеева, Саши Соколова, прозы Пушкина. "Voland" — имя издательства, которым владеет Даниэла Ди Сора, профессор Римского университета "La Sapienza".

Выход первой книги совпал с первым опытом жизни в Италии.

Опыт состоял из разных вещей. Из приморского городка Санта-Маринелла, неизлечимо зараженного праздностью. Из съемного дома на Via Crescenzio, принадлежащего агентству недвижимости — в шесть утра приезжал на грузовичке агент-

© Владислав Отрошенко, 2016

ский садовник и принимался шумно ухаживать за садом, — слышался даже грохот неясной природы. Из утренних поездок по Аврелиевой дороге вдоль моря за его дарами на рыбный рынок в Чивитавеккью, где в порту спускался с корабля на территорию "чудного, прекрасного далека" Гоголь. Из чтения под высокой пинией во дворе дома то Гоголя, то Катулла — оба были взяты в Италию нарочно, как бы на родину. Из кружения по горным и равнинным дорогам в поисках городов-нэцке, городов-хокку — я уже тогда начал коллекционировать Маленькие шедевральные городки Италии (МШГИ), — теперь у меня их много: Толфа, Орвьето, Сирмион, Сперлонга, Маростика, Азоло, Альберобэлло, всех не перечислить. Из вечерних поездок в Рим, до которого всего 40 км по платной автостраде.

Презентация моей книжки состоялась во время одной из таких поездок. Мы сидели вокруг низкого столика под открытым небом во внутреннем дворе здания, принадлежащего Министерству культуры Рима, — я, Марио, Даниэла, ее аспиранты, студенты. На столике — минеральная вода. Шел интеллектуальный разговор на русском. Все было скромно и чинно. До той минуты, пока какой-то подвыпивший человек в линялой майке и джинсах, сидевший поодаль на стуле и наблюдавший за нами сквозь прищур, не объявил Даниэле, что он наконец догадался, на каком языке мы говорим.

— На каком же, синьор?

— На сардинском диалекте, синьора!

Даниэла вежливо объяснила, что язык — русский. Писатель тоже. Слова "lo scrittore russo" сработали, как взрывной механизм.

Пьяненький человек оказался маркизом Массимо Беруччи. Он никогда не видел ни русских, ни других писателей. В здании он арендовал подвалы. В эти дни на улицах Рима бушевала выставка-ярмарка. Агропромышленники из провинций беззастенчиво дразнили Вечный город широким показом вин и снеди. Маркиз был одним из них.

Он буквально махнул рукой и его люди в черных костюмах и белых рубашках заменили маленький столик громадным. Потом появились блюда, корзины, жаровни, винные ящики. Тихая и трезвая русская презентация почти мгновенно превратилась в грандиозный римский пир, который окончился на 45-й бутылке и цветах тыквы, обжаренных в масле.

Когда мы вышли на улицу, я не мог объяснить Марио, где я поставил свою машину. Но и он не мог выговорить — ни с каким акцентом — название переулка, в котором поставил свою. Поддерживая друг друга, мы двинулись, ведомые рас-

хожим мифом, в некий ночной африканский бар за особым спиртным напитком, от которого будто бы на час трезвеют...

В 2004 году я получил итальянскую премию *Гринцане Кавур* — название моей первой книги "Testimonianze inattendibili" ("Персона вне достоверности") снова появилось на страницах итальянской прессы. К тому времени подримская Санта-Маринелла, состоящая из толстых пальм и пышных вилл эпохи итало-эфиопских войн, забылась, как подурневшая школьная зазноба. В "Воланде" у Ди Соры вышел мой новый роман в переводе Карамитти. И были бесчисленные любовные романы с другими итальянскими местами и местечками, где я обитал или бывал.

На крайнем юге, в апулийском Таранто, где под окнами моего жилища, смотревшими на канал, иногда всплывали подводные лодки ВМС Италии, мне полюбилась лоскутная разноцветность Ионического моря. В центре, на границе Лацио и Компаньи, я сроднился с мысом Черчео, возле которого снимал домишко Кума Тыквы со спальней, похожей на чулан, и смехотворным садиком, где мог бы поместиться один только грузовичок санта-маринелльского садовника. Живя там, я впервые наглухо заблудился на итальянских автодорогах из-за их чрезмерного множества, когда возвращался вечером из горного городка Кассино, которым пополнил коллекцию МШГИ, — удалось выпутаться лишь под утро. В Турине я беспрестанно ходил на площадь Карла Альберто, чтобы как-нибудь — хотя бы сквозь время — увидеть Фридриха Ницше, целовавшего здесь лошадь в момент наивысшего обострения своего внезапного помешательства, и удивлялся обостренному иронизму обитающего в этом городе писателя Джузеппе Куликкья. Публикация кусков из моего романа "Didascalie a foto d'epoca" ("Приложение к фотоальбому") на бумажных скатертях туринских рестораций ("Чтоб закусывали ими, пока ждут закусок", — объяснил он мне) — одно из его азартно-вдохновенных изобретений.

За много лет я убедился, что *моей* Италия не становится. Она ускользает от жадного притяжательного местоимения — даже в Бассано-дель-Граппа, где я видел ее во все сезоны — дождей, снегов, цветов, спаржи, меда, грибов, молодого вина, разлива Бренты, парадов горных стрелков. Даже в этом городке у подножия Альп в области Венето — стольном граде империи МШГИ, где меня узнает зеленщик, — она сама по себе. Сама своя.

II. *Пушкину о г.* Б*ассано-дель-Граппа*

Адриатические волны,
О Брента! Нет, увижу вас
И вдохновенья снова полный
Услышу ваш волшебный глас!

А. С. Пушкин *Евгений Онегин*

Ну что сказать про этот город — папу
всех грапподелов на Земле.
Конечно, граппу
здесь делают отменно.
Носят шляпы
(по праздникам, зеленые с пером)
те, кто служил в казарме “Монте-Граппа”
(служили все). Надменные старухи
зимою ходят в норковых манто,
а старики в пальто —
зеленых, как и форменные шляпы
стрелков альпийских, —
живут на ренту.
Очень близко,
рукой подать до гор.
Они в снегах.
Снега питают Бренту, ту самую,
что вам увидеть не случилось.
Она течет сквозь этот город — папу
всех грапподелов на Земле.
И в нем без шляпы,
(зеленой с сереньким пером),
без рюмки граппы
перед обедом, за обедом, после,
без ренты,
без слуги,
без доброй трости
жить очень сложно,
Александр Сергеевич
дорогой.

III. *Искажение Катулла*

Ответы на вопросы студентки Римского университета "Тор Вергата" Валерии Меркури (Valeria Mercuri) для ее дипломной работы, посвященной циклу сочинений "История песен. Рассказы о Катулле".

Валерия Меркури. Ваша "История песен" разработана вокруг шестнадцатого, сорокового, сорок первого, тридцать второго и пятьдесят седьмого стихотворений Катулла. Некоторые из них были подвергнуты цензуре из-за обсценной лексики, и не только в русских переводах.

По какой причине вы выбрали именно эти песни?

Владислав Отрошенко. Причина выбора для меня необъяснима. Каждая из этих песен просто захватывала — переносила в реальность Катулла. Я записывал сюжетные ходы, сцены, диалоги будущего рассказа — все это выглядело довольно хаотично. Потом спокойно принимался за перевод. А завершив его, уже писал рассказ. При переводе у меня не было намерения исправить ошибки (вольные и невольные) русских переводчиков, которые избегали катулловских бранных слов и искажали некоторые очевидные вещи. И Пиотровский, и Шервинский, и Апт — и другие переводчики советской школы были талантливыми профессионалами и глубокими знатоками. Они делали свое благородное и важное дело. Катулл, в конце концов, был для них солидной академической работой. Для меня же катулловский цикл был работой чисто художественной — с неизбежной долей помешательства. При переводе я просто старался по мере сил соответствовать букве и духу оригинала.

В. М. Перед переводом читали ли вы работы других переводчиков? Если да, к кому вы чувствуете себя ближе в отношении лингвистики и концептуально?

В. О. Я перечитал многих переводчиков и на разных языках. Один из лучших, на мой взгляд, перевод на итальянский, выполненный Гуидо Падуано для издания "Энауди" в 1997 году.

В. М. Во время вашего пребывания в Италии вы, несомненно, черпали вдохновение, чтобы писать "Историю песен". Трудно ли было собрать информацию о Катулле?

В. О. Катулл — очень давняя любовь. Когда в 1997 году я первый раз собирался ехать в Италию на длительное время, я взял с собой только две книги — томик стихов Катулла и "Мертвые души" Гоголя. Я им тогда сказал обоим, Катуллу и Гоголю: "Везу вас на родину!" (Гоголь называл Италию родиной своей души), и они оба обрадовались. Я тоже. Нет ни ма-

лейшей сложности собрать в Италии или в любой другой стране земного шара информацию о Катулле. Потому что все достоверные сведения о нем умещаются на ладони (если писать на ней шариковой ручкой некрупными буквами). Все остальные "знания" об этом стихотворце ученые черпают из самих его стихов.

То, что я пишу о Катулле, не относится ни к сведениям, умещающимся на ладони, ни к пространным научным реконструкциям, умещающимся в толстые тома книг. Я множество раз приезжал в Сирмион и часами, днями бродил по мысу, где стояло родовое имение Катулла. Но ничего там не изучал, не добывал никаких сведений. Просто смотрел на розы, которые цветут там круглый год из-за особого микроклимата, на кипарисы, слушал птиц, гладил по голове на площади Кардуччи бронзовый бюст Катулла, лежал на траве у развалин виллы его батюшки, купался в озере, декламировал на латинском стихи поэта, возбуждая внимание билетеров музейного заведения под названием "Грот Катулла" (не сумасшедший ли?). Вот так я проводил подготовительные мероприятия, связанные с написанием рассказов о Катулле.

В. М. Насколько правдоподобно то, что вы пишете о нем?

В. О. Достоверно всё — от первой до последней буквы. Я нигде не отступил от образа загадочного римского юродивого; блаженного и гениального поэта; городского дурачка, поцелованного Богом. Это образ, который возник у меня в душе и который я глубоко полюбил. Современные сирмионцы, конечно, видят Катулла совсем по-другому. Или, лучше сказать, искажают его по-другому.

В. М. Искажают? Что вы имеете в виду?

В. О. Я думаю, вы поймете это из предисловия к "Истории песен", которое случайно было опущено при публикации цикла в книге. Вот оно:

В Сирмионе (Италия, область Ломбардия) есть бронзовой бюст. Он стоит на площади Кардуччи спиной к озеру, которое сейчас называется Гарда (когда-то озеро Бенак). На постаменте из белого травертина — надпись: GAIUS VALERIUS CATULLUS 87 A. C. — 54 A. C.

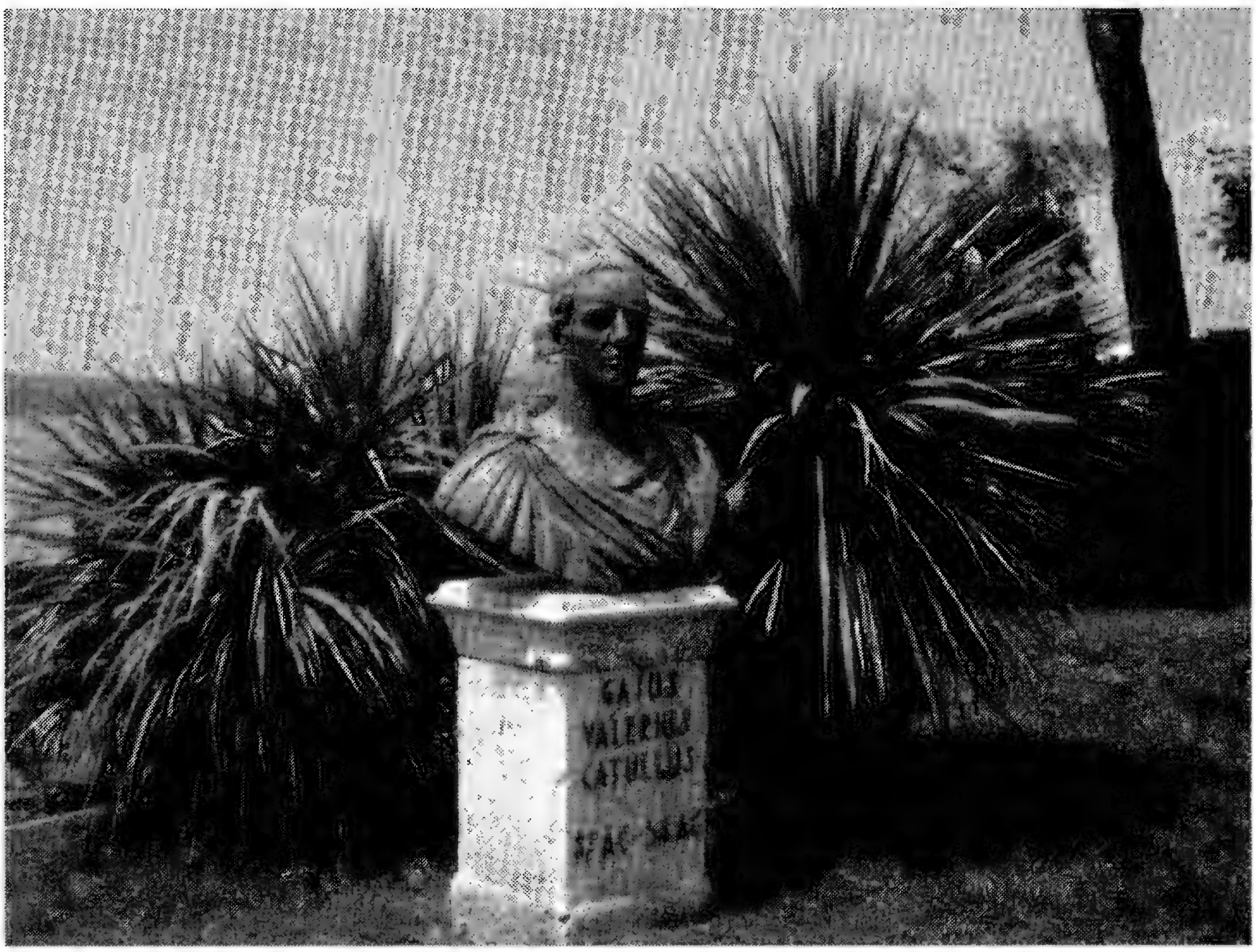
Грустно думать о том, что жители Сирмиона, где, кажется, каждое деревце шепчет имя поэта, выросшего в этом крохотном городке на одноименном мысе, совсем не испытывают к Катуллу трепетных чувств, иначе они не посмели бы изобразить его в таком странном виде.

Бюст хоть и сделан тщательно и стоит в хорошем месте — с одной стороны площадь, с другой — озеро, вокруг пальмы, вверху

прохладное альпийское небо, — но это не Катулл. Бюст изображает римского полководца. И, притом, такого величавого, такого ослепительно могучего, такого напыщенного полководца, каких никогда и не существовало.

Сирмионцам, как видно, угодно насмехаться над своим знаменитым земляком, что, разумеется, не заслуживает ни малейшего одобрения.

И все же я должен поблагодарить их за то, что они создали ложный образ поэта. Я обязан поблагодарить исказителей за вопиющее искажение, так как оно побудило меня рассказать о том, как писались стихи Катулла и как жилось ему на свете.



Новые книги Нового Света

с Мариной Ефимовой

Совместно с радио “Свобода”

John Bradshaw *Cat Sense: How the New Feline Science Can Make You a Better Friend to Your Pet.* — Basic Books, 2013

Несмотря на безобидное название, книга зоолога Джона Брэдшо “Кошачий разум, или Как новые открытия фелинологии помогут вам подружиться с кошками” — не столько учебное пособие для владельцев кошек, сколько вежливое, но настойчивое предупреждение о том, что этих древних домашних животных ждет печальное будущее, если мы не потрудимся узнать их историю и вникнуть в их природу. Вот несколько примеров того, как мало мы знаем:

Вы думаете, что мурлыканье кошки — знак довольства жизнью? Нет. Это просьба доставить ей удовольствие (или не прекращать то действие, которое уже доставляет удовольствие — чесать за ухом, например).

Всех удивляет, что кошки лихо взлетают на деревья, но не могут с них спуститься, часами сидят наверху и вопят. А дело в том, что кошачьи когти направлены вперед, и их нельзя использовать как тормоза при спуске.

Все видели, как кошки, падая, переворачиваются в воздухе и приземляются на лапы. Но мало кто видел, как падая с большой высоты, кошки принимают “парашютную позу”, распластавшись в воздухе и распушив хвост. И лишь в последний момент принимают “позу приземления”. Этот трюк настолько снижает скорость падения, что позволяет многим кошкам даже после падения с крыши многоэтажного дома встряхнуться и уйти, как ни в чем не бывало.

Кошки кажутся флегматичными животными, но Брэдшо пишет, что они способны испытывать сильные чувства: если хозяева (из самых добрых побуждений) берут в дом вторую кошку, это может привести к хронической депрессии первой кошки. И к болезням. А в случаях болезней и травм эти стоики “страдают молча”.

Кто сейчас помнит, что в течение долгих периодов человеческой истории кошки были предметом ненависти и жертвами массовых убийств? В Средние века католическая церковь поставила себе целью истребить всех кошек на территории Европы, считая их пособниками сатаны и переносчиками чумы. Был период, когда в Англии практически не стало кошек. Потом выяснилось, что чуму разносят

крысы; люди заметили, что те дома, где еще жили кошки, чума миновала, и кошкам вернули право на жительство. В XVIII веке в Париже кошек, зашитых в мешки, сжигали в праздники в знак очищения от скверны, а в провинции их поджигали и выпускали на улицы, и эти мечущиеся факелы были прелюдией к началу площадных танцев. В Бельгии и сейчас есть праздник весны — Ипрес, когда с колоколен соборов сбрасывают игрушечных котов. А еще в начале XIX века сбрасывали живых. И фольклор хранит старинное шутливое пренебрежение к кошачьей жизни: "Так мало воды, — говорится в русской поговорке, — что кошку не утопить".

Почему именно кошки стали символами зла, пособницами ведьм? Ведь они начали свою совместную жизнь с человеком со взаимовыгодной сделки: как только люди начали хранить зерно, так сразу в хранилищах появились крысы, а за ними — дикие кошки-крысоловы. С этого бесплатного вспомоществования и началась в человеческой истории "кошачья эпоха". И еще в середине XX века хозяйственная роль кошек была достаточно велика. Брэдшоу пишет в предисловии к книге:

В детстве я думал, что кошки — не домашние животные, а фермерские, как козы или куры. Они питались крысами и мышами, жили в амбарах и выращивали котят на сеновалах. Только когда мы переехали в город и мне купили котенка, я узнал, что кошки ласково мурлычат, спят у людей на коленях и трутся боками о хозяйские ноги. Наверное, тысячу лет назад эта способность к ласке некоторых диких африканских кошек и стала причиной того, что их пустили в жилища. Сейчас подавляющее большинство обладателей кошек ценят именно их грациозную ласковость и домашнюю уютность, но нельзя забывать, что бóльшую часть своей длиннющей истории кошки зарабатывали себе право на кров охотой, служа природной санинспекцией продуктовых запасов.

Трансформация кошек из экстерминаторов в компаньоны и сожители произошла сравнительно недавно, очень быстро и (если думать о перспективах кошек как биологического вида) — не полностью. Кошки стали в некотором смысле жертвами собственной популярности. Сейчас даже большинство владельцев кошек не хотят, чтобы их питомцы убивали маленьких птичек и мышек. Все слышнее и враждебнее звучат голоса защитников экологии (моя соседка в маленьком городке штата Нью-Джерси, например, грозилась убить нашу кошку, после того как стала свидетельницей ее удачной охоты). "К счастью, — пишет рецензент книги Стивен Пул в газете "Guardian", — кошки пока не знают, что снова стали предметом осуждения (если не ненависти)". И — далее:

Одни экологи обвиняют кошек в истреблении певчих птиц. Другие возражают, что птичек истребляют более крупные птицы, например, паразитические cow birds (вроде наших кукушек), а

также крысы, поголовье которых, кстати сказать, кошки-охотницы все еще снижают. А третьи экологи считают, что главная причина исчезновения певчих птиц — разрушение мест их обитания, и это дело не кошачьих лап, а человеческих рук.

Претензии к домашним кошкам по поводу истребления певчих птичек бесспорно преувеличены, но так или иначе во многих кошках все еще живут неистребимые инстинкты хищников. И не только они.

У кошек, не в пример собакам, мало развита способность, которую называют social skills — то есть способность к общению с другими существами. Больше всего это касается отношений с другими кошками, но и люди, как правило, не заслуживают горячей любви. Легендарная кошачья независимость, так весело изображенная Киплингом в сказке "Кошка, которая гуляла сама по себе", делает кошек довольно странными "друзьями человека".

Оставшись на несколько недель в доме без хозяина, под присмотром чужих людей, кошки если и скучают, то несильно, а вот перевезенные в чужой дом, на чужую территорию, страдают сильно и заметно. (У моей кошки от нервного стресса появилось на глазу серое "третье веко", и посетитель в приемной ветеринара, куда я ее принесла, укоризненно спросил меня: "Чем же вы так расстроили свою кошечку?") Один из читателей книги "Кошачий разум" написал в отклике: "Мы любим их больше, чем они нас. Если в дом вломятся бандиты, мой кот, вероятно, зевнет и начнет вылизываться, глядя как меня убивают". А автор книги Брэдшоу пишет:

Могут ли кошки в будущем стать более толерантными, покладистыми и общительными, не потеряв при этом своей уникальной привлекательности? Я не уверен, что кошки как вид двигаются в правильном направлении. Но кое в чем мы можем им помочь — например, изменить практику селекции. Большинство владельцев котов и кошек первым делом кастрируют их, не получив от них ни одного помета. И размножаются, в основном, одичавшие бездомные особи с самыми сильными инстинктами и свойствами древних хищников. А самые ласковые, одомашненные и доброжелательные — остаются без потомства. Но чем больше я изучаю этих животных, тем больше убеждаюсь, что с ними нельзя пускать дело на самотек. Если нас заботит будущее кошек, мы должны сами заняться их разведением.

Теперь я очень рада, что дала своей кошке родить — один раз, но зато сразу пятерых котят (которых, когда они подросли, расхватали соседи). Правда, я сделала это без всякого научного обоснования — просто из женской солидарности.

Рисунок Хэнка Хинтона

Среди книг

с Ольгой Балла

Роман прояснения. Художественная антропология Петера Надаша

Петер Надаш *Книга воспоминаний*: Роман / Перевод с венгерского Вячеслава Середы. — Тверь: Kolonna Publications, Митин журнал, 2014. — 778 с.

Эта книга — событие сама по себе, эмоциональное, чувственное, даже если ничего не знать о ее авторе. Между тем Петер Надаш (р. 1942) — один из важнейших европейских писателей XX–XXI веков.

Он не слишком у нас известен и еще менее того прочитан, хотя за последние десять с небольшим лет по-русски были изданы: книга “Конец семейного романа” [2004], сборник эссе “Тренинги свободы”

[2004[, повесть “Собственная смерть”[“ИЛ”, 2010, № 3] и эссе “Прогулка вокруг дикой груши” [“Звезда”, 2011, № 3].

В Венгрии же успело выйти 17-томное собрание его сочинений, сам Надаш трижды — в 2011, 2012 и 2013 годах — был номинирован на Нобелевскую премию. Но дело тут не в количестве и даже не в Нобелевской премии, которая, кажется, давно уже не отражает истинного масштаба литературных событий. Важно, что Надаш по сию пору — и совершенно не заслуженно — оставался на периферии русского читательского внимания и русской литературной рефлексии.

“Книга воспоминаний” писалась на протяжении одиннадцати лет и, несмотря на труднопереводимость и сложность восприятия, снискала ему стремительную и шумную славу за пределами отечества: высшая литературная премия Австрии, премия “Лучшая иностранная книга года во Франции”, редкостно высокие тиражи и переиздания в Германии.

Первое определение “Книги...”, что настойчиво напрашивалось на язык автору этих строк по мере продвижения вглубь разворачиваемых Надашем внутренних пространств — “роман воспитания”. Тем более что, если говорить формально — очень формально, вплоть до искажающего огрубления, — так оно и есть. Тут же с неменьшей настойчивостью предлагает себя и еще одно готовое определение — любовный роман.

Итак, нам рассказана история взросления героя (героев?), его (их?) семейных отношений, дружб, любовей, страстей, формирующих травм, его инициации в Большую Историю во время венгерской революции 1956 года, вживания в новую для себя немецкую культуру, выработки нового понимания, освоения и принятия самого себя. Чего уж классичнее? Стержень всего (опять-таки классичнее не бывает) — любовь и родственные ей, пограничные с нею, состояния: очарованность, чувственная взволнованность и уязвленность. Это они — подробно и остро пережитые — ведут и тащат растущего героя, заставляют его ориентироваться в жизни, понимать то, что происходит в социуме, оказываются для него проводниками смыслов, едва ли не насильно открывают ему глаза, которые он и рад бы закрыть. При этом любовь часто гомосексуальна, и описывается это с обескураживающей, если не шокирующей, откровенностью. Так откровенно не всякий говорит и с самим собой — защитные механизмы, тщательно, на протяжении столетий вырабатывавшиеся европейской культурой, этого обыкновенно не позволяют. Надаш сокрушает защитные механизмы. Он заставляет читателя смотреть прямо в лицо тому, что происходит во внутреннем мире человека, — без фильтров. Без дистанции.

Итак, история (и История), увиденная изнутри, в наплывающих друг на друга воспоминаниях с их нелинейным временем, с характерной для них, по видимости, произвольной — но безупречно следующей единственной в своем

роде личной логике вспоминающего — сцепкой между отдельными эпизодами.

Куда вернее, впрочем, будет отнести "Книгу..." к той ступени развития европейского литературного сознания, что следует за "романом воспитания" и во многом преодолевает его. Ее, в свою очередь, точнее всего было бы назвать, пожалуй, "романом прояснения".

Сколько там, кстати, героев — главных, изнутри которых все пережито?

"Я сочинил <...>, — предуведомляет Надаш с самого начала, — воспоминания нескольких людей, живших в разное время, нечто вроде 'Параллельных жизнеописаний' Плутарха". Один, немец Томас Теннисен, живет в Германии начала XX века (не он ли — "дедушка Мельхиора", любимого человека одного из героев?). Другой, ровесник и соотечественник автора, взрослеет в Будапеште середины 1950-х и благополучно доживает до тех самых тридцати лет, которых достиг и Теннисен. Третий, нежданно возникающий в предпоследней главе книги, — друг детства второго героя и адресат его отроческой любви, Кристиан Шоми Тот, сообщает нам о гибели второго под колесами мотоцикла. "Две раздробленные ноги, проломленная грудная клетка и развороченный череп — таким его принесли назад", — пишет он, (якобы) продолжая "восьмисотстраничную рукопись" покойного друга. Четвертый живет в Восточном Берлине начала 1970-х — подобно второму, ровесник и соотечественник автора, и тоже безымянный... — на самом деле второй (Да! То, что происходило в детстве второго, он рассказывает любимому Мельхиору как собственные свои воспоминания). Значит, не четверо, а трое? Или двое (Кристиан — одна из масок все того же выжившего героя)? А что, если на самом деле герой-наблюдатель здесь попросту один? Он всего лишь живет собственные параллельные жизни. Недаром так легко — не заметив границы — перейти из одной в другую. И Теннисен — тоже он. Ведь "восьмисотстраничная рукопись", которую продолжает Кристиан, обрывается на фразе, написанной именно Теннисеном (будто бы) в начале XX века!

(Впрочем, разные пласты происходящего в книге автор умеет подгонять друг к другу так, что читатель почти — а то и вовсе — не замечает перехода из одного в другой.)

Кстати, имени этого героя мы так и не узнаем. Что, кажется, лишний раз подтверждает: настоящий, единственный — именно он. Где имена — там маски.

Если "роман воспитания" — история того, как человек выстраивает и выращивает себя в соответствии с некоторой "правильной" моделью, отсекая, подавляя или преодолевая в себе все, что в эту модель не укладывается, поднимаясь от более низких уровней к более высоким, — то в данном случае перед нами нечто, способное показаться даже противоположным. Во всяком случае, иначе устроенное. Это разворачивающаяся в нескольких (взаимопроницае-

мых!) временах история прояснения человеком самого себя, своего устройства и собственных внутренних движений. Никакой "правильной" модели существования у Надаша нет и, соответственно, отсечения в угоду ей каких бы то ни было областей внутренней жизни здесь не происходит. Скорее, как раз напротив: все большее число событий, явлений, особенностей, странностей и неудобств этой жизни втягивается в круг света, проговаривания, осознания. Независимо от того, что по их поводу предписывают действующие в текущий исторический период нормы и культурные матрицы.

Это тоже своего рода воспитание. Даже вполне в просвещенческом духе: выращивание человека в свете ясного ви́дения. Осознание здесь постепенно отвоевывает некоторые пространства у неосознанного, принятое — у непринятого и отчужденного. Ясность — у хаоса. Свет — у тьмы. На протяжении книги происходит открытие многомерности человека — трудное, как настоящему открытию и положено. Возрастание ясности.

Разве что оно ничуть не радостное. В нем нет торжества и победы. В мире Надаша человек — не победитель. Скорее наоборот.

Проясняется в книге и это обстоятельство.

Человек у Надаша не преодолевает хаоса, не космизирует его — он всего лишь осознает его как важнейшее исходное условие собственного осуществления в мире. Человек даже не бросает этому хаосу (героическому, обреченному) вызова: в этом смысле мир Надаша не трагичен. Он всего лишь страшен — в своей чуждости человеку. Этот мир не видит человека (потому и не может быть сочтен полноправным его партнером по взаимодействию и противоборству). Глаз его на человеке не фокусируется.

Тело же, о котором тут, казалось бы, речь на каждом шагу, — не более чем следствие и инструмент. Оно здесь — все целиком — орган ви́дения. Да, Надаш чрезвычайно и подробно физиологичен, но то, о чем зде́сь говорится, стоило бы назвать "физиологией смысла" — с акцентом не на первом слове, но на втором. Психологичен автор ничуть не в меньшей степени — он создает детальнейшие слепки с переживаемых героями состояний, в которых душевное от телесного попросту неотделимо.

Для Надаша тело, его состояния и реакции — может быть, единственное, на что человек может опираться и хоть как-то ориентироваться в мире. Это — зона достоверности. И столь подробно говорится о нем именно поэтому.

"Все истории этого романа, — завлекает нас, как это ей по жанру и положено, аннотация на четвертой обложке книги, — истории телесных взаимодействий". Так вот, это, как ни удивительно, — совершенно не так. Вернее, знаете ли, — не более так, чем в каком бы то ни было классическом романе — хоть в "Анне Карениной". Разве что описано с существенно большей подробностью, с естествоиспытательски-внимательь-

ной реалистичностью (венгерский критик Жолт Баги небезосновательно отнес "Книгу воспоминаний" к "новому реализму").

Но, по сути, дело здесь вообще не в телесных взаимодействиях (людей с миром и друг с другом). Оно лишь в том, что со всем пережитым, а поэтому с самим собой, делает наблюдающее сознание. Приключения сознания, странствие его из жестокого хаоса детства в жестокий хаос зрелости и далее. Преимущества второго хаоса перед первым — исключительно в степени осознанности.

Эта книга о внутренних событиях и о том, как они устроены.

Роман — в гораздо более буквальном смысле "Книга воспоминаний", чем если бы, допустим, рассказанное в ней было настоящими личными воспоминаниями автора. Надаш, кстати, с самого начала предупреждает, что это не так.

Да, элементы личного опыта тут есть. Хотя бы уже потому, что Надаш, родившийся в 1942-м, взрослевший в социалистической Венгрии 1950-х, — ровесник, современник и "сопластник" своего героя. В их чувственном, предметном опыте — хотя бы в организации семейного и школьного быта, в проживании будапештского городского пространства — неминуемо много общего. Их роднят и обстоятельства более частные: смерть матери от рака, самоубийство отца. Но дело совсем не в этом.

Дело в том, что время в романе — насколько такое вообще возможно передать письменно — организовано в точности так, как время воспоминаний, линейное лишь на отдельных участках. Всякий, хоть сколько-нибудь обращавший на это внимание, знает, что все пережитое однажды и затем приходящее на память время присутствует в нас сразу, одновременно, а разные его части — те самые линейные участки — соединяются друг с другом, повинуясь исключительно ассоциативным связям да эмоциональным движениям. Из одного времени в другое здесь можно шагнуть сразу, без опосредующих звеньев; можно жить, думать и чувствовать в нескольких временах сразу.

В этом смысле роман Надаша — антропологичен. Он вовсе не об истории, он — о человеке.

История тут всего лишь одна из сил, с которой человеку приходится иметь дело; которая формирует, выявляет, калечит и губит человека. Но привилегий у нее нет: она не главная, она не застилает всего горизонта. История здесь не столько область сознательного действия и воздействия человека, сколько предмет претерпевания, подобно стихийным явлениям (кстати, очень возможно, что подобное восприятие истории — главной травмирующей силы XX века — это способ защиты от нее). В историю можно оказаться вовлеченным (в том числе против собственной воли), от нее можно пострадать — как случилось с любимой женщиной отца героя, Марией Штейн, которую пытали в сталинской охранке и, по всей ве-

роятности, лишили рассудка. От нее вполне реально погибнуть — так происходит, например, с другом героя, Кальманом, одним из центральных персонажей его детства, который оказался случайной жертвой будапештских событий октября 1956 года. Описание смерти Кальмана, кстати говоря, занимает гораздо меньше места, чем, допустим, какая-либо ситуация сближения и взаимного отдаления героя с его берлинской любовью, Мельхиором. Как, впрочем, и всех других происходящих здесь смертей! — почти все они: смерть матери, смерть сестры, за исключением разве самоубийства отца — на периферии повествования. У меня есть версия, почему это так: "Книга воспоминаний", как и было сказано, — о внутренних событиях. Любовь — событие внутреннее. Смерть — нет. Не говоря уже о том, что во внутреннем мире все умершие остаются живыми — и к ним в любой момент можно вернуться в воспоминаниях. Там нет времени. Смерть отца, переломившая жизнь героя, стала для него, видимо, внутренним событием.

Здесь вообще подробно говорится только о том, что стало внутренним — вросло внутрь. О том, что так и осталось (или вновь стало) внешним — кратко, конспективно, отчужденно. И существенно проще даже на синтаксическом уровне.

Так вот, возвращаясь к истории: при всем мыслимом разнообразии взаимодействий с нею невозможным оказывается, пожалуй, только одно — с ней нельзя сделать ничего существенного по собственной воле и собственным соображениям. Разве что использовать ее для проживания собственных чувств. Или уйти из одного потока истории в другой: скажем, из Будапешта — в Восточный Берлин. Где она по-прежнему останется внешней, чужой, странной. Вот, пожалуй, самое верное слово для обозначения истории в том качестве, в каком она предстает глазам надашевского наблюдателя: она странна (посторонняя — и уклоняется от понимания). В точности, как замурованные станции берлинского метро, мимо которых проносятся в западную часть города невидимые поезда, на которые, к изумлению чужака-иностранца, каким-то образом попадают и непонятно как оттуда выбираются вооруженные охранники.

Само переселение из Будапешта в Восточный Берлин — тоже всего лишь перемещение из одной странности, родной и хоть как-то обжитой, — в другую, странную уже откровенно.

Конечно, это все еще и о том, что человек на самом деле живет помимо истории, — даже тогда, когда оказывается ее жертвой. Даже если она его убивает.

(Самый "историчный" из ведущих героев книги — из обликов ее многоликого героя — Кристиан: "вещества" истории, ее обстоятельств и бытовых подробностей в написанной от его лица главе больше всего. К слову сказать, его же глазами в этой главе показана нам Москва 1960-х годов, что для русского читателя составляет отдельный предмет инте-

реса. Этот герой как раз вполне успешно уживается с предлагаемой ему историей. С другой стороны, из всех повествователей книги Кристиан — человек наименее внутренний. Личная глубина и степень погруженности в историю, очевидно, связаны — по крайней мере, по мысли автора — обратной зависимостью.)

Даже центральное историческое событие книги — революция 1956 года — изображается Надашем как ни в малейшей степени не политическое, но своего рода телесное событие — как иное, измененное телесное и душевное состояние всех, кого она вовлекает. Юный герой повествования и рад быть вовлеченным: "Это, — убеждает он себя, — в полном смысле слова революция, и я в ней участвую..." — но дело-то в том, что для него это в первую очередь способ хоть как-то проработать отношения с собственным отцом — прокурором, человеком власти: "...революция, которую мой отец, будь он здесь, наблюдай он все это, хотя ясно было, что его здесь и быть не может, и неизвестно, где он сейчас с позором скрывается, назвал бы совершенно другим, прямо противоположным словом". Втянутость мальчика в революционную толпу — личный экзистенциальный акт, способ если и не решить личные неразрешаемые проблемы, то хотя бы изжить связанное с ними напряжение. "И от того, что два этих связанных между собою слова отразились в моем сознании так ясно и точно, я смог разобраться в хаосе эмоций, в жуткой, душащей и непроходимой путанице сходств и различий, всего два слова, смысл которых, их вес и значение я не по возрасту рано узнал как раз из их разговоров и споров, но хочу подчеркнуть, что в этот момент — и для меня это было революцией — я вспомнил эти слова, заимствовал из их лексикона не как пару противоположных в своей политической очерченности понятий, но как нечто глубоко личное, как если бы одно из них было его плотью, а другое — моей, как если бы каждый из нас стоял со своим словом по разные стороны одного, физически общего чувства, это революция, повторял я, словно бы адресуя слова ему, произнося их с чувством какой-то очень темной мести..."

Эта революция — событие предельно внутреннее. Потому о ней и говорится взахлеб — длинными, бесконечно длинными предложениями: одно растет из другого и все никак не остановится. Вообще, у Надаша чем внутреннее, чем лично значительнее событие — тем сложней и ветвистей речь о нем. О чем короткими, рублеными фразами — то отсекается от себя. Так происходит в конце книги, где герой держит в руках открытку от бежавшего на Запад и безнадежно утраченного им Мельхиора. Тут — впервые — герой отсекается даже от себя самого: первое лицо, державшее на себе, в четырех своих вариантах, все повествование на протяжении восьми сотен страниц, исчезает — и возникает отчужденное третье. Даже без имени. "Другой". "Он". В общем-то кто угодно.

“А другой, все еще стоя в чужом доме с этим посланием в руках, смотрел то на морской пейзаж, то на исписанную сторону открытки.

Как же все просто.

Он думал, как просто все.

Да, все просто, все было невероятно просто”.

Где начинается такая простота — оттуда настоящая жизнь уже ушла.

Надаш — наследник и продолжатель на новой почве и основательного, подробного психологического романа XIX века, и австро-венгерского способа видеть и чувствовать человека и мир, и соответствующей этому способу литературной традиции. Австрийцы усматривают сущностное родство между Надашем и одним из величайших писателей Австрии XX века Робертом Музилем; соотечественник Надаша, критик Шандор Радноти, прямо называя Музиля вместе с Томасом Манном в числе источников влияния на писателя, добавляет в их ряд Германа Броха, Йозефа Рота, Рихарда Беер-Хофмана (а из иных культур — французов Флобера, неминуемого Пруста и Жана Жене).

Еще в 1992-м, во время вручения венгерскому писателю Австрийской государственной премии за развитие европейской литературы, представитель австрийской стороны Франц Рихтер обратил внимание: Надаш сделал для описания телесных процессов то же, что Музиль — в отношении событий душевных, чрезвычайно повысил и развил точность их описания. Более того, стоящая эпиграфом к “Книге воспоминаний” цитата из Евангелия от Иоанна — “А Он говорил о храме тела Своего” — призвана указывать, говорил он же, на духовную сущность телесного мира человека.

Эту формулировку хочется, однако, оспорить. Надаш отнюдь не “спиритуализирует” тело — хотя бы уже потому, что ни к какому трансцендентному миру (традиционно ассоциирующемуся с “духовным”) телесные события, как, впрочем, и всякие иные, у него не отсылают. Он, скорее, описывает человека так, что попросту снимает традиционное, до очевидности привычное — но от того не менее огрубляющее и искажающее — деление человека на “телесную”, “душевную” и “духовную” части. О процессах, которые он прослеживает в тончайших деталях, трудно — да, собственно, и совершенно не нужно! — сказать, “телесные” они или “душевные”. Тело у него продолжает и усиливает душу; душа смотрит на мир громадным глазом тела — они проникнуты друг другом в каждой точке. Возможности такого описания были уже у Музиля и Пруста, но Надаш из тех немногих, кто пошел по намеченному ими пути еще дальше и довел начатое ими до логических следствий. Вопреки, опять же, расхожим представлениям о том, что художественная оптика XX века — это оптика распада, Надаш культивирует оптику единства и цельности. И вот еще одно опровержение стереотипов: эти единство и цельность нисколько не гарантируют ни гармонии, ни хотя бы комфорта. Они умеют быть не менее катастрофичными, чем сам распад.

Но в чем уже упоминавшийся нами австрийский читатель Надаша Франц Рихтер несомненно прав, так это в том, что венгерский писатель ставит "основные человеческие вопросы, однако не теоретически" — его ви́дение этих вопросов дано исключительно в форме частных мнений, чувств и реакций его героев. То есть, по существу (добавим уже от себя), Надаш решает задачи, традиционно входящие в круг забот философии, исключительно эстетическими средствами — ни на шаг не выходя за их пределы.

Безусловно права и Сьюзен Сонтаг, назвавшая "Книгу воспоминаний" "величайшим романом современности и одной из самых великих книг XX века": прочитав этот текст с должной степенью пристальности, остаться прежним, кажется, уже невозможно. Надаш — из тех, кто вырабатывает новое ви́дение и понимание человека.

Среди предшественников, шире — культурных корней этой книги, ее оптики и диктуемой ею стилистики, невозможно не вспомнить и Фрейда. Можно сказать, что это Пруст, тщательно усвоивший уроки Фрейда и пропущенный через катастрофический опыт второй половины центрально-европейского XX века. Через такой опыт, на который медленными прустовскими глазами, казалось бы, вообще невозможно смотреть. У Надаша получается.

От Фрейда здесь — пристальное внимание к движущим человека эротическим импульсам и мотивам, к неразрывной их связи с на́силием, самоутверждением, познанием. Но есть и существенная разница. У Фрейда, прямого наследника Просвещения, смысл всего предприятия принципиально другой, рационалистический, утопический: где было "Оно" — должно стать "Я". В человеке Надаша "Я" и "Оно", "культура" и "природа" борются на равных — как два равновеликих, равномощных ареала бытия, потому ни одному из них и не суждено одержать верх: здесь человеческая на́тура борется сама с собой. Схватываются, меряются силой — и вполне способны искалечить друг друга — ее правая рука и левая.

Нет — почти на равных. "Оно", кажется, все-таки сильнее. "Я", в отличие от него, всего лишь способно о себе внятно заявить — обладает преимуществом голоса. И "Оно" этим "Я" и его голосом вовсю пользуется — как возможностью высказаться (иной раз и не поймешь: кто из них говорит?). Надаш — человек постутопического мира. В этом мире нет утешения. Но есть любовь.

Среди книг

с Алексеем Курилко

Жив ли Шевченко?

Анатолий Крым *Украинская каб(б)ала.* — Харьков.: Книжный клуб "КСД" (Клуб Семейного Досуга), 2014. — 332 с.

В географии я профан. Как в теории, так и в практике. И в политике не силен. Но в качестве литератора я готов авторитетно, со всей ответственностью заявить, что в отличие от многострадального полуострова Крым, писатель Анатолий Крым — это полноценный, ни от кого не зависящий, до сих пор окончательно не изведанный крупный остров в бескрайнем и бушующем океане художественной словесности. И вот он-то уж точно наш! Наш остров свободы, юмора, сатиры и философии. Всецело наш, хотя следует признать, что остров этот многонациональный, там легко и мирно, дополняя и обогащая друг друга, уживаются русская, украинская и еврейская культуры. Остров Крым — настоящий остров сокровищ, которыми он делится с читателями, упаковывая свой драгоценный дар в книги. Таким образом, "Украинская каб(б)ала" — очередной щедрый подарок из сокровищницы Крыма.

Порезвившись, я вынужден перейти на не свойственный мне серьезный тон, поскольку искренне хочу заразить вас тем восхищением, которое испытал, читая Анатолия Крыма — известного украинского писателя и драматурга (живого классика отечественной литературы). А я всегда восхищаюсь, когда случается читать добротно сделанную вещь. Ведь это такая редкость, если мы говорим о современной литературе. Но не будем о грустном. Поговорим о романе Крыма.

Уже в самом заглавии интрига двойного подтекста: Каббала — еврейское мистическое учение и кабала — неволя, рабство. Возможно, уже самим названием автор намекает, что с неистребимым в нашем обществе, а главное — в нашем сознании рабством можно бороться единственно только с помощью колдовства. Другими словами, наше рабство в нас неискоренимо!

Вполне можно допустить, что именно об этом кричит текст романа. Вернее, и об этом тоже.

Аркадий Белинков справедливо утверждал, что настоящий художник — это человек, которому есть что сказать людям, однако он никогда не говорит прямо и просто, какими-то сухими тезисами. Художник, писал Белинков, приводит впечатляющие примеры, рассказывает увлекательные

притчи. И, дескать, вместо простых слов “не хочу в ссылку” он говорит то, что останется в веках, слагает стихи про тучки небесные, вечно странствующие. Цепью, мол, жемчужною мчатся, изгнанники, на чужбину, мол.

Так вот, Крым, дабы честно рассказать нам о многих очень неприятных и даже страшных вещах, написал сатирическую, местами гомерически смешную, необыкновенную и увлекательную историю.

Это по-настоящему сильно! И невероятно смешно! Но смех, особенно ближе к финалу, какой-то горький... Точнее, гоголевский... А еще точнее, булгаковский! И есть над чем подумать, отсмеявшись, и погрустить...

Чего стоит один только сюжет! Некий Семен Либерман, ученый-еврей, интеллигент-неудачник, с помощью Каббалы воскрешает великого украинского поэта Тараса Шевченко. За Либерманом, чья семья уже уехала на историческую родину, и за его “творением” устанавливается круглосуточное наблюдение со стороны правоохранительных органов. Либерман помогает вернувшемуся классику адаптироваться в новых для него условиях, готовит его к приближающейся юбилейной дате — двухсотлетию со дня рождения Кобзаря, давно ставшего национальным символом Украины. Всех посвященных в тайну чудодейственного клонирования, равно как и читателя, интересует: понравится ли великому поэту современная “незалежна” Украина и украинцы? Но еще интереснее: понравится ли украинцам Тарас Шевченко? Живой! Не тот, что на купюре (почему-то вспоминаются стихи Вознесенского “Уберите Ленина с денег”), не тот приглаженный, кастрированный, из школьных учебников, не тот медноликий, покорно склонивший голову перед университетом, что ныне носит его имя, стоящий словно перед расстрельной командой, не тот угрюмый, смурной сельский дядька в кожухе, а живой! Вспыльчивый, гордый, тщеславный, влюбчивый, практичный, а порой добрый, мягкий, сентиментальный, несколько наивный, но до глупости честный и справедливый... Поэт, гражданин, патриот... Работящий... С крутым мужицким нравом... Словом, живой. Со своими достоинствами и недостатками... Который может и выпить, и полезть в драку, и пойти против власть имущих... Почти как Пушкин в книге Вересаева: “грешный, увлекающийся, часто ничтожный, прямо пошлый, — и все-таки в общем итоге невыразимо привлекательный и чарующий человек. Живой человек, а не иконописный лик поэта”. И нужен ли он такой?

Я не хочу подробно пересказывать роман, чтобы не раскрывать вам, если вдруг еще не читали, всех тайн и не сбавлять градуса впечатлений от мастерского плексуса всех линий повествования, но уже после первых глав романа от книги нельзя оторваться. И скоро становится ясно, что живой Шевченко — такой, каким он был на самом деле, — никому в современной Украине не ну-

жен. Ни исследователям его жизни и творчества, ни собратьям по перу, ни правительству, ни, что ужаснее всего, народу. Тут впору вспомнить Пушкина, высказавшегося о черни: "они любить умеют только мертвых". Показательно, что ожившего классика даже в "спилку литераторов" не приняли. Впрочем, в этом как раз ничего удивительного нет, ведь у Шевченко безусловно есть талант, а мы же понимаем: чем больше талант, тем меньше шансов быть принятым в тесный круг привилегированных "инженеров человеческих душ". В общем, явление Кобзаря народу вместо ожидаемой осанны вот-вот вызовет крик "Распни его!". А многочисленные пилаты умоют руки. Не в первый раз великий человек попадает в разряд литературного типа "лишних людей". Говоря словами ученого Либермана: "Ты им нужен как икона, а не живой"...

Это то, *о чем* повествует роман. О том, *как* — речь ниже. Но прежде я хотел бы задать вопрос *зачем?* Я знал ответ, но мне хотелось убедиться. Услышать лично от автора. Я пригласил Анатолия Исааковича поговорить в прямой эфир на одну киевскую радиостанцию. Крым принял приглашение, хотя был после долгой болезни, всего неделю как из больницы. Ему было очень тяжело, но он не отказал мне в просьбе встретиться и побеседовать о литературе, сатире, о жизни и смерти... Интересный собеседник. Среди прочего он сказал: "Шевченко в Украине — зацелованная икона. А для меня он живой человек. Я изучал его жизнь, его наследие... Это большой художник, необыкновенная личность". Вот с этой необыкновенной личностью книга Крыма и знакомит читателя. Это знакомство впечатляет. Крым рассказывает многое из того, о чем заслуженные шевченковеды не любят упоминать. Но в отличие от Шевченко из книги Олеся Бузины, здесь поэт не вызывает отвращения, напротив, он становится ближе, понятнее...

"Мой Шевченко в книге, — признался однажды Крым, — это умудренный человек с большим опытом, познавший много горя и чуть меньше любви. И его 'приглашают' как бы с 'того света' на 'этот'".

Но этот свет уже напоминает ад. Мы этого не замечаем, мы привыкли, мы сжились с ним, а у Шевченко взгляд со стороны, незамыленный, свежий... И ему страшно. Не такой ему грезилась свободная Украина. Интересно и страшно смотреть на наш мир глазами классика. Множество неприглядных фактов нашей современной жизни узнается на страницах романа.

Читается книга необыкновенно легко. Крым — превосходный стилист. Ему подвластна любая манера письма. Дневник Шевченко, милицейский протокол, стенограмма собрания членов правления "спилки пысьменникив", письма еврейской мамы... Крыму удаются разные голоса. Тут во всей красе проявляется его драматургический дар.

Конечно, роман прежде всего сатирический. По мнето — лучший роман в этом подзабытом жанре. Но лучший

отнюдь не потому, что единственный, нет. Хороших сатирических романов в Украине действительно немного. Конкретно их два. "Украинская каб(б)ала" Анатолия Крыма и "Труба" его же. По сути, Крыму приходится состязаться с самим собой. Это хорошо. Для Крыма. При любом раскладе он остается в выигрыше.

"Труба", при всех своих достоинствах, проиграла "Украинской ка(б)бале" вчистую, по всем параметрам. Этот роман проще. И фабульно, и стилистически. Да и сама сатира не так остра. Все не столь тонко, прямо в лоб! И высмеиваются в первую голову первые морды (откуда лица?) государства. В "Украинской каб(б)але" досталось всем: писателям, художникам, чиновникам, правоохранительным органам, нации... Но чувствуется, что, обличая других, автор и сам ощущает боль...

Тогда все-таки зачем? Для чего так и об этом писать? Не жалея ни других, ни себя... Да и по головке за такой роман никто не погладит. И как он не боится? Ведь свобода слова у нас только на бумаге, эту фразу нельзя понимать буквально.

В одном интервью Анатолий Исаакович сказал: "Во все времена писатель борется с властью. И это его задача".

Боюсь, тут Крым ошибается. Всё с точностью до наоборот. Во все времена власть борется с писателями. Со времен Шевченко и до наших дней. Ее задача — писателя подмять, сломать, купить или уничтожить. А задача писателя — выстоять в этой неравной борьбе и успеть сказать людям правду, ни единой буквой не солгать. Крым не куплен и не сломлен, он продолжает говорить правду. Но слышат ли люди нынче писателя? Не уверен.

А я рекомендую прислушаться...

Хотя с каких пор я верю, будто литература может сделать мир лучше? С недавних, представьте себе. Не переделать, конечно, а подтолкнуть к переменам, не мир, а человека... Мне лично хочется в это верить...

Наверное, я идеалист, как и Либерман. Он любит Украину. И хотел бы для нее сделать что-то хорошее. И он, уезжая, оставляет ей Шевченко. Пусть у них будет любовь. Пламенная... Кстати, я вначале думал, что Пламенная Л. Б. — бедовая и распутная соседка Либермана — олицетворяет в романе Украину. Хотя бы из-за того как обходятся с этой женщиной мужчины, наделенные властью. Ее попросту имеют. Но я ошибся.

"Доводилось ли вам, уважаемые дамы и господа, видеть ребенка, потерявшегося в огромном супермаркете? Все бегут к прилавкам, толпятся в очередях, дерутся, ссорятся, а он стоит посреди огромной залы — одинокий, растерянный, озираясь в поисках родителей". Так в своей нобелевской речи говорит Либерман, предлагая на место ребенка мысленно поставить страну, "которая не в состоянии выбрать свою дорогу без поводыря". Читая финал романа, я легко представил себе эту картину, заставившую сердце

биться тревожно. А Крым дальше пишет: “История Украины жестока и трагична. Пытаясь отыскать свои корни, ее народ не может ответить на самые простые вопросы, которые задают заблудившемуся ребенку: как твое имя? кто твои родители? где ты живешь?” Вот кто главная героиня романа — Украина, для которой Либерман оживил ее духовного лидера. Но поняв это, едва удерживаешь слёзы...

В конце нобелевской речи Либерман попросил комитет поставить два стула. Для его матери и для Шевченко. Но его мама умерла... Ее уже нет! Жив ли Шевченко? Вот в чем вопрос. Вопрос риторический.

Авторы номера

Рут Правер Джабвала
Rut Prawer Jhabvala
[1927–2013]. Англо-американская писательница, киносценарист. Лауреат Букеровской премии [1975], премий BAFTA [1983], *Грант гения* [1984], *Оскар* за лучший адаптированный сценарий [1986, 1992], О. Генри [2003]. Обладатель ордена Британской империи.

Автор более десятка романов, четырех сборников рассказов и множества сценариев. К числу ее романов, написанных, в основном, об Индии и встрече европейца с Индией, относятся такие, как *Природа страсти* [*The Nature of Passion*, 1956], *Домовладелец* [*Householder*, 1960], *Поэт и танцовщица* [*Poet and Dancer*, 1993], *Мои девять жизней* [*My Nine Lives*, 2004]; сборники рассказов и эссе *Как птицы, как рыбы* [*Like Birds, Like Fish*, 1963], *За пределами Индии* [*Out of India*, 1986], *Простые истории Нью-Йорка и Нью-Дели* [*Plain Tales from New York and New Dehli*, 1986], мемуаров *Черепки памяти* [*Shards of Memory*, 1995], киносценариев к произведениям Г. Джеймса, Э. М. Форстера, К. Исигуро и многих других. По-русски были изданы ее рассказы [изд-во Радуга, 1990; *ИЛ*, 1993, № 9; *Лехаим*, 2006, № 2].
Роман *Жара и пыль* переведен по изданию *Heat and Dust* [Abacus, 2014].

Елена Алексиева
Елена Алексиева
Болгарский поэт, прозаик, драматург. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Геликон* [2006], *Аскеер* [2013], *Икар* [2015]. Награждена призом Общества независимых театральных критиков Болгарии [2014].

Автор сборников стихов *Петля на сердце* [*Бримка на сърцето*, 1994], *Лицо ангела-палача* [*Лице на ангел екзекутор*, 1996], сборников рассказов *Группа читателей 31* [*Читателка група 31*, 2005], *Кто* [*Кой*, 2006], *Синдикат домашних любимцев* [*Синдикатът на домашните любимци*, 2010], романов *Синяя лестница* [*Синята стълба*, 2001], *Рыцарь, дьявол, смерть* [*Рицарят, дяволът, смъртта*, 2007], *Она здесь* [*Тя е тук*, 2009], *Нобелист* [*Нобелистът*, 2011] и сборника пьес *Ангельский огонь* [*Ангелски огън*, 2014].
Премьера пьесы Мадам Мисима [*Мадам Мишима*] [совместная работа коллективов *Артсензориум* и театра *София*] состоялась в 2014 г.

Мелкер Инге Гарай
Melker Inge Garay
[р. 1966]. Шведский писатель. Мастер ультракороткого рассказа. Член Союза шведских писателей, член шведского ПЕН-клуба, член Союза писателей Чили.

Автор книг *Тайные заметки церковного сторожа* [*Kyrkvaktmästarens hemliga anteckningar*, 2008], *Йосеф Кински и смерть* [*Josef Kinski och döden*, 2009], *Скрипты на закате* [*Inskriptioner i skymningen*, 2010], *Диалоги* [*Dialogen*, 2011], *MCB* [*mcv*, 2014], *Пугало-сумеречные новеллы* [*Fågelskrämman – Skymningsnoveller*, 2015].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Крыса и другие злые рассказы* [*Råttan och andra onda berättelser*, 2013].

Герман Гессе
Hermann Hesse
[1877–1962].
Немецкий писатель, большую часть жизни

Автор повести *Под колесом* [*Unterm Rad*, 1906; рус. перев. 1961], романов *Игра в бисер* [*Das Glasperlenspiel*, 1943; рус. перев. 1963], сборника повестей *Последнее лето Клингзора* [*Klingsors letzter Sommer*, 1920; рус. перев. 1986]. В *ИЛ* публикова-

прожил в Швейцарии. Лауреат Нобелевской премии [1946].

лись его романы *Степной волк* [1977, № 4 – 5], *Демиан* [1993, № 5] и поэма *Сиддхартха* [1994, № 9], эссе [2004, № 10].
Перевод рассказов выполнен по изданию *Рассказы, 1900–1906* [*Die Erzählungen, 1900–1906*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003]

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии *Иноллитл* [2000], обладатель почетного диплома критики зоИЛ [2010], кавалер ордена Габриэлы Мистраль [Чили, 2002].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Далекие ласточки* [1995], *Зима империи* [1998], *Ангел дураков* [2012]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов Х. Маннрике, Г. А. Беккера, А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, Х. Гильена, Л. Сернуды, Р. Дарио, Г. Мистраль, Х. Лесамы Лимы, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Нельсон Олгрен
Nelson Algren
[1909–1981]. Американский писатель. Лауреат Национальной книжной премии [1949].

Первый рассказ *Так помоги мне* [*So Help Me*] опубликован в 1933 г. Самое известное его произведение – роман *Человек с золотой рукой* [*The Man with the Golden Arm*, 1949].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Неоновая пустыня* [*The Neon Wilderness*, 1947].

Александр Михайлович Стесин
[р. 1978]. Поэт, исполнитель собственных песен, переводчик современной американской поэзии на русский язык. По профессии врач-онколог. С 1990 г. живет в США.

Автор книг стихов *Мягкий дым тополей* [1998, на русском, английском и французском языках], *Точка отсчета* [Нью-Йорк: Слово / Word, 2002; на русском, английском и французском языках], *Часы приема* [М.: Русский Гулливер, 2010] и др. В *ИЛ* опубликованы его книга *Вернись и возьми* [2011, № 2, 6] и эссе *Мурси и пустота* [2014, № 12].

Владислав Отрошенко
[р. 1959]. Прозаик, член Русского ПЕН-центра и Союза российских писателей. Лауреат премий Артиада [1996]; журнала Октябрь [1999], Ясная Поляна [2003], литературной премии Италии Гринцане Кавур [2004], Горьковской литературной премии [2006] и др.

Автор книг *Пасхальные хокку* [1991], *Веди меня, слепец* [1994], *Персона вне достоверности* [2000], *Двор прадеда Гриши* [2004], *Тайная история творений* [2005], *Приложение к фотоальбому* [2007], *Дело об инженерском городе* [2008], *Гоголиана и другие истории* [2013], *.Сухово-Кобылин* [2014].
В *ИЛ* опубликован его текст *Метафизика Юга* [2009, № 4].

Марина Михайловна Ефимова
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света*.

Ольга Анатольевна Балла
Журналист, литературный критик. Зав. отделом философии и культурологии журнала *Знание-Сила*. Лауреат премии журнала *Новый мир* [2010] в номинации *Критика*.

Автор более тысячи статей и эссе, опубликованных в журналах *Новый мир*, *Знамя*, *Октябрь*, *Дружба народов*, *Вопросы философии*, *Новое литературное обозрение* и др., на сайтах радио *Свобода*, *Гефтер.ру*, а также сборника эссе в 3-х тт. *Примечания к ненаписанному* [USA, Franc-Tireur, 2010]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Алексей Леонидович Курилко
[р. 1976]. Писатель, публицист, эссеист, радиоведущий. Лауреат *Русской премии* [2010] и Гоголевской премии [2012].

Автор шести книг *Бег по жизни [2011]*, *Бег от смерти [2011]*, *Волчья* любовь [2012], *Земля вращается со скрипом* [2012], *Долгая дорога в ад* [2013], *Все женщины продаются* [2014]. Публиковался в журналах *Радуга*, *Крещатик*, *Флорида*, *Литературная Россия*, *Литerraтура*, *Эдита*, *Слово/Word*, *Самарские судьбы* и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Переводчики

Елена Малышева
Филолог, преподаватель английского и французского языков, переводчик с русского на английский и с английского на русский, социолог.

Живет и работает в Лондоне. В *ИЛ* публикуется впервые.

Валентина Владимировна Ярмилко
Болгарский переводчик, редактор, журналист. Ответственный секретарь болгарского информационно-ана-

В ее переводе с болгарского опубликованы рассказы Й. Радичкова [1988], романы Б. Апостоловой *Библия будней* [2003] и Н. Табакова *Не все тому быть* [2012], роман-трилогия З. Энева *Пустыня призраков* [2006], сборник стихотворений Б. Апостоловой *Состояние третье* [билингва, 2002]; на болгарский — пьесы В. Губарева *Саркофаг* [1980] и С. Михалкова *Все могут короли* [1981], рома-

литического сайта clubz-bg.ru на русском языке. Живет и работает в Софии. Лауреат литературной премии *Золотое перо Руси* [2007]. Кавалер ордена *Честь и достоинство* Ассамблеи народов России *за личный вклад в единство и процветание России* [2013] и медали *Генерал Скобелев* [2014].

ны Л. Гурченко *Мое взрослое детство* [1983] и *Аплодисменты* [1987]. В *ИЛ* публикуется впервые.

Катарина Мурадян

Переводчик с скандинавских языков, журналист, кандидат филологических наук, член Союза российских журналистов, член Союза писателей Москвы. Автор многих статей о современной литературе Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии, составитель сборников *Музыка голубого колодца* [1981], *Писатели Скандинавии о литературе* [1982], *Пир Бабетты* [1990] и др.

Переводила произведения А. Стриндберга, Г. Фрёдинга, Я. Бергмана, П. Лагерквиста, Л. Юлленстена, А. Лундквиста, С. Дельбланка, Б. Янгфельдта, С. Ларссона, Г.-Б. Сундстрём, А. Тунберга, Т. Клингберга, Э. Немерт, М. Марклунда, К. Бликсен, П. Хайна, К. Гамсуна, С. Унсет, Ю. Боргена, М. Рингбома, М. Антас, Л. Свендсена, Т. Эспедаля, С. Слапгард и др. Один из авторов нового двухтомного Норвежско-русского политехнического словаря [2012].

Вячеслав Глебович Куприянов

[р. 1939]. Поэт, прозаик, переводчик, член российского ПЕН-клуба, Лауреат Европейской литературной премии [Югославия, 1987], Премии министерства культуры и образования Австрии [2006], международной премии имени Бранко Радичевича [Сербия, 2006], международной премии *Моравская грамота* [Сербия, 2008], Бунинской премии [2010]. Обладатель Македонского литературного жезла [1999].

Автор сборников стихотворений *От первого лица* [1981], *Жизнь идет* [1982], *Домашнее задание* [1986], *Эхо* [1988], *Дайте договорить* [2002], *Лучшие времена* [2003], *Ода времени* [2010] и др., романов *Башмак Эмпедокла* [1994], *Синий халат Вселенной, или Ваше звероподобие* [2006] и др., повестей, рассказов. В его переводе выходили стихи Гёльдерлина, Новалиса, Р. М. Рильке, Б. Брехта, Э. Яндля, Х. Калау, Э. Фрида. В *ИЛ* в его переводе опубликованы стихи Х. Гриля, М. Крюгера, Х. Хартунга, Р. Герхардта, Х. М. Энценсбергера [2004, № 11], Х. Э. Пачеко [2014, № 12], рассказ Ф. Холера [2013, № 11].

Роман Михайлович Дубровкин

[р. 1953]. Поэт, переводчик с английского, французского, немецкого, итальянского, новогреческого; литера-

Переводил стихи Э. По, Г. Лонгфелло, Р. Киплинга, У. Б. Йейтса, Р. Фроста, П. Ронсара, В. Гюго, А. Рембо, Э. Верхарна, Г. Гейне, К. Брентано, Ф. Петрарки, Т. Тассо, Микеланджело, К. Кавафиса, Й. Сефериса, Я. Рицоса и многих других поэтов. Почти полностью перевел поэтическое наследие Стефана Малларме [1995 и 2012], издал в своих

туровед. Лауреат премии *Мастер* [2014] в номинации *Поэзия*.

переводах книгу Поля Валери [1992]. Составитель антологии *Итальянская поэзия в русских переводах* [1992], автор монографии Стефан Малларме и Россия [Берн, 1998] и ряда статей, посвященных русско-французским литературным связям. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Ольга Кулагина

Переводчик с английского и испанского языков, по образованию математик. Переводила тексты в области финансов и информационных технологий.

В ее переводе опубликованы три рассказа Д. Безмозгиса *Наташа*, *Хоински*, *Новое надгробие на старую могилу*. В *ИЛ* публикуется впервые.

Наталия Перова

Переводчик с английского, издатель (журнал *Глас*) русской литературы на английском языке.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

В оформлении обложки использован фрагмент картины хорватского художника Ивана Генералича [1914—1992] *Зимний ландшафт* [1941].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор Мария Макарова.

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
15.12.2015
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2098.
Тираж 2500 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.оаомпк.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.
Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

[2] 2016

РОМАН ХОРХЕ ИБАРГУЭНГОЙТИА “МЕРТВЫЕ ДЕВУШКИ” / РАССКАЗЫ АНН-ЛУ СТАЙНИНГЕР И ХУАНА ХОСЕ САЭРА / ПЬЕСА ГРЭМА ГРИНА “ПО КОМ ЗВОНИТ ЗВОНОК” / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: “ЛЖЕТРАКТАТ О МАНИПУЛЯЦИИ” АНЫ БЛАНДИАНЫ / №: ЭССЕ “ПОДВИГ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ ХАРПЕР ЛИ. ТАЙНА ПЕРЕСМЕШНИКА” АЛЕКСАНДРА ПУМПЯНСКОГО / СТИХИ ТОМАСА ГУДА В РУБРИКЕ “НИЧЕГО СМЕШНОГО”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2016, №1, 1–288

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545
16001
9 770130 654770